

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ



ЭРОСИПЕД
и другие виньетки

Александр Жолковский

ЭРОСИПЕД

и другие виньетки



Водолей Publishers
Москва 2003

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ж79

Художник И. Сердюков

В оформлении использована работа С. Стейнберга

Мемуарные виньетки Жолковского по прочтении преобразуются в портрет автора. Этот портрет предстает в своего рода кубистическом стиле, в том смысле, что мы видим его в разных плоскостях: то как само-насмешника, то как симпатичного нарцисса, при одном срезе озорничающего стилиста прозы, при другом солидно-дерзновенного структуралиста и семиотика, с одного угла зрения завязатого богемщика, с другого поднаторелого университетского профа, сеятеля р. д. в.

Впрочем, автор-герой до места в виньетках не жаден, напротив, тащит в них все разрастающуюся толпу персонажей жизни: здесь и друзья-филологи высшего класса, Щеглов, Мельчук, Иванов, здесь и сочинители разных жанров, Соколов, Лимонов, Аристотель, Пригов, «приближающийся к Пригову» Черчилль, удаляющийся Хемингуэй, рассаживающиеся в застольи Пастернак, Ахматова, Шкловский, а также множество американского академического народа.

Для кого написана эта книга? Для нашего брата, российской кочевой толпы интеллектуалов. И написана она одним из нас, всем нам известным «Аликом», таким же, как мы все, «Пнинным» различных, слегка уже перепутавшихся в автобиографиях кампусов, тем самым «Профессором З.», давно застолбившим свое место в российской-космополитической литературе.

Василий Аксенов

ISBN 5-902312-15-9

© А. Жолковский, 2003

© И. Сердюков,
оформление, 2003

© «Водолей Publishers»,
2003

Справка

... На ваш запрос сообщаю, что мемуарные виньетки я начал писать в Москве более тридцати лет назад, без какой-либо мысли о публикации. Про себя я называл их «Мемуары». Они были не только источником непосредственного удовольствия, но и способом – в момент перехода от лингвистики к поэтике – «расписаться». Поэтика требовала внутреннего раскрепощения, и мемуарные упражнения помогали. Я вернулся к ним в конце 1990-х, пройдя длинный путь дискурсивной эмансипации: лингвистика – поэтика – постструктурализм – демифологизация – эссеистика – рассказы. Но целиком от «научности» не избавился.

Не только в том смысле, что некоторые виньетки напоминают литературоведческие эссе. Дело в напряжении между верностью правде (того, как было или, во всяком случае, как я помню, как было) и свободой ее презентации. Врать, преувеличивать, придумывать события нельзя, но что рассказать, а что нет, какую позу принять, – твое авторское право. Даже в журналистике требование документальности распространяется лишь на сообщаемые факты, позволяя репортеру вольности в обращении с собственной персоной как еще одним повествовательным приемом.

Авторский образ виньетиста, находящийся на опасном стыке «правды» и «свободы», – стержень жанра. Он присутствует в реминисцентной перспективе, в манере рассказывания (часто «научной») и в рассказываемых историях. На всех трех уровнях он проблематизируется. Мемуарист предстает неуверенным в фактах, повествователь – амбивалентным в оценках, а герой ставится под удар как фабульно, так и экзистенциально, оказываясь не только свидетелем и жертвой событий, но и их соучастником-совиновником. При сочинении постыдных фактов не допускается, но их и так хватает. Главное мемуарное правило – не забыть на себя оборотиться.

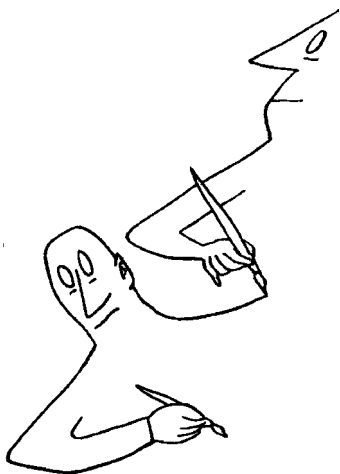
Не всякий вспомнившийся эпизод, любопытный исторически, этнографически или автобиографически (и забавный в устном варианте), представляет законный материал для виньетки. Критериев отсеивания много, и я не берусь их сформулировать, но мне, как правило, более или менее ясно, есть ли в эпизоде что-то «мое», то есть, выражаясь нескромно, что-то, что именно мне стоит тревожиться описывать.

Кстати, о нескромности. В виньетках часто констатируют авторский «наrcиссизм». Но авторство вещь вообще нескромная. Особенно нахальное занятие – мемуаристика, тем более – избранный мной кокетливый завиток этого жанра. Я действительно претендую не столько на протоколирование «фактов» (и тех намертво запомнившихся словечек, ради которых по большей части предпринимается рассказ), сколько на интересность собственного в них соучастия и их ретроспективного преподнесения. Последнее состоит, среди прочего, в словесной полировке, организации сюжетных рифм, отделке заголовков, реплик, концовок и т.

п. Тем самым происходит дальнейшее отстранение от «правды», которая всячески эстетизируется, нарциссизируется, виньетизируется.

Реваниш она берет в другом. Главную «правду» виньеток я полагаю в самой решимости написать их и написать так, как хочется. У меня есть знакомые, которые видели, помнят и могли бы рассказать гораздо больше и лучше, чем я. Могли бы, но не могут, во всяком случае, публично. Боятся. Боятся занять позицию – идейную, стилистическую, самопрезентационную. Иными словами, боятся авторства. Авторский имидж служит не только формальным приемом, но и той карьерной, которая подпирает, в конечном счете, все здание, сама же держится мышечным усилием реального автора. Нужда в усилиях становится осязаемой, когда друзья вдруг единодушно ополчаются против какой-нибудь особенно рискованной виньетки, мотивируя это, разумеется, формальными соображениями («не в вашем стиле»).

Но не буду преувеличивать своего авторского героизма. Виньетки написаны не с последней прямоотой (да и у Мандельштама она почему-то ассоциируется с противопоставлением шерри-бренди как бредней не менее сомнительным Мэри и коктейлям), а в условном жанре, задающем сложный баланс непосредственных впечатлений и ретроспективных оценок, фактографических констатаций и фигур речи, откровенностей и умолчаний. Умолчания, впрочем, не окончательны, или, если воспользоваться макабрическим англицизмом, не терминальны: заведен и пополняется файл, который я, с оглядкой на Ходжу Насреддина («за тридцать лет либо я, либо шах, либо ишак – кто-нибудь умрет»), про себя называю посмертным.



ДЕТСТВО,
ОТРОЧЕСТВО,
УНИВЕРСИТЕТЫ

Эросипед

Одним из устойчивых ранних впечатлений была фигура велосипедистки, пронесившейся по пустынным улицам послевоенной Москвы, в частности, в районе, где я жил. Это была стройная черноволосая девушка, одетая в соответствующий спортивный, вероятно, импортный костюм, с интеллигентным, несколько смуглым лицом и живыми глазами навывкате, как я теперь понимаю, еврейка (в лице которой, опять-таки задним числом, мне видится сходство с мамой). Я ни разу не молвил с ней ни слова, хотя потом мы пересекались в Доме Ученых и, кажется, в Консерватории. Я запомнил ее мчащейся по Кропоткинской (ныне опять Пречистенке) на своем полугоночном велосипеде. Не знаю, почему, я решил, что она дочка академика, и даже мысленно определил, безо всяких к тому оснований, какого именно. Тут действовала скорее логика сна и мифообразования, нежели здравого смысла. Никакого продолжения у этого сюжета не было — он остался лишь общим прологом к дальнейшему.

В мою собственную жизнь велосипед вошел (если не считать трехколесного, видного на довоенных снимках) летом 1951 года, перед восьмым классом и четырнадцатилетием. С тех пор с ним было связано так много, что всю мою биографию легко представить в велосипедном разрезе. Я ездил на велосипеде по Москве и Подмосковию, из Москвы в Ярославль и обратно, по Вене, Амстер-

даму, Итаке, Нью-Йорку, Принстону, Монтерею, Лос-Анджелесу, вдоль Санта-Моникского залива, по одному островку в Бретани, на котором запрещен автомобильный транспорт, и снова по Москве. Ездил днем и ночью, по делам, на заседания, в магазины, ради спорта и в романических целях. Я падал на велосипеде с моста в воду, пару раз был сбит машиной, однажды в пьяном виде в новогоднюю ночь (1965-го года) поскользнулся на велосипеде на рыхлом снегу около Маяковки и сломал ключицу, а несколько лет назад в Москве упал с тяжелым грузом книг и повредил руку. Велосипеды у меня крали (как-то раз я и сам купил подозрительно дешевый, видимо, краденый, и его потом тоже уперли), они ломались, сменялись — русские, японские, европейские, американские, дорожные, спортивные, горные; не было, пожалуй, только тандема.

Дачная езда на велосипеде (синем, дорожном, марки ЗИС) ознаменовала некоторое мое повзросление, но должна была укладываться в жесткие рамки родительских требований. Возвращаться, в том числе со свидания, надо было к определенному, довольно раннему часу. Мотивировались эти строгости, разумеется, волнениями родителей за меня. Главнoбеспокоящимся была мама; впрочем, папа (то есть, мой отчим, Л. А. Мазель), более либеральный, но и более педантичный, держал ту же линию. Однажды у нас с ним произошел характерный конфликт на этой почве.

Мы жили на даче в Челюскинской, я вечером поехал кататься, пообещав вернуться в условленное время. Но в самой дальней точке маршрута, по другую сторону железной дороги, у меня что-то сломалось, я долго возился, наконец, кое-как починил и, в конце концов, с большим опозданием в полной темноте добрался до дачи. Папа стал неприятным тоном меня отчитывать — за нарушение слова и причиненное беспокойство. Несправедливость этого выговора меня возмутила — может быть, потому, что обнажила садистскую подоплеку всех подобных строгостей. Я ответил, что не вижу оснований для недовольства, наоборот, все получилось правильно. Он беспокоился, как бы со мной чего не случилось, — так вот именно это и произошло, со мной именно случилось, и таким образом его беспокойство и ожидание не пропали даром. Какое-то либерализующее действие эта аргументация тогда возымела, но и в шестидесятилетнем с лишним возрасте, до самой его смерти (2000 г.), я продолжал держать перед ним нескончаемый экзамен по пунктуальности — межконтинентальных звонков и московских возвращений в квартиру, будь то пешеходных, велосипедных или таксомоторных.

А вот сравнительно недавняя история. Написав полупародийный разбор одной эротической поговорки, я послал его своему ньюйоркскому коллеге М. Тот прочел и, смеясь, сказал, что статья напоминает ему меня самого. Я смущенно спросил, чем же именно — имеет ли он в виду что-то из

сексуальной сферы. Нет, сказал он, не из сексуальной, а из велосипедной: она написана так, как я ездил у них на велике весной 1993-го года.

Вспомнить о своем личном рекорде было приятно. Я тогда прилетел в Нью-Йорк поработать с М. над нашей совместной книгой. У них была двухкомнатная квартира в Гринвич Вилледж. Мы работали целыми днями, а ночевал я то у них, то у других знакомых, на противоположном конце Манхэттена, около Колумбийского университета. Курсировал между двумя квартирами на велосипеде; это больше сотни кварталов.

Когда в работе с М. наступал перерыв, я брал стоявший в передней велосипед и пытался объехать на нем журнальный столик в гостиной. Сначала я не успевал развернуться, задевал за мебель и с позором соскакивал посреди комнаты. Но терпенье и труд все перетрут — наступил день, когда я стал свободно въезжать в гостиную, огибать столик, выруливать обратно в переднюю и даже заворачивать в спальню!

М. сочетает добродушие со злоязычием. Как-то раз, когда я стал восхищаться его умением отыскивать в букинистических магазинах редкие книги, да еще и по дешевке, он сказал, что у каждого свои пристрастия-дарования, вот, например, у меня — к велосипеду. Поэтому не исключено, что и уподобление моих дискурсивных пируэтов велосипедным задумано было как ядовитая ирония. Но я принял его как комплимент. Тем более, что, на мой взгляд, велосипед — с его рамой и твердо

надутыми шинами, с посадкой в седле, руками на руле, ножной моторикой и общей телесной эквилибристикой, действительно очень сексуален. Написать про эрос на хорошем велосипедном уровне — не хухры-мухры.

Windows в Европу

Интерес к новому уживается у меня с консерватизмом. Тут много личного, но есть и общероссийское (не говоря о соприродности мемуарному жанру). Об этом хорошо размышлять в ностальгическом ключе на опыте смены стран, специальностей, интеллектуальных ориентиров, друзей, жен и других, выражаясь современным метаязыком, *significant others*. Но ограничусь эволюцией своих орудий письма.

В школе (1944-1954) мы писали ручками со вставными перьями. Вспоминаются: официально рекомендованное перо No. 86 (увековеченное в «Двенадцати стульях», где его гигантская модель оставляет след на спине Остапа Бендера); слегка нонконформистская, с мягким, загнутым кверху кончиком, «лягушка»; и какое-то «рондо», которым, кажется, писала мама. Авторучки («самописки») усиленно запрещались, как вредная для почерка роскошь. Еще более решительная война велась школьным истеблишментом против появившихся своим чередом шариковых ручек. Зато среди прибалтнанных модников принято было ношение на внешнем кармане возможно большего числа

самописок, золотые держатели которых («ручейки») престижно сверкали.

Я долго держался «лягушек», со временем перешел на самописки и шариковые, но почерк у меня на всех этапах был неважный. Всерьез его негодность сказалась, когда я стал отдавать в перепечатку свои сочинения, вызывая нарекания машинисток. Начало этого периода, связанного с Лабораторией Машинного Перевода (1959-1974), в первый же день ознаменовалось выделением мне особого рабочего места — письменного стола с выдвижными ящиками и принадлежностями для письма: пачкой бумаги, карандашом, ластиком и шариковой ручкой. Помню радостное ощущение собственной профессиональной ценности, вызванное этими атрибутами признания со стороны административно-хозяйственной части Института.

Их символичность станет понятной, если учесть, что к ним более или менее сводилась материальная база Лаборатории. В ответ на просьбы иностранных визитеров показать компьютеры, пышно именовавшиеся электронно-вычислительными машинами (ЭВМ), наш шеф В. Ю. Розенцвейг молча закатывал глаза к небу, позволяя догадываться, что на такое рассекречение отечественной электроники высшие инстанции не пойдут. Ознакомившись, в ходе срочной ликвидации своей кибернетической безграмотности, с понятием «машины Тьюринга», мы остроили, что работаем именно на этом идеальном устройстве. Един-

ственным реальным автоматом, с которым мне (как никак, старшему инженеру Лаборатории — другой должности для меня в штатном расписании не нашли) приходилось иметь дело, долгое время оставалась выданная администрацией авто-ручка.

Тогда шли разговоры, с одной стороны, о моделировании различных языковых уровней (морфологического, синтаксического, семантического), а с другой, — о создании особых ЭВМ для машинного перевода. Я предложил взять патент на специализированную машину перевода с молдавского на румынский, действующую на основе «алфавитной модели» — наклеивания на клавиши латинской машинки русских букв. Перевод, причем безупречный (если угодно, трансляция из Третьего Рима обратно в Первый, ведь «румынский» это этимологически не что иное, как «римский»), осуществлялся бы на вполне осязаемом агрегате.

Между тем, претензии к моему почерку требовали практического решения, и им стало овладение машинописью. У папиной тети нашлась старая портативная машинка, и теперь машинисткам я отдавал текст, вчерне уже напечатанный. Но оставалась проблема латиницы. И тут в мою жизнь вошел предмет, буквально материализовавший чисто платоновскую до тех пор идею пишущей машинки Тьюринга.

Андрей Зализняк связал меня с уникальным мастером (по фамилии Курчев), который за умеренную плату творил небольшое чудо. Покупая у

ветеранов ВОВ и их наследников трофейные машинки «Мерседес», из двух латинских он соорудил одну двухалфавитную. Он вырезал каретки из корпуса; на молоточки одной наплавлял русский шрифт (а на клавиши наклеивал русские буквы); и с помощью специальных штифтов делал каретки съёмными, причем так, что перестановка не сбивала строки. Потренировавшись, я довел время смены каретки до рекордных 37 секунд.

На курчевской машинке я проработал полтора десятка лет, вплоть до эмиграции (1979). Готовясь к отъезду, я решил взять ее с собой. Я, конечно, знал, что на Западе, да и у моих наиболее продвинутых машинисток, были IBM-овские электрические машинки со сменными шариками — наборами разноязычных шрифтов. Но неизвестно было, когда еще на неведомом Западе я смогу позволить себе подобную роскошь, да я и побаивался этих электротехнических аппаратов. А привычное и надежное изделие русского умельца давало шансы какое-то время продержаться.

Вызванный напоследок отрегулировать машинку, Курчев удивил меня. Он отказался взять деньги. «Вам нужнее», — повторял он, и я отступился, хотя как раз деньги, мало подлежавшие вывозу, у меня были. Я почувствовал, что, преподнося мне в дар этот прощальный сервис, он как бы символически присоединяется к моему отъезду, возможно, надеясь, что в заветной лире созданного им западно-восточного гибрида его душа отчасти убежит советского тления.

В Итаку машинка после долгих странствий прибыла помятой и потребовала дорогостоящего ремонта, каковой, впрочем, оказался мне по карману. Более или менее за те же деньги можно было бы купить новую электрическую с шариками, но я сохранил верность доброй старой мерседесовской. В ответ она честно служила мне на Восточном берегу и последовала за мной на Западный (1983), хотя еще в Корнелле официально обрела музейный статус, когда единственная в Америке компания, производившая ручные машинки, объявила о прекращении их выпуска.

Не вдаваясь в психоанализ своего упрямства, отмечу эмблематичность этого симбиоза человека и машины. Трудно вообразить более наглядное выражение — нежели мой вдвойне коллекционный, одновременно антикварный и уникально модернизированный аппарат — для комплекса противоречий, уживающихся в новоявленном американце, который бойко, хотя и с неистребимым русским акцентом, разглагольствуя по-английски, рекламирует на постмодерном западном рынке свой советский структурно-семиотический товар.

Году в 1986-м, подталкиваемый Вадиком Паперным — энтузиастом новой техники, я купил свой первый компьютер и редакторскую систему Academic Font, изобретенную неким калифорнийским компьютерщиком-славистом. Расстался я с ней — в пользу WordPerfect'a — лишь через десяток лет, когда впору было уже подумать о Windows. С ними я тоже долго упрямялся, лелея надежду пе-

реждать их, чтобы потом перескочить прямо в то, что придет им на смену. В конце концов, сколько революций — политических и технических — может вынести один человек?!

Апология собственной косности была и на этот раз примерно та же: сила привычки, неподъемность кириллицы, убеждение, что отличное злейший враг хорошего. На новизну работали мощные факторы, но я упорно держался прошлого и невольно смешил коллег, говоря: «I don't do windows» (оказалось, что это стандартная фраза наемных уборщиц, означающая, что мытье окон в их обязанности не входит). Неожиданную солидарность в своем цеплянии за DOS я встретил у Ирины Паперно, оснащенность научных работ которой новейшим интеллектуальным арсеналом сомнению не подлежала. Мы морально поддерживали друг друга по телефону, сетуя на ненужные технические новшества и делаясь домашними рецептами их обхода.

На Windows я перешел, но, так сказать, одной ногой. В кабинете у меня стоит старенький DOS-овский компьютер без Windows и электронной почты, который я уже скоро год, как не выключаю из сети, — с тех пор, как он однажды долго отказывался заработать. На другом столе располагается компьютер средних лет, в котором целиком скопировано содержимое его соседа и вдобавок имеется MS-Word и система перекодировки на него с DOS-а. А в другой комнате целый угол занимает новая система, где есть все — и Windows, и e-mail,

и выход в Интернет, и специальный драйв для фильмов (DVD), и цветной принтер, и сканнер с системой распознавания текстов на многих языках. Скопировано туда и все мое DOS-овское богатство.

Хотя дни DOS'а сочтены, эти строки я пишу на самом древнем своем компьютере без окон, без дверей. А за моей спиной, на полу около камина, так сказать, на запасном пути, стоит «Мерседес» со сменной кареткой — давно не пускавшееся в ход, старое, но, в принципе, грозное оружие.

Недавно, работая над статьей, я по телефону изложил ее замысел Ире Паперно. Она спросила:

— И это все?

Я пустился объяснять, что многое еще предстоит сделать, развить, в статье, повидимому, будет то-то и то-то, концептуально же, в общем, да, все, а чего вам, собственно, не хватает?

— Как? Без субверсии, деконструкции, демифологизации? — Она явно намекала на мои ахматовские работы. — Простой структурализм?

— А-а, да. Структурализм от сохи. Так сказать, статья в DOS'е.

Ира с удовольствием повторила эту формулировку и потом несколько раз мне ее напоминала.

А что? В нашей науке всегда есть место дедовским способам. Я много раз убеждался, что в любую самую изученную область, где, казалось бы, не протолкнешься, достаточно просунуть руку, чтобы поднять с полу что-нибудь никем не замеченное, хотя и лежащее на виду. Примерно так же думал я

и смолоду. Но тогда я полагал, что подобные дерзости осуществимы исключительно с помощью новых, структурных методов. А с течением лет пришел к мысли, что методы годятся всякие — не исключая устаревших тем временем структурных. И в случае успеха, все равно, рапортовать ли о нем на Windows, DOS'е или Mercedes'е.

Котлеты моей мамы

Консерватизм психологически понятен еще и потому, что нашим прошлым является детство, сохраняющее притягательность, даже если проходило оно не в лучших условиях.

Два года моего детства — от четырех до шести — пришлось на эвакуацию. Мы жили сначала в совхозе под Свердловском, а потом в самом городе, на ВИЗе, в поселке Верхне-Исетского Завода. Папа работал в Свердловской и переведенной на Урал Киевской консерваториях, так что мы не голодали. Все же питались мы (папа, мама, папина мама и я) много скромнее, чем раньше; часто ужин состоял из картофельного блина, крест-накрест разрезанного на четыре части.

Последствия такой диеты для моего здоровья оказались самыми благотворными — я излечился от мучившего меня в Москве диатеза, против которого бессильны были (или который вызывали?) бесконечно испытывавшиеся врачами комбинации соков, фруктов, бульонов и т. п. У меня развился бешеный аппетит (сохранившийся по сей

день), и меня ставили в пример капризной малоежке Наде из другой музыкальной семьи, жившей в совхозе в той же избе, что наша и еще две эвакуированных. Роль образцового пай-мальчика неблагодарна, и понятно, что Надя должна была меня возненавидеть. Во всяком случае, именно так я предпочитаю объяснять себе оскорбительное равнодушие, проявленное ею к моим воздыханиям, когда восемью годами позже мы оказались в одном и том же пионерском лагере Союза Композиторов.

Интересно, что и на этот раз причиной моей отправки «в люди» послужили исторические события: папа был уволен из Консерватории в ходе кампании против «космополитизма» (1949 г.), и об отдыхе в композиторском Доме Творчества где-нибудь в Карелии или на Рижском взморье пришлось на некоторое время забыть. К удивлению родителей, я был в восторге от лагерной жизни и охотно остался на второй месяц. Помню, как ужаснули маму (из Москвы вызвавшую меня к телефону в кабинет директора, чтобы обсудить вопрос о второй смене) мои слова, что «добавки дают вволю». Она решила, что нас держат впроголодь.

Так или иначе, мой аппетит, а с ним и здоровая неприхотливость в пище остались при мне. Впрочем, неприхотливость не то слово. Вернее будет сказать — требовательная приверженность к привычному минимуму: хлебу с маслом, котлетам с картошкой, чаю с сахаром.

Мама готовила не очень хорошо, да и мало этим интересовалась. По возвращении из эвакуации, а тем более после войны, благосостояние семьи поправилось. Появились и часто сменялись домработницы, готовившие кто как. Особенно запомнилась одна довольно старая и неаппетитная женщина по имени Анна Максимовна Гилянис. Она поступила к нам по рекомендации, после смерти некого генерала, у которого долго служила сиделкой. Готовила она невкусно (при генерале ее функция состояла в том, чтобы развлекать его разговорами), в супе попадались волосы, зато, подавая папе очередное блюдо, она приговаривала на полупотопе нечто совершенно доисторическое, откуда-то чуть ли не из Островского: «Кюшшайте, Ваше превсс-дит-сство!»

Эта овечья стариной формула всегда интриговала меня. Прикинув, что в 1950-м году Анне Максимовне было около шестидесяти, было нетрудно вычислить, что она вполне могла успеть до революции побывать в прислугах у какого-нибудь царского генерала или чиновника. Задуматься заставляла, однако, сохранность подобных старорежимных замашек несколько советских десятилетий спустя, наводившая на невероятную догадку, что величание «превосходительством» принято было и у ора советского военачальника. Кто знает, может быть, именно эта архаичность речи обеспечила Анне Максимовне взятие на разговорную должность сиделки?! Наконец, не исключена была возможность, что заставивший

уважать себя генерал сам сохранился с царских времен, и таким образом перерыва в употреблении архиконсервативной формулы вообще не наступало.

Мама умерла, когда мне было 17 лет; с женами же мне определенно повезло — почти все они готовили вкусно, а некоторые просто замечательно. Одна из них делала это, правда, лишь по большим okazиям, зато с бесспорным искусством, являя фигуру в буквальном смысле редкой хозяйки. Другая была настоящей энтузиасткой и мастерицей кулинарного дела, и ее тем более задевал мой отказ похвалить ее котлеты. Приготовленные каждый раз по новым рецептам, они никак не могли дотянуть до эталона, заданного когда-то мамой и свято хранившегося в моей внутренней палате мер и весов. Но Таня не смирялась с поражением и продолжала борьбу.

Как-то у нас была ее подруга, мы сидели на кухне, и Таня пожаловалась:

— Вот, Лена, стараюсь изо всех сил, но, конечно, опять не выйдут эти загадочные «котлеты его мамы»! То получаются слишком пышные, то слишком нежные, прямо не знаю.

Лена отреагировала неожиданно:

— Котлеты его мамы? Да ты подумай, когда она их делала! Небось, в эвакуации. Положи 90% черняшки и все. Подумаешь, котлеты его мамы!

С ходу бухнуть столько хлеба рука у Тани не поднялась, но какую-то поправку в указанном направлении она сделала, результатом чего было за-

метное приближение к идеалу, и вскоре задача изготовления котлет моей мамы была решена полностью и окончательно.

Вызванный однажды из глубин прошлого и закрепленный с тех пор в нарративе, рецепт маминых котлет обеспечивает им вечное возвращение. Жены приходят и уходят, а котлеты остаются.

Акмеизм в туфлях и халате

В доме No. 41 по Метростроевской ул. (ныне опять Остоженке), где я прожил всю свою советскую жизнь, бывал Мандельштам. Он бывал там у своего собрата-акмеиста Михаила Зенкевича. Сын Зенкевича Женя был другом моего послевоенного детства, и я много времени проводил у них в квартире. Сначала они, как и до войны, занимали полуподвальную квартиру No. 1, а потом переехали в лучшую, бельэтажную, No. 26, где Женя с семьей живет и сейчас.

У Зенкевичей я чувствовал себя, как дома. Меня родители держали строго, а Женьку баловали. Он мог без ограничений собирать марки и покупать рыбок. У него, а не у меня, проходили наши детские игры, в частности, в пуговичный футбол; я располагал всего одной командой, а Женька — целой лигой «А», так что мы по всем правилам разыгрывали собственный чемпионат. У Зенкевичей же я впервые смотрел телевизор и слушал магнитофон. Меня совершенно не стеснялись, и поэта-акмеиста я привык видеть в сиреневых каль-

сонах, а его жену Александру Николаевну, располневшую актрису былых времен («красавицу пленную турчанку», согласно прочитанным в дальнейшем мемуарам Надежды Яковлевны), — в халате. К ней в возрасте лет шести-семи я питал эдиповские чувства, которыми как-то раз поделился с поднявшим меня на смех Женькой.

В квартире было много книг, Михаил Александрович занимался переводами из американской поэзии, но о литературе речи практически не было. Сам М. А. вообще разговаривал мало. Александра Николаевна нигде не служила, проводила много времени на лавочке во дворе и готова была говорить о чем угодно, только не на рискованные литературные темы. Старший сын Зенкевичей, красавец-спортсмен Сергей, выбрал профессию физика-ядерщика и молодым умер от лейкемии. Женька был большим выдумщиком (сказывались писательские гены), окончил в дальнейшем ИнЯз, но словесностью не интересовался. «Канальскими стишками» (как окрестили Мандельштамы верно-подданические стихи Зенкевича, напечатанные после поездки писателей на Беломорканал), было оплачено не только благополучие семьи, но и его литературно-самоубийственная изнанка. В результате, о Мандельштаме я узнал не от них, а как все, — прочитав где-то в конце пятидесятых годов машинописное самиздатовское собрание. Но узнав, стал спрашивать.

В ответ на мое проснувшееся любопытство Михаил Александрович однажды изобразил, как

Мандельштам с завыванием и озорным выделением похабной клаузулы скандировал строчки из «Зверинца»: *Я палочку возьму суХУЮ, / Огонь добуду из нее, / Пускай уходит в ночь глуХУЮ / Мной всполошенное зверье!* В другой раз Александра Николаевна рассказала, как Мандельштам приходил занимать деньги.

— Бывало, истратится, придет перехватить десятку. Ну, Михаил Александрович ему дает. Он уходит, смотрим, — тут я ясно представил себе, как, поднявшись по лестнице из подвала, она смотрит вслед Мандельштаму, удаляющемуся вдоль дома и через скверик выходящему на улицу, — смотрим: он уже извозчика берет!

Неожиданная посмертная слава безалаберного Мандельштама задевала Александру Николаевну. В ревнивых тонах говорила она и о Пастернаке. В дни осенней травли 1958 года она возмущалась тем, что его письмо Хрущеву с отказом от Нобелевской премии, опубликованное в «Правде», начиналось словами «Уважаемый Никита Сергеевич!»:

— «Уважаемый»! Попробовал бы он Сталину так написать!

В счет Пастернаку Александра Николаевна ставила также то, как хорошо он устроился в эвакуации в Чистополе, где его можно было видеть разъезжающим в санях с «хозяйкой города» (женой предгорисполкома?).

Сурово обращалась она и с собственным мужем-поэтом. Как-то много позже, наверно, в начале 70-х,

я встретил ее в скверике перед домом. Речь зашла о М. А. и выходе его книжки стихов.

— Он хотел мне подарить, но я не взяла. Он включил в нее те стихи, неприличные. Я говорила, чтобы он их не печатал. Он бегал их читать к Маруське Петровых. Вот пусть ей и дарит.

Я не помню, да, кажется, не понял и тогда, в чем состояла суть обвинения: в том ли, что Зенкевич «бегал» к Марии Петровых в эротическом смысле слова; в том ли, что он посвящал ей и читал у нее стихи, будь то любовные или нет; в том ли, наконец, что, ослушиваясь жены, позволял себе сочинять нечто рискованно амурное, неважно кому адресованное. В расспросы я не пустился и даже стихотворение идентифицировать не попытался (в специально просмотренном сейчас сборнике 1973-го года ничего даже отдаленно эротического нет). Запомнилось другое.

Меня поразила несвобода литературы от житейских обстоятельств. Ладно там Беломорканал, Воронеж, Гулаг, Жданов, нобелевская травля — на то и диктатура. Понятно и про «страх влияния» — бумаги нехватает, пишешь на чьем-то черновике, какая уж тут свобода?! Но чтобы восьмидесятилетний поэт, так ли, эдак ли проживший сквозь весь подобный опыт, должен был при составлении первой за многие годы самостоятельной книжки оглядываться на жену, — это было настоящим откровением. Слава богу, Зенкевич хоть тут не сплеховал и сориентировался на Маруську.

Несвобода эта очень знакомая. В мемуарных заметках, да и в критических эссе, все время опасешься, как бы не сказать что-нибудь не то и кого-нибудь не того не так назвать. Особенно много приходится слышать, как нехорошо снижать образы наших кумиров неприглядными деталями. Для острастки обычно призывается Пушкин, сказавший, что великие люди, даже если и мерзки, то, врите, и мерзки-то они не так, как вы, — иначе!

Пожалуй. Но именно поэтому кумирам никакое снижение не страшно. Ну, тратил Мандельштам чужие деньги на извозчика, напевая про *палочку суХУЮ*, ну, любезничал Пастернак с хозяйкой Чистополя ради поддержания сестры своей жизни, — все это теперь лишь ценные штрихи к портретам великих. Хуже Зенкевичу, о кальсонах которого я упоминаю уже с некоторой морально-этической дрожью (другое дело, если бы я мог пролить новый свет на исподнее Мандельштама или Пастернака), и тем более Александре Николаевне. Какой неблагодарностью отвечаю я на ее квази-материнство и даже некоторое квази-иокастовство, а заслониться ей нечем, разве что знакомством с тем же Мандельштамом. И совсем плохо мне, настолько рядовому, что я не решаюсь выписать здесь тот по-детски нескладный глагол, которым я объяснял Женьке, что бы я мечтал делать с его матерью (ничего, кстати, такого палочного). Не решаюсь, ибо понимаю, что мои скромные персоне и стилистика не выдержат его нелепости. То есть, робею еще больше своего канальского соперника.

Очерки бурсы

Школу полагается ненавидеть; у меня этого не было. Я посещал ее охотно и благодарен ей за многие прочные знания. Проблематичность школьного опыта дошла до меня не сразу.

1. Мальчики

В средних классах литературу преподавал высокий, плотный, в потертом щегольском костюме Алексей Дмитриевич К-ов. Его приветливое, но какое-то голое лицо с большой румяной бородавкой стоит у меня перед глазами. На его уроках требовалось выйти к столу и, руки по швам, бодро рапортовать об образе Онегина или идейном содержании «Муму».

В этом стандартизованном порядке не все, однако, было так уж стандартно. Ал. Дм. становился позади отвечавшего и своим праздничным фальцетом объявлял:

— Сейчас мальчик такой-то расскажет нам образ Онегина. Встаньте прямо, мальчик такой-то. — Он брал ученика за плечи, расправлял их, проводил вниз по его рукам, разворачивал его к классу. — Вот так. Ну, теперь отвечайте образ Онегина.

О нем, кажется, ходили соответствующие слухи, но в мое сознание они как-то не проникали. Его любимцем был Володя Дж-дзе, рослый, красивый, старательный. Вызывая Володю, Ал. Дм. исполнял ритуал объятий, замаскированных под уроки выправки, с особой нежностью.

— Сейчас мальчик Дж-дзе, — Ал. Дм. смаковал каждый из четырех слогов этой шикарной фамилии, — прочитает нам наизусть стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Оглаживая и поворачивая Володю, он добавлял: — Вот какой у нас отличный ученик, мальчик Володя Дж-дзе.

Я был более бесспорным отличником, но на подобное special treatment претендовать не мог. До восьмого класса я был щупл и непрезентабелен. «У тебя только и есть, что чистенькое личико», — вздыхала мама. Впрочем, никаким драматическим унижениям я не подвергался (если не считать позорного поражения в драке — «стыкнемся?!» — с одним из слабейших одноклассников), тем более что имел покровителя в лице пышущего энергией Миши Р-ейна.

На переменах Миша взхлеб пересказывал мне очередные главы из «Трех мушкетеров» и бесконечных лет спустя. Самые яркие места он воспроизводил дословно:

— «О, женщины! Кто поймет их?! Вот женщина хочет мужчину, и вот она уже не хочет его!! — вскричал Портос и поскакал прочь». — Но это не исчерпывало Мишиного напора, и он то и дело хватал меня за грудки со словами: — Ты понял это, маленький уродец? Ведь ты же знаешь, что я все равно тебя убью?!

Соперничество с Володей Дж-дзе продолжалось до окончания школы, но было напрочь лишено сюжетной остроты. (В итоге оба кончили с золотыми медалями.) Настоящим вызовом моему ли-

дерству стало появление в классе ученика по фамилии Ш-нь. Он был детдомовцем из Белоруссии, жил у дальних родственников и носил всегда одну и ту же серо-зеленую сиротскую одежду с большим красным галстуком поверх курточки. Он шепелявил, походил на Буратино, но назвать его «маленьким уродцем» язык ни у кого бы не повернулся — жестокость далась бы слишком дешево.

Ш-нь тянулся изо всех сил, получал пятерку за пятеркой, я же с аристократической небрежностью позволял себе и четверки. Мама не могла этого слышать. У нее были твердые взгляды на все, в частности на элитарность.

— Ты из профессорской семьи, у тебя отдельная комната и стол для занятий, и ты просто не имеешь права учиться хуже того, у кого нет таких условий.

Беспризорный Ш-нь в дальнейшем опять куда-то переехал, и соревнование прекратилось. Но мамнины прецеденты остались при мне.

2. Вечно женское

Школа была мужская — образование оставалось раздельным, хотя где-то существовали и смешанные школы. (Когда пришло время записывать меня в школу, мама спросила, в какую я хочу: где одни мальчики, или где мальчики и девочки? Где одни девочки, отвечал я.) В старших классах начались совместные вечера с женскими школами, но и в ранние годы интерес к сексу задавался не одним только монастырским гомоэротизмом Алексея

Дмитриевича. Волнующее *das ewig Weibliche* присутствовало; его воплощением была преподавательница начальной школы Анастасия Ивановна.

Она вела не наш, а один из соседних классов, но своей учительницы я не помню, помню только ее. Она была полновата, с большими глазами, дугообразно выщипанными бровями, пробором посередине и симметрично уложенными косами; ее лицо напоминало бабочку. У нее был, как я теперь понимаю, слащавый мещанский выговор. Говорила она размеренно, видимо, стараясь казаться изящнее и интеллигентнее, чем была. Ее с удовольствием слушались.

Она жила в здании школы, у нее был муж-офицер, но школьный фольклор упорно связывал ее то с одним, то с другим из преподавателей, одно время — с прибалтненным, похожим на мартышку физкультурником. Кто-то из нас прослышал, что по утренней походке женщины можно определить, чем она занималась ночью, и иногда мы, с риском быть застигнутыми завучем вне класса, дежурили после звонка у лестницы, чтобы посмотреть, как будет ставить ноги идущая на первый урок Анастасия.

Старшие ребята позволяли себе и более прямые, разумеется, чисто словесные, посягновения. «На Асеньке я бы попрыгал», — авторитетно заявлял многократный второгодник Валера З-в. Мне такое в голову не приходило, но облик Анастасии Ивановны ушел на дно моего подсознания, откуда определил, полагаю, не один любовный выбор.

Задним числом я бы возложил на нее ответственность за мои скифские вкусы, как на маму — за семитские.

3. Уроки Октября

Верховную власть представлял директор школы Федор Иванович Ш-в, по прозвищу Колобок. Он был лыс, кругл, невысок ростом, и хотя страх быть вызванным к директору традиционно висел над нами, я не припомню особых строгостей с его стороны.

Помню другое. Если заболел кто-нибудь из учителей и его некому было заменить, на помощь приходил Колобок. Делал он это ровно одним способом. Сославшись на свое бывшее амплуа историка, он рассказывал, как «на VI съезде партии, летом 1917 года, когда встал вопрос о переходе от мирного периода развития революции к немирному, товарищ Сталин задал троцкисту Преображенскому вопрос: ...». Каверзный вопрос товарища Сталина выветрился из моей памяти, хотя слушал я каждый раз с удвоенным интересом, потому что товарищ Сталин был жив и боготворим, а сын троцкиста Преображенского под другой фамилией проживал в нашем доме.

Олицетворял власть директор, но настоящий страх внушал не он, а завуч, молчаливая седая женщина в очках, по имени, кажется, Зинаида, отчества не помню. Вообще, я ничего о ней долгое время не помнил, пока где-то в 70-е годы не прочел книгу корреспондента «Нью-Йорк Таймс» в Моск-

ве Хедрика Смита «The Russians». В этом поразительно адекватном этнографическом компендиуме нашей туземной жизни целый раздел был посвящен советской школьной системе — на основании опыта собственных детей, специально отданных Смитом в разные московские школы. Мне открылась мрачная картина унифицирующего угнетения юных душ, в которой я не мог не узнать своего вытесненного прошлого. Я вдруг вспомнил два сна, мучавших меня на протяжении многих лет, а потом успешно забытых.

В одном я якобы проболел больше месяца, страшно отстал по алгебре, грядет контрольная, я к ней не готов и просыпаюсь в холодном поту. В другом, времен начальной школы, я должен был после летних каникул явиться в школьную библиотеку и признаться в потере двух книг, взятых на лето, но страх, что библиотекарьша отправит меня к завучу, заставлял бесконечно откладывать явку с повинной.

В результате, я не помню ни имени отчества математички, ни отчества завуча, ни какого-нибудь их словечка, ни чьего-нибудь словечка о них, как ничего не помню и об учительнице четырех начальных классов.

Маму помню ясно — тут Фрейд бессилён.

What's in a name?

У меня было двое друзей-сверстников по имени Феликс. В Америке это не очень солидное имя —

так обычно зовут котов (по контаминации лат. *felix*, «счастливый», с англ. *feline*, «кошачий», в том числе в смысле биологического вида); в России же за ним долгие годы однозначно слышался Дзержинский.

У одного Феликса (Д.) отец, действительно, еще со времен ЧК, служил в органах. Судя по рассказам Феликса, он был садистом на работе и дома, и Феликс носил в себе отпечаток этого опыта. Возможно, отсюда его неуживчивость и сравнительно ранняя смерть (в пятьдесят два). Но у другого Феликса (Ф.) отец был физик, да и вообще советская ономастика — вещь тонкая, колебавшаяся от года к году вместе с линией партии. Не исключено, что в 37-м Дзержинский мог для кого-то поэзоповски символизировать не органы как таковые, а их ранний, «чистый», «рыцарский» (в противовес ежовскому) имидж.

Помню, как в начале перестройки, году в 87-м, у нас в USC (Университете Южной Калифорнии) выступал представитель советского Министерства культуры, некто Генрих П., по виду и замашкам типичный гэбист, но, так сказать, с человеческим лицом, которое, впрочем, сидело на нем немного криво. Во время доклада он держался со мной, эмигрантом-антисоветчиком, настороженно, но вечером на парти, видимо, решил навести мосты. Мы разговорились. На вопрос, где он так хорошо выучил английский, он ответил, что учился в Рангунском университете. Он явно имел в виду блеснуть мировыми масштабами своего образова-

ния, мне же, естественно, бросилась в глаза его принадлежность к выездной прослойке.

— Это в какие же годы? — спросил я.

— В середине 50-х. Ведь мы с вами, наверно, однолетки.

— Я думаю, — сказал я внятно, — что вы минимум на год старше. Я тридцать седьмого года рождения.

Намек он, видимо, понял, потому что набиваться в друзья перестал. Действительно, откуда у русопятого и, весьма вероятно, потомственного партработника импортное имя Генрих? Вряд ли от Гейне; скорее все-таки от Ягоды, в 36-м снятого с должности главного чекиста и в дальнейшем расстрелянного.

Феликс Ф. появился в нашей 50-й школе поздно, классе в восьмом. Он был крупный, внушительный, развитой. Он уже твердо знал, что станет физиком. От него я впервые услышал имена Дирака и Гамова. Мы подружились.

Я был круглым отличником и признанным интеллектуалом номер один нашего класса. Моей популярности способствовало то, что я не был учительским любимчиком, со своими знаниями не высовывался, сидел «на Камчатке» среди второгодников, и давал списывать. Но с появлением Феликса я стал смотреть ему в рот, сразу признав в нем старшего. Сохранился снимок, где мы сидим на одной парте — задней в среднем ряду.

Старшим Феликс был и потому, что уже летом после 9-го класса, то есть, в 16 с небольшим, имел роман с «настоящей женщиной», женой отбывше-

го за границу дипломата. Феликс немногословно поделился этой новостью со мной, совершенно еще невинным юнцом.

Смерть Сталина застала нас в 9-м классе. Ее осмысление, тем более официальное, наступило далеко не сразу, но Феликс каким-то образом, видимо, почуял перемену. Так или иначе, он стал первым встреченным мной в жизни диссидентом. Диссидентом в миниатюре и *avant la lettre*, но вполне типичным — пострадавшим за литературную деятельность.

В конце учебного года обычно задавалось сочинение на тему «Как я провел майские праздники». Первомай 1953-го был первым после смерти Сталина, и Феликс написал что-то вольное, смешное, веселее — про то, как валяли дурака на демонстрации и после. Прямой антисоветчины там не было, но крамольным было уже само нарушение канонов этого самого массового из соцреалистических жанров.

Расправа последовала незамедлительно. Инициативу взяла на себя наша классная руководительница, англичанка Лидия Филипповна. Я хорошо помню ее извилистый нос, стервозное лицо и инквизиторские манеры. Меня она не любила — отчасти, наверно, потому, что английский я знал лучше нее, отчасти потому, что я не входил в круг тайных клеветов, собиравшихся у нее дома выпивать и наушничать.

Феликсу было предложено перед всем классом отречься от своего сочинения, но он продолжал

его отстаивать как в худшем случае безобидную шутку. Тогда на него повели массированное идеологическое наступление, наверно, заранее срежиссированное Лидией, а впрочем, столь стереотипное, что мысль о специальном стоворе мне тогда в голову не пришла.

Выступил и я. Выступил, мысленно любуясь адвокатской зрелостью своего примирительного рассуждения о том, что, с одной стороны, большого политического греха в сочинении Феликса я не вижу, а с другой — что ему, конечно, следует овладеть элементарными правилами общежития: так, в помещении не принято сидеть в шапке, а в первомайском сочинении — нести жеребятину.

Но Феликс не покаялся, и на голосование был поставлен вопрос об исключении из комсомола. Предложение прошло единогласно, то есть, за него спокойненько поднял руку и я! Голосовать против — «против советской власти» — такого я помыслить не мог.

Лишь постепенно я научился стыдиться этого поступка, дал себе слово в сходных ситуациях быть на высоте и в конце концов преуспел в этом настолько, что и сам стал подвергаться единогласным отлучениям. Феликс же на меня не обиделся, как не внял и моим нравоучениям: несмотря на всю искушенность моей проповеди социальной адаптации, в нашей дружбе я оставался младшим партнером. Каким-то образом исключение не помешало ему в следующем году поступить в желанный вуз (Инженерно-физический), успешно окон-

читать его и по распределению остаться в Москве, в одном из ядерных институтов.

Однако он и тут уклонился от стандарта — завербовался на метеостанцию где-то на Камчатке. Там он жил совершенно уже джеклондоновской жизнью, охотился, ездил на собаках, выходил в море на байдарке стрелять уток. Один раз он приехал в отпуск, примеривался остаться в Москве, женился, но на следующий год уехал снова. Его там уже так хорошо знали, что пограничники позволили ему выйти в море перед началом шторма, хотя и предупреждали об опасности. Байдарка перевернулась, и на берег его вынесло уже мертвым.

Цинковый гроб с его телом долго в жару ехал с Дальнего Востока поездом. На похоронах я впервые увидел его отца — седого, надломленного, но очень на него похожего и похоже говорившего. Это произошло, я думаю, летом 1961 года, то есть, нам было по 24. Но он уже успел побывать моим старшим другом, чуть ли не отцовской фигурой (даже погиб он почти так же, как мой родной отец, утонувший, переплывая на байдарке Белое море), успел немного наворожить мне («В своей области ты будешь известным человеком»), а главное — преподать первый урок аутсайдерства. Вопреки советской символике своего имени, он выступил в роли жертвы, а не карателя («железного Феликса»), каковым оказался скорее я, не справившийся с программой, закодированной в моем (Александр — «защитник мужей»). Свою короткую жизнь Феликс, «счастливый», прожил, как хотел.

Связи по смежности

Поэзия основана на переносах по сходству — метафорах, прозе же прописана смежность. Правда, обе установки часто переплетаются. В стихе самый метр делает смежное сходным, а в основе прозы лежит сюжетный ритм потерь и приобретений.

Я не люблю терять вещи, исподволь приглядываю за ними и периодически перепроверяю их наличие, но, как правило, сам же и предаю породнившие нас узы. История удержаний, пропаж, поисков, находок и новых утрат образует канву моего непрерывного, по большей части смешного и в целом безнадежного посессивного квеста.

1. «Оскар»

Однажды в детстве, лет семи-восьми, съехав с горки на санках, я врезался переносицей в каменный скат подвального окна нашего дома. Заливаясь кровью, я бросился домой, на второй этаж. При виде крови мама пришла в ужас, я же держался, как подобает мужчине. Тревожило меня главным образом то, что пострадала окровавленная шуба. За санки беспокоиться не приходилось, ибо их я, к изумлению мамы, из рук не выпустил. (Шрам на носу сохранялся долго, но сейчас его что-то не видно, — пропал!)

Собственно, мама и преподала мне первые уроки бдительности. Почему-то особенно запомнил-ся ее наказ не спускать глаз со своих вещей при

переобувании на катке (в Парке культуры им. Горького). Наказ этот я выполнил с честью и на катке не был обворован ни разу, да и вообще развил в этом отношении почти полный иммунитет. Сильно обокрали меня только в Риме (1981 г.), разбив стекло машины Энн за те 10 минут, что мы пробежались по вилле Боргезе (итальянцы, как известно, — воры экстракласса), да в Санта-Монике за первый десяток лет уперли три велосипеда — исключительно потому, что я каждый раз расслаблялся, воображая себя чуть ли не в раю.

Гипертрофированное чувство собственности выходит у меня далеко за пределы эгоцентризма. Мало сказать, что я уважаю чужую собственность — я вполне бескорыстным образом ревниво слежу за ее сохранностью в самых неожиданных ситуациях. Так, однажды в кино я поймал себя на том, что, когда по ходу фильма герой, встретившись с героиней, поставил на землю бывший у него в руках чемодан и, заговорившись, казалось, забыл о нем (как, наверно, и большинство зрителей, поскольку дело было не в этом), я никак не мог сосредоточиться на диалоге, тревожась за судьбу чемодана. К счастью, режиссер (или кто-то из его помощников), в конце концов, вспомнил о нем и вернул его владельцу, а тем самым — символически — и мне.

Кстати, именно в кино мне была преподнесена смешная до слез карикатура на этот комплекс. В 60-е годы в России шло множество фильмов с французским комиком Луи де Фюнесом (в Амери-

ке неизвестным и практически недоступным). Действие самого запомнившегося из них, «Оскара», вертелось вокруг путаницы с двумя одинаковыми чемоданчиками, один из которых был набит крупными ассигнациями, а другой — дамскими лифчиками. В какой-то момент Луи де Фюнес, вернув себе чемоданчик с деньгами и держа его под рукой на столе в своем огромном кабинете, со смаком отчитывал подозреваемого в подменах Клода Риша. Тот скромно держался вдалеке, Луи де Фюнес же, постепенно распаляясь, стал расхаживать по кабинету, все больше удаляясь от чемоданчика, но не спуская с него бдительного взора. Наконец, амплитуда его триумфальных проходов увеличилась настолько, что он оказался дальше от чемоданчика, чем Клод Риш. Мгновенно спохватившись и смерив глазами эти два расстояния, он с отчаянным криком «А-а-а!!», — как если бы его грабили, хотя Клод Риш оставался неподвижен, — бросился к чемоданчику и по-гарпагоновски прижал его к своей груди.

Глубокая правда этой мизансцены, конечно, в том, что персонаж Луи де Фюнеса мысленно, так сказать, сам себя ограбил, обнажив таким образом внутреннюю природу своих страхов. Вопрос ведь не во внешних силах, которые естественно предполагаются стремящимися разлучить нас с нашими пожитками, а в том, сколь надежно наше ответственное пребывание начеку. Недаром переживания по поводу потерь фокусируются обычно не на материальном ущербе, а на унижительном чувстве мо-

рального поражения. И поскольку сквозным лейт-мотивом этой вечной драмы является сохранность, постольку ее сюжет разнообразно варьирует контрастный мотив утраты. Сам я постоянно что-то оставляю, забываю, упускаю из поля зрения, но чувствую себя как бы персонажем специально на эту тему написанной пьесы, — может быть, потому, что после комических пертурбаций потерянные вещи чаще всего возвращаются ко мне и дело венчается хэппи-эндом.

2. «Маш-ки»

В середине 70-х годов я работал в «Информэлектро», где присутственный режим был сравнительно вольный, но время от времени отдел кадров проводил проверки, о которых, как правило, становилось известно заранее, и тогда требовалась всеобщая явка к 8-ми утра. Я человек дисциплинированный и большой проблемы в этом не видел; я просто брал с собой в портфеле, а то и в двух, все нужные для моих посторонних занятий поэтикой материалы и мирно корпел над ними в пустой институтской читальне.

Все-таки ранний подъем и психологический стресс, не говоря об утренней давке в метро, видимо, сказались, ибо в одно прекрасное утро я выскочил на платформу на «Красных воротах» только с одним портфелем в руках — привычный самоконтроль (руки не должны быть пустыми) сработал по минимуму. Я, конечно, сразу же обнаружил нехватку, обратился к работникам метро,

они связались с машинистом, поезд был осмотрен по прибытии на конечную станцию (а потом еще раз мной, когда опять проезжал «Красные ворота»), но безрезультатно.

Потеря была нешуточная — в портфеле были записные книжки, документы (в том числе институтский пропуск), почти законченная рукопись, которую я собирался отдать в перепечатку (для чего в течение некоторого времени запасался номерами машинисток), иностранные и библиотечные книги, в общем, много чего. К счастью, моя агония продолжалась недолго. Вскоре позвонила Танина мама — сказать, что ей звонил какой-то странный человек, представился нашедшим мой портфель, и она дала ему мои телефоны. А вскоре позвонил и он сам.

— Саша? Наше вам с кисточкой. Вы потеряли, мы нашли. Ваше счастье, а то, знаешь, потерял — пиши пропало.

— Большое спасибо. Как мы встретимся?

— Давай приезжай, только с тебя, конечно, причитается. И ты, это, один приезжай, без милиции, понимаешь. Если не один будешь, мы к тебе не выйдем.

— Все понятно. Как к вам доехать и как мы узнаем друг друга?

Он объяснил мне дорогу куда-то на самую окраину и сказал, где его ждать. А узнает он меня спокойноенько по фотографии на пропуске. В целом радуясь, но несколько тревожась относительно суммы выкупа, я захватил две двадцатипятируб-

левки, поймал такси и поехал. Как только я, расплатившись, вылез из машины и начал осматриваться, ко мне подошел простецкого вида работяга-забудыга. В руках он держал мой пропуск и записную книжку, явно наслаждаясь раскладом, при котором он выступал в качестве инстанции, проверяющей документы, а я в роли опознаваемой сомнительной личности. Портфеля при нем не было.

— Да, сперва мы тебя никак не могли разыскать. Твоего-то телефона в книжке нет. Тогда мы стали твоим блядам звонить, а они, суки, не признаются.

— Каким блядам? О чем вы говорите?

— Ну как же? Вот, — он протянул мне мою записную книжку, — пожалуйста, черным по белому: машинки. И телефонов штук пять. А они все как одна отказываются, говорят, мы его не знаем.

Я заглянул в книжку. На букву «М», под беглым карандашным «Маш-ки», значились телефоны машинисток, добытые по расспросам знакомых и еще не пущенные в ход. Своего собеседника я посвящать в эти тонкости не стал. Он же воодушевленно рассказывал, как, звоня по всем телефонам подряд, они в конце концов вышли на Ксению Владимировну.

— Так где же портфель?

— Ща пойдем, только сперва надо, это, в магазин зайти.

Я понял намек и приготовился раскошелиться. Мой спутник недолго осматривал витрину и заказал три бутылки портвейна. Это стоило рублей

пять-шесть, но так как я уже вынул четвертную, я со словами «для дома, для семьи» спешно закупил каких-то дорогих бутылок и шоколадных наборов и погрузил их в сумку. Работяга рассовал по карманам портвейн, и мы двинулись.

Он привел меня к стационарному вагончику, в каких живут ремонтные рабочие. Нас встретили веселыми возгласами. Внутри вагончик был обклеен глянцевыми вырезками с полуобнаженными девицами. Меня пригласили принять участие в распитии принесенного, но я отказался, сославшись на занятость. Они не настаивали. Мне был выдан портфель, велено убедиться в сохранности содержимого и посоветовано в дальнейшем не быть таким распиздяем. Я отбыл, не веря своему счастью и не переставая дивиться скромности запросов простого советского человека (слова «совок» тогда еще не было). Так я воссоединился с утраченной было собственностью, но зато остро ощутил безнадежность своего отрыва от народа — отрыва пока что метафорического, но которому через несколько лет предстояло овеществиться в виде эмиграции.

3. «Следуйте за той машиной!»

В западной обстановке эффектный сюжет потери-находки мне пришлось пережить дважды, причем оба раза терялся один и тот же портативный компьютер сравнительно раннего образца — laptop фирмы «Тошиба», имеющий, кстати, классическую форму чемоданчика с выдвижной ручкой.

Первый раз я позорно забыл его в уборной нашего университетского корпуса (1991 г). Я задержался в офисе, ставя последнюю точку в писавшейся книге, и уже затемно заспешил домой, ибо нам с Ольгой предстоял поход в гости. Помимо компьютера, при мне была обычная сумка, которая и насытила первую и основную валентность моего самоконтроля. Хватился пропажи я лишь перед выходом из дому, ибо захотел взять компьютер с собой, чтобы похвастаться его техническими достоинствами, элегантною легкостью (он весил «все-го» 12 фунтов) и, не в последнюю очередь, содержащейся в нем — и только в нем! — книгой. Каков же был мой ужас при мысли, что эта изящная игрушка, стоившая, безотносительно к ценности моего сочинения, свои \$3,000, будет унесена — наверняка, уже унесена — первым же забредшим в туалет четвертого этажа по большой или малой нужде. Однако, прибыв на кампус, я обнаружил свою «Тошибу» смиренно дожидаящейся меня там, где я ее оставил. Судьба опять проявила волюнтарскую заботу о моем очередном опусе.

Настоящая трагикомедия с той же «Тошибой» произошла в Нью-Йорке, в весенние каникулы 1993 года. Я приехал из Лос-Анджелеса, чтобы поработать с Мишей Ямпольским над предисловием к нашей книге о Бабеле, но остановиться должен был у других знакомых. В автобусе по дороге из аэропорта я долго вчитывался в маршрут, определяя, где оптимальнее пересесть на такси. На какой-то остановке уже в центре Манхэттена, где

сходили многие, увидев в окно свободное такси, я выскочил, остановил его, получил свой саквояж из уже открытого шофером нижнего багажника и уселся в такси. Но в ту секунду, как автобус отъехал от остановки, я сообразил, что мой компьютер, который я нарочно не сдал в багажник, а держал при себе, так и остался на полке над моим сиденьем! Что было делать?

— Follow that bus! — закричал я водителю.

На эту невольную цитату из типового полицейского фильма водитель реагировал как-то бестолково. Мне пришлось несколько раз повторить свою команду, автобус тем временем завернул за угол, загорелся красный свет, и мы окончательно потеряли его из виду. Далее выяснилось, что таксист не только плоховато понимает по-английски, но и не знает автобусных маршрутов, да и города вообще. Он оказался поляком, приехавшим в Штаты совсем недавно.

Так была достигнута низшая точка моих несчастий, после чего дело могло пойти только к лучшему. Если в американском фольклоре полякам отведена типовая роль идиотов, то в советской диссидентской культуре Польша, напротив, была окружена западническим ореолом. Поэтому я бывал в Польше и в свое время прилично выучил польский. Мобилизовав эти полузабытые ресурсы, я срочно подружился с таксистом и обрел в его лице преданного оруженосца, всей душой включившегося в мои розыски Святого Грааля в ночном Нью-Йорке. Мы подъезжали к остановкам и

отелям, я выбегал, расспрашивал прохожих и портье, такси ждало или следовало за мной... Наконец, мне объяснили, где есть надежда перехватить аэропортовский автобус, таксист остался ждать в каком-то немыслимом заднем дворе, а я, — оставив в машине вещи (!), — побежал к указанной конечной остановке. Стоявший там автобус оказался не тем, зато следующий же подошедший был мой, я еще издали узнал водителя. Он открыл мне дверь, я объяснил, в чем дело, вошел в совершенно пустой салон, бросился к знакомому сиденью, дрожа от волнения, протянул руку на полку и нащупал свою «Тошибу» — свою мольеровскую кубышку, гоголевскую шинель, зощенковскую галошу, свой луидефюнесовский чемоданчик!

4. «Алик, Алик, это я, Коля!!!»

Наверно, наиболее красноречивый сюжет на тему самограбления развернулся летом 1972 года на озере Валдай. Сначала собралась большая компания, целый палаточный лагерь; мы купались, катались на привезенных мной байдарке с парусом и маленькой поддувной яхточке «Мева». Я прожил там подряд пару недель, другие приезжали и уезжали, и постепенно разъехались все, кроме оставшихся покататься до упора, а потом помочь мне с разборкой и вывозом вещей Коли П. и Лены Г. Но удовольствие от последнего дня было испорчено тем, что в нашей бухточке поставила палатку какая-то сомнительная компания, сразу внушившая мне опасения насчет неприкосновенности имуще-

ства. К вечеру байдарка была уже разобрана и лежала в мешках около палатки, «Мева» же была всего лишь вытащена на берег, недалеко от нашей палатки и по возможности подальше от вражеской, откуда доносился шум пьянки. Мы улеглись, мужчины по краям, дама посередине. Коля и Лена мгновенно заснули сном праведников, и даже я начал кое-как задремывать, но время от времени пробуждался, чтобы бросить бдительный взгляд на берег. В лунном свете яхточка смотрелась эффектно. В другой палатке постепенно угомонились; забылся сном, наконец, и я.

Впрочем, забылся не то слово, ибо сон, который вскоре стал мне сниться, навязчиво держался все той же тематики. Мне снилось, что под противоположный край палатки каким-то образом подлез вор с ножом в зубах, — сон архетипический и, возможно, навеянный сходным эпизодом из «Серебряных коньков», любимой книги моего детства. По примеру одного из ее героев (сейчас посмотрел: Петера), я решил встретить опасность лицом к лицу. Я пополз ему навстречу, набросился на него и двумя руками принялся его душить, в чем более или менее преуспел. Из его горла уже доносились какие-то нечленораздельные — предсмертные? — хрипы, но вдруг он зашевелился, звуки сделались громче, сложились в слова: «Алик, Алик, это я, Коля!!», и я проснулся. Оказалось, что я лежу на Лене, ни живой, ни мертвой от страха, сомкнув пальцы на Колином горле.

Мало-помалу мы успокоились, посмеялись, последний раз убедились в сохранности яхты, уснули. Но через какое-то время я встрепенулся, хотел взглянуть на берег — и тотчас услышал ясный, без признаков сонливости голос Коли:

— Алик, все в порядке, я наблюдаю.

«Меву» не украли, и я еще много лет катался на ней на озере в Купавне, где мы с Таней снимали дачу, а уезжая, оставил ее другой Тане и ее сыну Сереже. (Он потом стал настоящим яхтсменом.)

Вообще, оказалось, что деньги и вещи нельзя не только унести в могилу, но даже и увезти в эмиграцию. Пришлось бросить квартиру, раздать мебель, отказаться от вывоза старых книг, а вывезенные делить потом при разводе, в ходе которого бросить уже целый дом, да и потом несколько раз наживать и делить имущество. Видимо, связи связями, но смежность это всего лишь смежность и, как сказал поэт, еще сильнее тяга прочь, и манит страсть к разрывам. К осознанию этого особенно хорошо приходить в мире частной собственности.

Западное кино

Уже самые ранние кинопечатления были от западных фильмов. Где-то лет шести — от диснеевского «Бэмби».

В одной незабываемой сцене ноги олененка разъезжаются на льду во все стороны, и живот оказывается прижат к поверхности в невольном

двойном шпагате. Какие-то дружественные зайцы пытаются то с одной стороны, то с другой подпирать его ноги, но безрезультатно.

Тут я, по рассказам мамы, стал всхлипывать:
— Ведь ясно же, что он никогда не встанет!..

Помощные звери тем временем организовались, налегли со всех четырех сторон, и поставили Бэмби на ноги. Но в памяти отпечаталась картина отчаянного бессилия.

(А недавно я впервые посмотрел «Книгу Джунглей» и пришел в полный восторг. Но поделившись этим со своим американским аспирантом, услышал, что Диснея любить стыдно — типичная голливудская жвачка.)

После войны показывали множество трофейных фильмов, в том числе бесконечного «Тарзана», и московские дворы несколько лет оглашались подражаниями его сигнатурному зову с додекафонными переливами.

Все помнят стремительные перелеты Тарзана на лианах и спринтерскую погоню за косулей, но меня больше всего поразили его подводные пируэты в одной из серий, тронувшие своей, как бы это сказать, немужественностью. Тарзан плавает там вместе с Джэн, в порядке отдыха, и потому не по прямой, взрезая поверхность бурным кролем или баттерфляем, не на скорость, как профессиональные пловцы, а медленно кружа, как бы вальсируя под водой без единого всплеска (завораживала и сама аквариумная съемка). Это было тем более эффектно,

что Тарзана играл чемпион мира по плаванию Джонни Вайсмюллер, атлетический гигант, от которого такой преждевременной политкорректности ожидать не приходилось.

(Много лет спустя пронеслась весть, что он разбился о подводные камни где-то в Мексиканском заливе, соревнуясь с местной малышкой в нырянии за жемчугом.)

А году в 62-м в Москве демонстрировался документальный фильм «Америка глазами француза». Фильм был полнометражный, цветной, брызжущий красками, энергией и здоровьем, доверху набитый небоскребами, автомобилями, горными и водными лыжами, скутерами, яхтами, рок-н-роллом, загорелыми телами на тихоокеанских пляжах... Стояла оттепель, и поглядеть на завлекательную Америку нам дали, но все же лишь глазами француза. Фильм был по-европейски утонченный — об Америке глупой, примитивной, дикарской, но я и по такой взгрустнул по ней. Когда я вышел из кинотеатра, Пушкинская площадь показала черно-белой.

Мне было 25 лет, и мысль об эмиграции, правда, в сугубо виртуальном плане, меня, конечно, посещала. Но после фильма я надолго выбросил ее из головы. Было ясно, что я безнадежно опоздал — что в эту молодую, динамичную, праздничную жизнь мне, человеку, совершенно уже сложившемуся, соваться нечего.

(На подготовительное помолодение ушли следующие полтора десятка лет, но по переезде в

Америку, особенно в Калифорнию, процесс пошел быстрее. Таким старым, как на том сеансе, чувствую себя лишь изредка.)

Мат в четыре хода

Как клопы провербиально ползут в приличную квартиру от соседей, так непристойностям мальчик из хорошей семьи научается от ребят с улицы. Впервые это произошло со мной в эвакуации, в четырех-пятилетнем возрасте, на ВИЗе, где авторитетами по всем вопросам для меня стали заводские Витька и Вовка.

— Папа! А что быстрее? Если трамвай поедет или если Витька изо всех сил бросит камень?

Витька и Вовка не только бросали камни, но и матерились с заразной непринужденностью, и обе привычки сохранялись у меня первое время по возвращении в Москву (в августе сорок третьего). Я бил стекла в нашем солидном кооперативном доме и к ужасу родителей поражал интеллигентных гостей фейерверками мата.

Но еще до поступления в школу это прошло — забылось начисто, как забылись начатки немецкого, которому меня учила папина мама «тетя Роза» (бабушкой она именоваться не желала), когда, болея то ли корью, то ли скарлатиной, я, как в изоляторе, жил у нее). Немецкий я потом плоховато выучил в университете, матом же — вместе с распознаванием социальных ситуаций его примени-

мости — быстро овладел еще в школе и родителей им больше не беспокоил.

Следующий качественный скачок произошел почти тридцать лет спустя. Роль соседского хулигана-сквернословы сыграла на этот раз юная, на 15 лет моложе меня, красотка, с которой у меня был бешеный роман горячим летом 1972 года. Она была из богемных, слегка подпольных, киношно-художественно-поэтических кругов, где матерились с интеллектуальным шиком и без каких-либо гендерных различий. Мне пришлось трудно. С пониманием, естественно, проблем, не было, произношение же долго не давалось — при дамах слова буквально застревали в горле, я стыдливо краснел. Надо мной смеялись. Но чего не сделаешь ради любимой женщины, да и почему бы не овладеть еще одним языком культуры, еще одним светским этикетом? Вскоре дело пошло на лад, и я заговорил неотличимо от аборигенов.

Кстати, это была компания, где вращался Лимонов. Я сразу оценил его стихи, а когда в 1979-м из-за границы появился «Эдичка», — и прозу. Встречи продолжились в эмиграции, я писал о нем — и о стихах, и о прозе, но не о той революции, которую он произвел в русском литературном языке введением мата и которая с тех пор победила полностью и окончательно.

Фокус состоял в употреблении «нестандартной лексики» не только в речи персонажей, но сексуальным поводам и ради эмоционального усиления, но и в самых, так сказать, метафизи-

ческих целях (пушкинская параллель здесь правомерна):

«В русской эмиграции — свои мафиози... Мафиози никогда не подпустят других к кормушке. Хуя. Дело идет о хлебе, о мясе и жизни, о девочках. Нам это знакомо, попробуй пробейся в Союз Писателей в СССР. Всего изомнут. Потому что речь идет о хлебе, мясе и пизде» («*Это я — Эдичка*»).

«Восстановили нас против советского мира наши же заводицы, господа Сахаров, Солженицын... Ну мы и хуйнули все в западный мир, как только представилась возможность. Хуйнули сюда, а увидев, что за жизнь тут, многие хуйнули бы обратно..., да хуй-то» («*Это я — Эдичка*»).

«Внезапно, прилетев из прошлого, перед ним, заслонив молодые деревья и корты, появилась ее пизда меж раздвинутых ног... У некоторых она розовая, у других — красная, у Мэрэлин, вспомнил он, серая. Знаком американского доллара, расклеившись, пизда Мэрэлин висела в небе, и сидели, как в кинозале, глядя на нее, Эдвард и Мэрэлин. За десять лет пизда не состарилась нисколько, но задорная испуганность исчезла с лица пизды. Ее сменило выражение подавленной испуганности. Можно было безошибочно угадать, что это пизда жены индустриалиста, матери двух мальчиков, а не пизда Мэрэлин по кличке «Балерина»» («*Дождь*»).

«Лицо пизды»! Лимонов повлиял на меня во многом, в частности, и в этом. В свои филологические и мемуарные тексты я стал вкраплять матерные цитаты. На фоне интеллигентного контекста они, надеюсь, смотрятся неплохо. Но виртуозной полифонии мата от первого лица мне учиться и учиться.

Пока что, в порядке первого урока, я усилил выразительность одного из приведенных пассажей — как бы это сказать? — на один хуй. Вот, кстати, задачка по стилистике для читателя.

А и Б

Поступив на филфак (1954 г.), я обнаружил среди студентов своей английской группы соученика по школе, Витю С. По школе, но не по классу: он учился в классе «а», заповеднике гениев, а я — в плебейском «б», где к гениям отношение было подозрительное. Как-то раз наша классная руководительница тоном выговора заметила мне, что по своему складу я больше подхожу к «а», и она может позаботиться о моем туда переводе, понимай — изгнании. Дело это, однако, дальше не пошло, и я окончил школу, хотя и с золотой медалью, но с неизбывной печатью класса «б».

Началось все это тем летним днем 1944-го года, когда мама повела отдавать меня в школу. Поступавших в первый класс было много — более двухсот человек, которых, наскоро прики-

нув уровень их умственного развития, распределяли по классам, от «а» до «д». Завуч спросила маму, считает ли ребенок до ста. Мама, поколебавшись, ответила утвердительно, полагая, что со сложением и вычитанием в пределах ста я как-нибудь справлюсь; насчет умножения и деления полной уверенности у нее не было. Завуч, имевшая в виду всего лишь умение продекламировать числовой ряд: «один, два, три... девяносто девять, сто», покачав головой, зачислила меня в 1-й «д», и вся моя школьная жизнь прошла среди хулиганов и двоечников, которые, Впрочем, неуклонно отсеивались, так что к выпускному финишу пришло два класса по тридцать человек — 10-й «а» и 10-й «б».

Общность школьного происхождения сближала нас с Витей, и на факультете мы первое время держались вместе. Мужское население филфака немногочисленно, зато каждый считает себя гением и культивирует свою оригинальность. Вите это давалось без труда. У него были большие, красивые, но разные глаза — один коричневый, другой зеленый. Уже в школе он носил костюм и галстук. Он курил трубку и умел пить коньяк (его отец был директором — метрдотелем? — ресторана). Он непринужденно перемежал свою речь словами «душа моя» и «голуба». К урокам он не готовился, лекции пропускал, был невозмутим и молчалив, а когда высказывался, то ронял что-нибудь уайльдовское. Как-то позднее, курсе на втором или третьем, он сообщил мне, что только что разошел-

ся со своей подружкой, и на мой вопрос, где же она, произнес: «Оне пошли бросаться под машины».

На филфаке было принято, что кафедры вывешивали темы предлагаемых курсовых работ у входа на третий этаж (мы учились в старом университетском здании, Моховая 11). Стены напротив лестницы, сами двери этажа и стены коридора за дверьми были покрыты листами бумаги с отпечатанными на машинке названиями тем. Меня, зеленого первокурсника, эти списки и страшили, и влекли, — я читал в них вызов своему честолюбию.

— Витя, — сказал я, — давай пойдем на кафедру, выберем темы...

— Зачем, душа моя?

— Как зачем? Чтобы попробовать свои силы в науке, добиться результатов, завоевать уважение...

— Это тебе, душа моя, чтобы уважать себя, нужно писать курсовую, а я себя, голуба, и так уважаю.

Ни на какую кафедру мы тогда не пошли, без курсовых же, разумеется, не обошлось. Впрочем, филологом Витя не стал (это особая история), психологом же оказался неплохим. До сих пор я все что-то пишу, стараясь заслужить собственное уважение, но с переменным успехом, ибо ходить «на кафедру» так и не научился и попрежнему обретаюсь в разного рода учреждениях класса «б», — хотя, вроде бы, больше подхожу к «а».

Против инварианта не попрешь.

Comrades Petrov and Smirnov

Лекции по грамматике нам читала О. С. Ахманова. Практические занятия по языку вели рядовые преподаватели, но в научные дебри они не пускались. Это была прерогатива Ахмановой, вдовы самого «Александра Иваныча» — А. И. Смирницкого. Анна Константиновна Старкова, которая вела нашу группу, говорила:

— What I teach you is how to speak English. And then Olga Sergeevna will come and give you all kinds of theories. («Я учу вас, как говорить по-английски. А потом придет Ольга Сергеевна и обучит вас разным теориям».)

Ахманова говорила на изысканном литературном английском, с большим количеством слов латинского происхождения. Лекции она читала с закрытыми глазами. В ее случае эта наглядная демонстрация свободного владения материалом имела, как я узнал несколько позже, особую подоплеку: считалось, что при опущенных веках не так быстро образуются морщины в уголках глаз. Для нас же это означало возможность безнаказанно заниматься посторонними делами.

Однажды по ходу лекции она сказала что-то остроумное и открыла глаза, чтобы насладиться реакцией. Но оказалось, что ее не слушают: одни спят, другие делают домашние задания. Ее острота упала в совершеннейшую вату.

— Now, comrades, — сказала Ахманова, — when I am trying to be witty, I expect you to laugh. («Товарищи, знаете ли, когда я пытаюсь острить, я ожидаю, что вы засмеетесь»).

Таково было первое на моем жизненном пути явление английского юмора.

Как-то раз Ахманова раздавала курсовые работы по языку Шекспира. Юра Щеглов был рад случаю заново перечитать все пьесы в поисках какого-то там предлога или типа сложных слов. Володя Л., напротив, был готов к научным изысканиям лишь в пределах «Отелло». Оценив ситуацию, Ахманова сказала:

— All right then, comrades. Comrade L. shall concentrate on «Othello». As for comrade Shcheglov, I feel I am under the necessity to ask him kindly to confine himself to non-Othello» («Отлично, товарищи. Пусть товарищ Л. сосредоточится на «Отелло». Что же касается товарища Щеглова, то я чувствую, что я вынуждена буду просить его ограничить свои усилия не-Отелло»).

Настойчивое comrades здесь не случайно. Я до сих пор помню (и иногда рассказываю своим американским студентам), что одной из первых прочитанных мной в Университете английских фраз было: «Comrades Petrov and Smirnov went to the dining-room» («Товарищи Петров и Смирнов пошли в столовую»). При этом, под dining room, что по-английски означает столовую комнату в частном доме, то есть, столовую в смысле профессора

Преображенского, по-шариковски имелась в виду столовая общественная.

Так или иначе, мы научились прилично читать, писать и говорить по-английски, чем впечатляли своих сокурсников с русского отделения. («Ты как — читаешь и сразу переводишь?» — спрашивали они.) Что хромало, так это произношение, вопреки усилиям нашей фонетички. На ее требования упражняться в тонкостях английской артикуляции я отвечал:

— Ирина Федоровна, ну зачем мне это? Ведь мне же никогда не придется притворяться американцем?!..

Диккенс, Ивлин и мы

Преподавательница языка Анна Константиновна была здравая и доброжелательная женщина, без особых интеллектуальных претензий, зато не интриганка, не проработчица, по-видимому, даже не стукачка. Мы ей доверяли.

У нее было простоватое — в молодости, наверно, хорошенькое — лицо; волосы не седые, возможно, крашеные, уложенные перманентом, как на фото в окнах парикмахерских. Она носила серый в полоску костюм — с трудом сходявшийся на располневшей фигуре жакет с юбкой — и кружевную блузку. Ее английского произношения не помню. Язык в МГУ преподавался «оксфордский», но выучила она его, судя по ее рассказам, работая переводчицей при амери-

канских специалистах на строительстве Сталинградского тракторного завода.

Сколько ей было лет? Со времен СТЗ прошло тогда два страшных десятилетия, о которых она не распространялась. Пожалуй, ей не было пятидесяти. На пенсию она вышла уже после нас, причем не сразу. Но потом быстро сдала, стала болеть и умерла не очень старой, лет шестидесяти с лишним — в моем теперешнем возрасте.

Она жила недалеко от меня, в районе Плющихи, и я изредка навещал ее. В 1964-м она еще была жива, я брал у нее сборник английских новелл ужасов (*A Century of Creepy Stories*) — растрепанный том в твердой зеленой обложке, с рассказом, в котором что-то важное подслушивалось через длинную трубу, некогда проведенную из дома в сад. Этот сюжетный ход запомнился, когда А. К. давала мне книгу еще в Университете, и теперь подлежал использованию в статье «*Deus ex machina*».

Я рассказывал А. К. о своих научных занятиях и предлагал приносить английские книги, но она неизменно отказывалась, говоря: «*I have my Dickens*» («У меня есть мой Диккенс»).

Эту фразу я вспомнил, когда Юра Щеглов, в свое время студент той же группы, сравнил нашу судьбу профессоров русской литературы в Америке с финалом «Пригоршни праха» Ивлиина Во, где главный герой, опустившийся на дно жизни английский аристократ, обречен вновь и вновь читать полного Диккенса вслух своему хозяину, дер-

жащему его в плену в джунглях Амазонки. Я вспоминаю ее также каждый раз, как позыв ознакомиться с оригиналом, возникающий при чтении рецензий на книжные новинки, будь то русские или американские, вянет на корню.

... Что еще? Заголовок — подражание поразившему меня полвека назад эйзенштейновскому «Диккенс, Гриффит и мы», типично американскому; по-русски таких «... и мы», «... и я» на моей памяти не делали. А почему душе простой советской выдвиженки, переводчицы на СТЗ, старшей преподавательницы проваренного в чистках, как соль, МГУ, был близок именно Диккенс, — вопрос, как говорится, на засыпку.

Троянской войны не будет

«Спецподготовку» студенты-гуманитарии второй половины 50-х годов — будущие пехотные офицеры запаса — проходили на спецкафедре. Это стыдливо-секретное наименование не мешало ее преподавателям расхаживать в военной форме, стуча сапогами, но оно же выдавало неожиданное пристрастие к таинствам Слова. Сказывалось и наступление «оттепели», явившейся на свет, подобно Афине, логоцентрическим способом. И вообще, давала о себе знать подозрительная разговорность всего этого военного дела.

— Филологи мне как-то ближе, — начал первое занятие по тактике молодежавый капитан Кирил

лов, выпускник иностранного факультета военной академии.

Журя студента за неумелую разборку оружия, он приговаривал:

— Это вам, Аркадьев, не перевод из Бернарда Шоу!

Но и сама разборка — операция, требовавшая простейших ремесленных навыков, — содержала шикарный филологический компонент. Надо было не просто разбирать и собирать винтовку, но и последовательно называть ее части: «ствол», «затвор», «газовая камора» (а не, упаси Боже, «камера») и производимые над ними действия: «легким постукиванием отделяем»... (что от чего, не помню, но «легкое постукивание» незабываемо).

В случае винтовки декламация хотя бы имела мнемонический смысл, но иногда ее гипостазированная вербальность выступала в чистом виде.

— Что т'аа-кх'оэ наз'вается фвыстрелл? — в одной руке держа указку, а другой поглаживая свой бритый череп, вопрошал с лекторской трибуны полковник Бицоев.

И тут же отвечал:

— Фвыстрелл наз'вается выбрасывание боевого снаряда из ствола огнестрельного оружия под действием быстрого расширения газов в газовой каморе.

В армейской практике, учитывая разноязыкую малограмотность солдатского контингента, эти словесные упражнения, возможно, выполняли

цементирующую образовательную функцию, но нас они настраивали на издевательски коллекционерский лад. Было очевидно, к тому же, что схоластическими дефинициями подменялась реальная подготовка, ибо оружие нам выдавалось самое элементарное и устаревшее, стрелять нас не учили, а занятия тактикой на ящике с песком — этом миниатюрном театре военных действий — носили отчетливо условный, сценарный характер:

— Новые вводные [то есть, в переводе на язык Станиславского, новые предлагаемые обстоятельства]. В 12:00 войсками одной иностранной державы был нанесен тактический ядерный удар по району.. Наши части в составе двух рот при поддержке танков закрепились на участке.. Ваше решение, товарищ командир!..

Возглавлял кафедру, как водится, генерал — с надежной, образованной от простонародного мужского имени фамилией Данилов. Он выглядел внушительной, но почти полной развалиной — большой, лысеющий, с желтым, видимо, из-за расстройства печени, лицом и одышливой походкой. В классе он появлялся, только когда надо было заменить заболевшего преподавателя. До специальных тем он не снисходил, полагая, что его рангу приличествует жанр высоких военно-философских откровений.

— Знаете ли вы, что такое война? — начинал он.

— Войны не будет, товарищ генерал, — подавал кто-нибудь голос. — Ведь мы за мир, товарищ генерал.

— Наслушались хрущевской хуйни?! Будет война! Люблю войну!.. Кругом дым, снаряды. Рука летит, нога.. Будет война! Будет! — Ослабев от жестикуляции, он вяло отирал лоб и отпускал нас, не дожидаясь звонка.

Какое-то количество рук и ног в дальнейшем действительно полетело, но большая война «с одной иностранной державой», мизансцены которой были столь тщательно разработаны, не состоялась. Как, уже переселившись в эту державу, я узнал из тезисов некой деконструктивистской конференции по политологии, ядерная стратегия двух военных блоков имела строго дискурсивную природу, строясь по несложной схеме интериоризованного диалога: «Если мы нанесем такой удар, вы ответите таким; тогда мы такой, а вы такой; потом мы так, а вы так... Не-а, не стоит».

Уж не филология ли, разъев милитаристский костяк, спасла мир?

Надзирать и наказывать

«Хижину дяди Тома» я не читал, но в детстве был на спектакле, финал которого помню. Сцена погружалась во тьму, и — находка режиссера! — луч юпитера высвечивал лицо главного негодяя-рабовладельца, а в репродукторы на весь зал звучал голос рассказчика: «Запомни это лицо — лицо врага!»

За сравнительно долгую уже жизнь я повраждал вдоволь: со многими отдельными лицами и

с целой общественной формацией. Формацию я более или менее пережил, из недругов одних уж нет, а те далече, с некоторыми помирился, с другими разошелся, о третьих пописываю иногда не без яда, но ненависти не испытываю ни к кому. При мысли о «лице врага» в памяти всплывает лишь один образ полувековой давности.

Ольга Николаевна Михеева работала агитатором нашей английской группы первого курса романо-германского отделения филологического факультета МГУ. Должность это была общественная, не оплачиваемая, но властью облекала немалой: агитатор являл собой внештатного политкомиссара. По своим прямым обязанностям Ольга Николаевна была — не у нас — преподавательницей немецкого языка, к нам же была приставлена именно воспитывать. Плоды ее воспитания я ощущаю и сегодня.

Она взялась за дело без промедления — устроила небольшой политический процесс. В первый же месяц она поссорила «мальчиков» с «девочками», обвинив первых в невнимании ко вторым. Каждого/каждую из нас она обрабатывала отдельно, ведя долгие партийно-доверительные беседы. Мы оправдывались и сопротивлялись как умели, но умели еще не очень. Вскоре в университетской — не меньше! — многотиражке появилась инспирированная ею статья, в которой особому поношению предавались индивидуалисты Жолковский и Щеглов. «С кем хотим, с тем и дружим, — вызывающе заявляли они».

Но официального осуждения (кажется, выносились и какие-то выговоры по комсомольской линии) ей было мало. От нас требовалось морально разоружиться. Как О'Брайен в романе Оруэлла (вышедшем всего пять лет назад и нам еще не известном), мы должны были полюбить Старшего Брата. После лекций она вызывала меня на долгие прогулки вокруг Манежа, расспрашивала о моей домашней жизни, о недавней смерти мамы, о дружбе с Юрой Щегловым, втиралась в душу всеми возможными способами. В ходе этих, выражаясь по-хлебниковски, свиданий меня с государством, я не давал прямого отпора, изворачивался, полуоткровенничал, полусдавался, потом, устыдившись, полулез на рожон и лишь постепенно понял, что к чему, и оброс защитной коркой. Лицо врага запомнил.

Оно было хрестоматийное: глазки, как оловянные пуговицы, насупленные тонкие брови, поджатые губы бантиком. Ее хорошо играет Луиз Флетчер в «Гнезде кукушки». (Родители Формана погибли в немецком концлагере, сам он в 1968-м остался на Западе.) Ольга Николаевна была нестарая женщина, и ходили слухи о ее связи с ужасным парторгом факультета — инвалидом войны по прозвищу Трехногий, пьяницей, замахивавшимся на неугодных студентов костылями. Но мне казалось неинтересным подшивать это к делу. Того, что она со мной вытворяла, было достаточно, чтобы ненавидеть.

Что двигало ею? За проведенную работу ей, конечно, ставилась какая-то галочка, но вряд ли это было главное. Возможно, она искренне не любила умников. Возможно, вступаясь за «девочек», она изживала какие-то собственные травмы. Но прежде всего она была садисткой — с мандатом. Мандат к садизму не обязывал, он его только разрешал. Но этого было достаточно, чтобы мучить.

Она мучала, я ненавижу. Наверно, за то, что в свое время с ней не справился, и выстрел остался за мной.

Обычно я изменяю имена, а то и пол, своих отрицательных персонажей, но ее называю по имени отчеству, фамилии и профессии. Это может быть неприятно ее, так сказать, ни в чем не повинным родственникам, детям, внукам. Почему же я это себе позволяю, и в каком смысле «так сказать»?

Она была, как говорится, типичной нацисткой, но денацификации в России не произошло. Ее не судили, она не признавала своей вины, не просила у меня прощения, и дети (если они есть) не просили за нее. Для них она, возможно, была любимой и любящей матерью, но это бывает и у нацистов. (Ноги на фронте они тоже теряли.) В отличие от нацистских, дети Ольги Николаевны, скорее всего, не подозревают, кем была их мать. Денацифицировать ее приходится мне. И неповинны эти дети именно «так сказать» — до тех пор, пока не признают ее виновной. Но тогда и обижаться им придется не на меня, а на маму.

Впрочем, верится в это с трудом. Только что вышла книга о детях нацистских лидеров — Геринга, Гиммлера, Бормана, Гесса и др.* Она называется «Сторож отцу своему» — потому что сыновья и дочери с нежностью вспоминают свое счастливое детство, заботливых родителей и бездетного, но чадолюбивого дядю Адю, и верны их героической памяти.

Как это может быть? А очень просто. Мало ли, что нацизм был повержен на полях сражений и осужден в Нюренберге?! Это только подтверждает нацистский тезис, что сила — право. Ведь одним из победителей был Сталин (с дочкой ему, правда, не повезло), а одним из обвинителей — Вышинский.

... Виньетке что-то нехватает положенной амбивалентности, одна плакатная ненависть. «Лицо врага»! Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? Жертва преступления, прокурор, защитник, судья, 12 разгневанных присяжных и тюремный надзиратель — все в одном лице. Хороша демиксификация!..

Деревенская проза

Воспоминания о добровольно-принудительных поездках в колхоз, особенно полвека спустя и в

* Stephen and Norbert Lebert, «My Father's Keeper. Children of Nazi Leaders: An Intimate Story of Damage and Denial».

ореоле бахтинского карнавала, у меня не самые плохие. Это было, что называется, очень познавательно в житейском, а главное, филологическом смысле. К тому же, мужчины в колхозе, как и на филфаке, редкость, и мы ценились вдвойне.

Нас с Юрой Щегловым стал сманивать к себе на грузовик шофер «дядя Коля».

— Что вы там с девками заработаете на прополке-хуёлке? — Он назвал копейки, положенные за трудодень в поле. — А у меня ездка — рубль.

Убедил нас не столько коммерческий расчет, сколько перспектива месяц прокататься с ветерком вдали от коллектива. И, конечно, соперничество с приятелем по английской группе Володей Аркадьевым, уже определившимся в грузчики на другую машину.

Дядя Коля был солидный, с седоватой щетиной семьянин («старик лет сорока», написал бы Толстой). Дионисийское начало в бригаде представлял местный грузчик «дядя Миша», здоровый парень в черном ватнике, однажды уже отсидевший, а теперь снова арестованный и временно выпущенный в ожидании суда, кажется, за убийство. Он много матерился и то и дело затаскивал дядю Колю в попутные чайные. В результате, за день выходило не больше двух ездов. Коммерция страдала, но мы прекрасно проводили время, лежа в кузове или на травке и беседуя о том о сем.

Из дяди Миши помню одну фразу — в пользу пива против минеральной воды: «Вода плотину рвет». По неопытности я принял эти слова за на-

родную мудрость, но постепенно убедился в их урологической некорректности. О вкусах же, разумеется, не спорят.

Дядя Коля был более аполлоничен — за машину отвечал он. Как-то утром, явившись на работу, мы застали его у грузовика с поднятым капотом. Огладев окрестный пустырь, дядя Коля сказал:

— Принеси-ка мне вон ту хуйню.

Проследив за его взглядом, я вопросительно указал пальцем на небольшую железку, он кивнул, и я, в амплу ученика-подмастерья, притащил ее. Дядя Коля стал ковыряться в двигателе, а мы с Юрой обсуждать феномен «хуйни». В жизненном плане поражала органическая, так сказать, подножная укорененность советской техники в ландшафте, с гарантией поставляющем все необходимое для ремонта. Лингвистическим открытием было употребление слова, до тех пор воспринимавшегося как абстрактное существительное (типа «болтовня»), в предметном значении (в котором нормативной представлялась «хуёвина»).

Самый яркий эпизод нашей грузчицкой жизни был связан со срочным отвозом на мясокомбинат двух заболевших свиней. Их было трудно грузить и еще труднее сгружать — за время поездки они как-то нехорошо посинели и сами уже не шли.

Встречать их вышли две женщины в белых халатах.

— Ветеринары или техники? — спросила одна из них. Она приняла нас за студентов-практикантов.

— Техники, — бодро ответил я, полагая, что от ветеринаров может потребоваться слишком много.

— Померьте температуру. — Она протянула мне градусник.

Детали публично проявленной мной неосведомленности в выборе отверстия я опускаю.

Так или иначе, приемка состоялась, и, подталкиваемые нами, полумертвые свиньи сделали первые шаги к превращению в мясопродукты.

Вечером Володя, выслушав наш рассказ, впечатал с фольклорной краткостью:

— По людям — и свиньи!

-ЖЖ-

В первые же университетские каникулы (зимой 1954/55 г.) я поехал в студенческий дом отдыха «Широкое», где подружился с соседями по комнате — историками пятого курса. Вдвоем с одним из них мы как-то отправились на лыжах в далекое село за выпивкой.

Любителям лыж, велосипеда, гребли и других спортивных, но устарелых способов передвижения знаком особый кайф их практического применения. В мире Джеймса Бонда он взбивается до суворовских масштабов лыжной погони через Альпы, в мире рядового человека — одухотворяет скромную поездку на велосипеде за хлебом (на лыжах за водкой; на лодке за керосином; и т. п.). Супермен по мере использования легко расстает-

ся со своими лыжами, аквалангами и арабскими скакунами, перед эврименом же, особенно российским, встает проблема сохранности транспортного средства. В первую очередь это касается лыж и велосипедов, идеально подходящих для угона.

Около магазина мы сняли лыжи, огляделись, и не видя признаков опасности, стали прислонять лыжи к стенке. Случившийся рядом мужик сказал, образцово окая:

— Лыжи-то не становь — спижжут.

В память, однако, врезалось не столько двойное «о», сколько двойное, точнее, тройное, «ж», — в согласии с известным положением структурной поэтики, что важна не звукопись сама по себе, а ее смысловая иконика. Как в анекдоте про проститутку, работающую теперь с писателями и объясняющую своей былой уличной коллеге, что такое «пенис» (примерно то же, что «хуй», только мягче), — «спижжут» это, в сущности, карамзинское «воруют», только иконичнее.

Постой, паровоз...

Стажировку в военном лагере после 4-го курса (лето 1958 г.), филологи проходили вместе с журналистами, из которых мне навсегда запомнился вирильный Валера Кузьмин.

Валера был боксер, с мощным торсом, шеей и бицепсами, с маленькими глазками, низким лбом и блатным выражением лица; очки, узкие, в железной оправе, не спасали. Но его блатные мане-

ры и интонации излучали не столько угрозу, сколько обходительность, и венчалось все это пением под гитару, собиравшим вокруг Валеры толпу почитателей, меня в том числе.

Блатные песни уже тогда — до Высоцкого — пелись достаточно широко, неся дозволенную антисоветскую и контркультурную дозу, и Валера был, в своем кругу и масштабе, признанным мастером жанра. От него даже я, лишенный музыкального слуха, кое-чему научился. Может быть, потому, что Валера как-то выделял меня, ища моего интеллектуального союзничества не меньше, чем я его — компанейского, силового, витального.

В его репертуаре были такие песни, как «Воровку не заделаешь ты прачкой...», «Вот мчались мы на тройке, хуй догонишь...», «Постой, паровоз, не стучите, вагоны...» (вскоре растиражированная), и университетские частушки, вроде:

*Мы Шиллеров и Гётев не читаем, да-да,
Мы этих чуваков не понимаем, да-да.
Раз-другой их почитаем,
Как зафаза, хохотаем,
Ничего в дугу не понимаем, да-да.*

*Я от МГУ, а ты от Чили, да-да,
Мы были на приеме у Черчилля, да-да.
У него бостон в полоску
И вообще он пафень в доску, —
Где они такого зацепили?*

Блатной прононс наводился заунывной назализацией гласных; в унисон с ней постанывали и искомно наличные носовые:

*Постой, паровоз, не стучите-мм вагоны-мм,
Кондуктор, нажми на тормоза-мм.
Я к мамыньке родной с последним поклоном-м
Спешу-мм показаться на глаза-мм.*

За недолгий лагерный месяц Валера стал моим кумиром — одним из чреды мужественных покровителей, помощных волшебников, житейских наставников. Он жил, умел жить, обладал заразительным вирусом жизненности.

Как-то в лагере показывали кино. На открытой площадке рядами поставили скамьи для зрителей, а экран натянули, не помню, то ли просто на открытом месте, то ли на сцене типа раковины. Рядов было много, зрителей сотни и сотни, естественно, одних мужчин в военной форме. Валера просил занять для него место, но долго не появлялся и вынырнул уже из темноты, в самый последний момент — с пальцем, поднесенным к губам (тихо!), и — «с бабой»! В лагере, откуда, казалось бы, три года скачи, ни до какой бабы не доскачешь, это было чудо. Посильнее, чем в «Фаусте» Гёте, ибо Валера обошелся без Мефистофеля.

Потом в Москве мы иногда сталкивались в университетском садике на Моховой, но постепенно я потерял его из виду. А через год мы вообще окончили, и сталкиваться стало негде. Однако я вспо-

минал его с нежностью и как-то спросил о нем у общего знакомого.

— Валера? Умер.

— Как умер!? Такой здоровяк!

— От менингита. В 22 года.

... С тех пор прошло столько и еще раз столько; я напеваю его песенки и даже пытаюсь вызвать его дух мемуарной каббалистикой. В общем, как зараза, существую, да-да.

Пусть оно меня и моет

Когда после 2-го, кажется, курса, мы были посланы в колхоз, Юра Щеглов поражал всех полным уходом от цивилизации: не брился, не заботился о мытье, ходил в пиджаке, заправленном в брюки (Аркадьев острил, что получается визитка). На советы, как устроиться с мытьем, он отвечал:

— Меня это совершенно не интересует. Я приехал не по своей воле. Государство меня сюда привезло, пусть оно меня и моет.

Однажды, много позднее, он в очередной раз стал обвинять государство во всех своих бедах, включая долги знакомым. Я спросил его, каким образом одолжившая ему три рубля сотрудница — государство. Он ответил:

— Почему Нина — государство?! Потому что... потому что государство — это не я!!

Другое оригинальное определение он дал в письме из колхоза домой: «Мы живем хорошо,

много сачкуем. Сачкование же есть отдых без отрыва от работы».

Иногда на него нападала экзистенциальная тревога.

— Все так бессмысленно, что неясно, зачем жить .

— Ну как же, вот ты занимаешься поэтикой. У тебя к этому явно талант.

— Ну и что, кому это нужно? Никто моих работ не понимает.

— Почему? Умные люди понимают. Вот NN тебя похвалил. Тебя прочтут, оценят.

— Ну, и кому от этого польза, кроме окружающих?

Надо себя показать

Стремление к privacy, к тому, чтобы оградить себя от вторжения извне, было характерно для Юры во все периоды и моменты его жизни. В Ленинской библиотеке его раздражали знакомые, подходившие к нему в фойе поболтать.

— Алик, почему они думают, что я в любую минуту свободен для общения с ними?

— Очевидно, потому, что видят, что ты вышел отдохнуть.

— Но из чего они заключают, что разговаривать с ними — это отдых?

Особенно раздражали его многочисленные аспирантки, с несчастным видом проводившие все свое время в библиотеке.

— Алик, зачем они взваливают на себя этот груз? Ведь даже мне — мне! — трудно.

Как-то в другой раз он сказал:

— Знаешь, когда я встречаю на улице С., я весь напрягаюсь. Я мобилизую всю свою память, думаю, о чем бы с ним поговорить, что бы такое конспиративное вспомнить.

Новые формы проблема «я и они» приняла на военной стажировке зимой 1959 г. Прибыв в лагерь, мы все были распределены по ротам и отделениям, а Юра откомандирован в распоряжение замполита батальона полковника Акимова. Первой задачей, возложенной на Юру полковником, было создание Памятной Книги Батальона. В Книгу должны были заноситься рассказы о лучших людях части. Список этих людей и краткие биографические данные были вручены Юре полковником. От Юры требовалось придать им яркую, увлекательную форму.

Сухая анкета, вроде:

«Иванов Иван Иванович, 1937 г. рожд., служил с 1956 по 1958 г., 2-я пулем. рота, отличник боев. и политич. подг., выступал за батальон на дивизионных соревнованиях по борьбе»,

под Юриным пером превращалась в шедевр житейной литературы:

«Невзрачным девятнадцатилетним паренком пришел Ваня в часть.

– Что это ты, Иваныч, какой щуплый, видать, мало каши ел, – шутили бойцы. – Какой из тебя вояка?!

Ваня ничего на это не отвечал, но упорно работал над собой, повышал боевые и политические знания, занимался спортом. А вскоре, защищая на соревнованиях дивизионных богатырей честь родного батальона, отличник боевой и политической подготовки И. И. Иванов занял призовое второе место.

На таких героев, как скромный Ваня Иванов, должны равняться все солдаты и сержанты нашего батальона!»

Когда с жителями было покончено, Акимов бросил Юру на инвентаризацию библиотеки. В ходе инвентаризации нередко применялась операция списывание — таково, в частности, происхождение и сейчас стоящего у меня на полке «Западного сборника» со статьей Эйхенбаума. Но очередное поручение замполита, хотя оно и оставалось в рамках интеллигентных занятий, оказалось Юре не по плечу. Ему было приказано сделать на собрании батальона доклад о происходившем тогда XXI съезде партии.

— Понимаешь, Алик, я в крайнем случае могу прочитать соответствующие материалы и даже написать текст доклада, но выходить с этим к народу мне бы как-то не хотелось.

— Понятно. Но традиция подобных докладов вовсе не предполагает совмещения составителя и выступающего в одном лице. Как правило, оратор

впервые знакомится с текстом своего доклада уже на трибуне, чем, повидимому, и объясняются многочисленные запинки, оговорки и даже полное незнание с некоторыми из зачитываемых слов. Если ты напишешь текст, то за умеренное вознаграждение, например, за банку сгущенки, я готов прочесть его перед публикой с листа.

Так и было сделано. В момент, когда полковник Акимов объявил, что доклад «О значении внеочередного XXI съезда КПСС» сделает курсант Жолковский, я получил от Юры тетрадку с одноименным текстом и, строевым шагом поднявшись на трибуну, честно отбарабанил написанное от начала до конца. После доклада была совместно разъедена банка сгущенки.

Помимо обязанностей историографа, библиотекаря и политического пропагандиста батальона, Юре, как нестроевому интеллектуалу, была поручена и роль редактора стенгазеты. Он любовно рисовал карикатуры, разоблачавшие нарушителей воинской дисциплины, а я сочинял к ним подписи, вроде:

Толстых не любит выбирать:

Увидит наволочку – хватать!

И мигом фазорвет в клочки

Себе на подворотнички.

Пусть будет строг наш приговор:

Толстых, ты – просто мелкий вор!

Особенно горд я был изысканной просодией 4-й строки. Со стороны Толстых я опасался агрес-

сивных действий, но ему, как видно, польстило попадание под лошадь — он то и дело подводил к газете приятелей.

У меня до сих пор сохранилась вырезка из полковой стенгазеты с заметкой на темы батальной жизни — первой нашей совместной публикацией. Вот ее текст:

Надо себя показать

... На-днях в комнату шестнадцати стажеров зашел командир части подполковник Дыбля.

— Что-то у вас стало много больных и увечных, — сказал он. — Начали распускаться.

Правильно. Пора уже подтянуться, пора привыкнуть к крепкому горьковскому морозцу. Ведь мы приехали сюда не болеть, а стажироваться на должность командира взвода. Мы должны не сидеть в своей комнате, а быть со взводом в поле, а после обеда находить время для подготовки к политзанятиям.

И еще кое-что. Хотя нас прислали сюда стажироваться на офицеров, это не значит, что нам нечему поучиться у солдат. Как говорится в нашей курсантской поговорке: «Солдатскую лямку не потянешь, хорошим офицером не станешь». И это надо как следует запомнить. Взять, например, заправку коек. Большинство курсантов из рук вон плохо заправляют койки. Этим товарищам не мешало бы подойти к солдатам, поучиться у них.

И тут мы вплотную подходим к большому разговору о культуре. Разве может научить солдат культуре тот офицер, который халатно, кое-как заправляет свою койку?

Денщиков у нас нет!

... Недавно мы все собрались в Ленинской комнате, чтобы поговорить о нашей стажировке. Разговор получился серьезный, взволнованный. Были и такие голоса: «А не придется ли нам слишком трудно? Все ли выдержат тяготы и лишения военной службы»? И тут кто-то очень к месту вспомнил слова полковника Дворкина:

— Студенты любят говорить, что в нужный момент они себя покажут. Я думаю, товарищи, что такой момент наступил. Надо себя показать.

Так и будет!

Стажеры А. Жолковский, Ю. Щеглов

Фамилии Дыбля и Дворкин — невымышленные, как того и требует документальный жанр. Заметка прошла как будто незамеченной. Но по возвращении на факультет за свое вольное поведение в лагере я поплатился выговором по комсомольской линии с занесением в личное дело. Накануне распределения это практически означало волчий билет. О выговоре постарались друзья-комсомольцы (ныне многие из них — отчаянные демократы). Как мне объяснили тогда же люди более трезвых взглядов, основным двигательным мотивом была зависть ко мне, москвичу с пропиской, комитетчиков из числа иногородних, кото-

рым угрожало распределение на периферию. (Одно дело — говорить о поднятии целины и подъеме национальных литератур, другое — прямо туда и уехать на работу.)

Папа и Юра

1. «Кому интересно, тому не скучно»

Познакомленные мной, они прониклись взаимной симпатией — до какой-то степени через мою голову и как бы вопреки мне.

Папа услышал о Юре, когда я вернулся с предварительного собрания своей будущей университетской группы (август 1954 г.). Я описал участников и рассказал, что на вопрос классной «агитаторши», как кто готовился к началу занятий, один студент, Юра Щеглов, ответил слегка ослабленным голосом, что «перечитал поэтов — Тютчева, Фета...». Всего полтора года спустя после смерти Сталина открытое признание в интересе к подобным авторам было поступком необычным, можно даже сказать, смелым, с налетом диссидентства, и ориентируясь на это и на иронически переданную мной Юрину домашне-мечтательную и уж совершенно не комсомольскую интонацию, папа, в тон мне повторив: «... Тютчева, Фета...», сказал, что Юра Щеглов, наверно, очень умный мальчик и мне следует с ним подружиться.

Так что нашей пожизненной связью мы отчасти обязаны папе.

Юра папу тоже оценил, и прежде всего как эталон Профессора. Когда для публикации первой научной работы ему потребовался отзыв, он обратился к папе. Статья шла в только что основанную серию структурно-типологических исследований Института славяноведения, и в соответствии с ренессансным духом эпохи отзыв мог быть и не от узкого специалиста. Папе статья понравилась, и он охотно написал положительный отзыв, но — с оглядкой на собственный литературоведческий непрофессионализм — аттестовал статью как «во многом блестящую».

Юные остряки, мы тут же подхватили эту аптекарскую формулу, стыдя и смеша папу, и она навсегда вошла в наш иронический словарь. Папа не ударил лицом в грязь и припомнил установочное высказывание завкафедрой марксизма-ленинизма Института военных дирижеров (где коротал годы изгнания из Московской консерватории за космополитизм, 1949-1954) о неудовлетворительности констатации им, профессором Мазелем, приоритета русской музыкальной науки в ряде вопросов: «Приоритет *в ряде вопросов* — не приоритет. Приоритет есть *приоритет*».

К папе Юра относился с подчеркнутым почтением, меня же любил прорабатывать, в частности за «неинтеллигентность». Какую-то роль в этом играл мой реальный облик, какую-то — общее Юрино недоверие к окружающим, но не последнюю, мне хочется думать, — очевидные риториче-

ческие выгоды образа неинтеллигентного отпрыска профессорской семьи.

Папа тоже был непрочь прибегнуть в спорах со мной к Юриной поддержке. Он любил сочинять поздравительные стишки, с не всегда удачными претензиями на блеск, вообще-то — в разговорах и устных новеллах — ему присущий. Когда я пренебрежительно отозвался об очередном таком опусе, папа апеллировал к Юре. Юра стихи одобрил.

— Да? А вот Аля считает, что они никуда не годятся. Как же так?

— Ну что ж, Лев Абрамович, нельзя отрицать, что стихи... м-м... так сказать... м-м... в традиционном стиле...

Эта формулировка была встречена общим смехом и в дальнейшем всеми троими взята на вооружение.

Сходную дипломатичность Юра продемонстрировал уже в 90-е годы, когда начальственный коллега спросил о впечатлении от его малооригинального доклада. Я наострил уши.

— Должен сказать, — с готовностью откликнулся Юра, — что согласен буквально с каждым вашим словом.

Кстати, оказавшись в связи с этой конференцией в Москве, Юра зашел повидаться с папой и принес черновик статьи, которую намеревался ему посвятить, на что испрашивал разрешения. Папа прочел, согласие дал, но о статье отозвался сдержанно. Юра был разочарован и

попросил меня уточнить папины впечатления, в частности, спросить, не скучна ли статья, и обратить внимание на сходство с его собственными работами.

Папа ответил, что сходство он заметил и оно было ему скорее неприятно. Что же касается скучности, то... нет, наверно, тому, кому это интересно, тому не скучно. Юра огорчился, но оценил горькую профессиональную мудрость обоих соображений. Статья, с посвящением *Льву Абрамовичу Мазелю*, вышла, и папа успел получить оттиск. А после папиной смерти (2000 г.) Юра написал мне, что на меня ложится долг сохранения памяти о нем. Вот — в меру интеллигентности — первые крупинцы.

2. «Что, ты не знаешь моего характера?»

Однажды в эвакуации, в Свердловске, когда мне было лет пять, папа должен был срочно уйти и оставить меня одного. Я не отпускал его, боясь грифона — четырехлапой нитяной фигурки, сплетенной в подарок ему кем-то из учениц. Страх держался на легендах, выдуманных, чтобы предохранить сувенир от моих посягательств. Не отменяя действия мифологем, папа тут же объяснил, как мне, в свою очередь, защититься от грифона — магической формулой: «Мы никого не боимся! Мы не боимся зверей!». Уже из-за двери он услышал, как я дрожащим голосом начал выводить: «Мы-ы-ы... нико-во-о... не бои-и-мся-а-а...». А вернувшись часа через два, застал меня лихо кувыркающимся на

кровати и дерзко скандирующим: «Мы! никого! не боимся!! Мы!! не боимся!! зверей!!!»

Это был лишь один из преподанных им уроков сопротивления ужасам силами искусства. В те же годы у меня страшно нарывал палец (средний ноготь на правой руке так и остался утолщенным); папа ночами сидел со мной, импровизируя бесконечную стихотворную сагу с вариациями на актуальные темы. Помню строчки: *Орел высоко в небо поднялся./ Вдруг видит: там висит большая колбаса.* «Колбасами» назывались аэростаты воздушного заграждения, и их игрушечная съедобность была тоже призвана на помощь.

В страхах папа понимал. В детстве, в «мирное время» до Первой мировой, на пляже в Сопоте (тогда — в Восточной Пруссии) бонна бросила его в воду, чтобы он научился плавать, хотя мама пообещала ему, что этого не будет. Он захлебнулся, на всю жизнь стал заикой, а, главное, навсегда сохранил болезненное доверие/недоверие к слову, обещанию, договору, порядку, власти.

Дальнейшая жизнь и особенно власть не подвели. К тридцати пяти годам он уже пережил мировую войну, революцию, гражданскую войну, частичную потерю слуха (отосклероз), препоны для непролетарского элемента при поступлении в вуз, аресты друзей и родственников (некоторых — в его присутствии), еврейский ужас перед приходом немцев, гибель любимого брата в ополчении под Москвой, хаос эвакуации (его тогдашние письма к маме дышат готовностью к смерти). Сверд-

ловск был еще сравнительно тихой гаванью. Предстояли кампании против формализма и космополитизма, изгнание из Консерватории и дальнейшие «госстрахи», превратившие его в сорок с небольшим в ипохондрика, боявшегося сквозняков и лишней десятой на градуснике, хотя я еще помню его в первые послевоенные годы любителем далеких лесных прогулок в белых парусиновых туфлях и рубашке апаш.

Через все эти революции он, как говорится у Зощенко, сохранился. Окончил два вуза, стал, несмотря на заикание и глухоту, блестящим лектором и знаменитым музыковедом (у него или по нему практически «все» учились), не покаялся во время ждановских проработок, прожил, несмотря на тонны принятых лекарств, до 93-х лет и все это время оставался для окружающих воплощением юмора, житейской мудрости и профессиональной этики. Секрет? Четкая до маниакальности дисциплина: пунктуальность (папа родился, как и Кант, в Кенигсберге, и по нему тоже можно было проверять часы), организованность, корректность, соблюдение всех возможных правил — как разумных, так и просто действительных (это уже Гегель), инструкций, постановлений и предписаний врачей (включая ежедневную зарядку). Обратная сторона: требование пунктуальности и буквального выполнения обещаний от других и страх, страх, страх — боязнь малейших отклонений от порядка, будь то спущенного сверху или установленного им самим. Отчитывая зависевших от него

людей, в частности, меня, за нарушение слова, он страдал не меньше их, ибо вымещая на них первичную травму, нанесенную матерью и щедро подкрепленную советской властью, тоже слабо державшей обещания, он отчаянно пытался вернуть слову надежность. Значительная часть комплекса по эстафете передалась мне.

Так что все это было до боли знакомо, когда занявшись Зощенко, я обнаружил у него во многом те же страхи и те же рецепты. Я сказал папе, что пишу Зощенко с него. Помню, как он узнающе кивал, читая воспоминания вдовы о предсмертных страхах Зощенко по поводу оформления пенсии и его коронном аргументе: «Что, ты не знаешь моего характера? Разве я смогу быть спокоен, пока не выясню все?».

Когда моя книга о Зощенко вышла, я подарил ее папе с посвящением, в котором благодарил за многое и среди прочего за работу натурщиком. Книга ему понравилась, а надпись нет. Выяснилось это через год. В мой очередной приезд в Москву папа, сказав, что у него ко мне серьезная просьба, попросил выделить ему другой экземпляр и сделать на нем, не помню точно его слов, но в общем, нормальную, приличную надпись. Кажется, он аргументировал это желанием показывать книгу знакомым. Я пытался возражать, но увидев, что он серьезно задет, уступил — написал что-то обтекаемое.

Его настояние на изготовлении обезличенного, формально корректного документа даже в та-

ком интимном деле поразило меня. Диспропорция была такая же, как когда однажды по телефону через океан он сказал мне, что есть крупная неприятность. Я встревожился. Оказалось, Б. Сарнов в интервью «Известиям» пожаловался на мое ахматоборчество. Я успокоил папу, что с работы меня за это не снимут, и попросил впредь не называть крупными неприятностями ничего, кроме ухудшений его здоровья.

Приучившись с некоторых пор примерять все к себе, я, конечно, понимаю, что фигурировать в качестве оригинала не очень лестного портрета может быть неприятно. Когда Юра Щеглов двадцатью годами раньше работал над своим описанием Зощенко, он дал понять, что такую черту зощенковского персонажа, как «неспособность ответить на культурный вызов», он знает по мне. Я огорчился, но предпочел принять это как полезную критику. Юра, со своей стороны, не посыпал мне соль на раны в своих посвящениях, и никакой травмы вроде не образовалось.

Но что если это лишь защитный рефлекс, а на самом деле вся моя работа над реинтерпретацией Зощенко — заменой культурологического прочтения экзистенциальным, сфокусированным на страхах, — диктовалась ничем иным, как подспудным желанием избавиться от травмы, переведя разговор с себя на папу?!

ПАПИНЫ МАЙСЫ

Своей любовью к виньеткам я тоже обязан папе, который был мастером устных новелл. Лучше всего они воспринимаются в записи на звуковую и видеопленку, но во многом сохраняются и в письменной передаче. По памяти приведу некоторые из них.

1. Материя и энергия

В детстве у папы была теория, что чай становится сладким не от сахара, а от помешивания ложечкой.

- Зачем же тогда кладут сахар?
- Чтобы знать, когда хватит мешать.

2. Естественный отбор

Папа отказывается принимать касторку. Его легендарная бабушка настаивает. Будущий профессор пускается на интеллектуальный блеф:

- Мы в гимназии проходим про древних греков. Они создали великую культуру, хотя не знали никакой касторки,
- Древние греки не принимали касторки? Так они-таки все умерли!

3. Separate but equal

Бабушке сообщают, что такой-то умер. Она просит уточнить:

- А гой дер а ид?

— А гой.

— А гой?! Тозе залке.

4. «Пропала юбке!»

Бабушкина служанка — простая девушка из провинции. Языковой барьер между ними обостряет вековую подозрительность хозяйки к работнице и еврейки к шиксе.

На тревожный вопрос бабушки, где та или иная вещь, например, юбка, служанка часто отвечает: «Убрата». Бабушку, незнакомую с диалектальными тонкостями русской морфологии, это приводит в панику.

— Пропала юбке! Все винесут! Я спрашиваю, где юбке, она говорит, у брата. Она все уносит к брату! Пропала юбке!! Все винесут!!!

Бабушка ходит по квартире, причитая: «Пропала юбке... Пропала юбке... Все винесут...» Потом пауза, и откуда-то из спальни доносится виноватое: «А!... Узе есть».

5. Наша лучшенькая

Под конец жизни один из папиных старейших родственников (кажется, дядя Гуго) решил изучить и сравнить важнейшие мировые религии. Когда исследование было закончено, его спросили, какая же оказалась самой лучшей.

— Самая разумная, самая благородная — буддийская. После иудейской.

6. Дядя честных правил

Тот же дядя владел универсальным средством от желудочно-кишечных заболеваний.

— Если запор, надо больше есть, — чтобы пронесло. А если понос, надо больше есть, — чтобы завалило.

7. Хэппи эндшпиль

В семье Урысонов, папиных родственников по матери, шахматы культивировались. А среди собственных был даже знаменитый шахматист (чуть ли не чемпион Германии) Бениамин Блюменфельд [1884-1947; http://chess.ufanet.ru/history/his_foto.htm], по семейному прозвищу «Бомба». Он, кстати, одним из первых стал изучать психологию шахматной борьбы, и в 1945 году защитил на эту тему кандидатскую диссертацию. Урысоны вообще знали себе цену и не выходили за кого попало: когда один из них захотел вступить в брак с кем-то из семейства Моносоновых, родительское согласие было получено не сразу, а лишь после того, как была выработана снисходительная формула «Моносзон — это почти, как Урысон».

Сам папа (Л. А. Мазель, продукт еще одного мезальянса) играл для любителя очень хорошо — в силу первого разряда. Он мог играть без доски и давал сеансы одновременной игры вслепую мне и моим дворовым сверстникам. Проблемы возникали у него только с Кириллом Двукраевым, кото-

рый вскоре и сам получил первый разряд (а потом поступил на философский факультет МГУ, помещался на глубинах диамата, спился, приходил одалживать трешку, завербовался на целину и там погиб). Любил папа и шахматные задачи. Когда я показал ему одну из задач Набокова, он решил ее с первого взгляда и удивился, что она составляла предмет авторской гордости.

Он очень любил рассказывать истории из мира шахмат, смакуя перипетии происшедших на его веку поединков между Ласкером, Алехиным, Капабланкой, Эйве, Ботвинником. А я помню, как в начале 50-х он ходил в Зал Чайковского на какую-то из игр матча Бронштейна с Ботвинником, бесменным тогда чемпионом мира. Папа отдавал должное совершенствам Ботвинника, как и он, доктора наук, до зубов вооруженного теорией, но его — да и многих, в том числе меня, — волновал вызов, вновь и вновь бросаемый воплощению советского шахматного истеблишмента хрупким, неровным, непредсказуемым Бронштейном. Папа пришел возбужденный тем, как Бронштейн, потеряв фигуру и неясно на что надеясь, продолжал защищаться с такой неистовой изобретательностью, что Ботвинник, видимо, ошарашенный его дерзостью, в конце концов согласился на ничью. Впечатление, сказал папа, было сюрреальное на грани провокации, как будто Бронштейн, держась за потолок, опровергал все законы природы и общества. Как сказал бы Саша Осповат, — «типичный залп по Кремлю». Но Кремль еще стоял прочно:

матч кончился вничью, а по условиям ФИДЕ в таком случае чемпион сохранял корону.

Так или иначе, когда лет сорок спустя, уже после перестройки, один мой знакомый — кандидат технических наук, но с разносторонними культурными интересами (то, что по-английски называется *culture vulture*, «культурный стервятник»), — предложил мне лишний билет на престижную шахматную встречу (Карпов? Каспаров?), я сразу подумал о папе: для него это могло бы оказаться хорошим антидепрессантом. Приятеля, ценившего папины работы, моя идея тоже вдохновила: «Пойти на шахматы с Мазелем!!». Не вдохновила она только папу. Как я его ни уговаривал, он сказал, что времена, когда он куда-то ходил, давно прошли. Приятель огорчился, снова пригласил меня, я снова отказался и вскоре забыл об этой истории.

Но она имела завершение. В очередном разговоре приятель сказал:

— Да-а, зря ты тогда не пошел. Отличная компания подобралась, на уровне докторов наук: доктор физ.-мат. наук такой-то, доктор технических наук такой-то, доктор биологических наук такой-то — и я. Жаль, Мазеля не было...

Реплика, в сущности, гоголевская («Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я...»), но — чистая правда, взята, как говорится у Зощенко, с источника жизни.

8. Рамочная конструкция

Когда по какому-нибудь политическому поводу говорили, что такое не может долго продолжаться, папа вспоминал, как в 1918 году его одноклассница (им было по одиннадцать лет), случайно встреченная на трамвайной остановке, бросила ему с подножки:

— Ну, долго же такое продолжаться не может!

Он также любил цитировать Шостаковича, в аналогичных случаях говорившего:

— Были же Средние века. Понимаете? ВЕ-КА!

Тем не менее, папы, родившегося за 10 лет до советской власти, достало на то, чтобы прожить столько же и после нее. Он любил симметрию. Ну и, как известно, в России надо жить долго.

Шостакович (1906-1975), наоборот, на десяток с лишним лет не дотянул. В математическом смысле это тоже симметрия, но не зеркальная, а какая-то похуже, кажется, продольная.

9. Аргумент

Начало 20-х годов. НЭП. За завтраком папа, юный интеллектуал, убеждает дядю в перспективности социализма. Исчерпав логические доводы, дядя, человек с раньшего времени, разводит руками, окидывает глазами стол и говорит:

— Лёля! Ты же хочешь, чтобы продукты были свежие?!

10. Как сделана Россия

В 30-е годы папа путешествовал на пароходе по Волге. Среди пассажиров были американские туристы. Папа по-английски говорил, но с неважным произношением. (В совершенстве он с детства знал немецкий.) К концу круиза одна американка поделилась с ним своими впечатлениями:

— *Russia is badly done* (букв. «Россия плохо сделана»), — сказала она.

Папа, знаменитый своими имитационными «показами», передавал это низким, подчеркнуто мужским голосом, отдельно выговаривая каждый слог. При этом в борьбе с чуждой фонетикой его рот оказывался как бы забит огромными американскими зубами. Вердикт звучал отталкивающе, но обжалованию не подлежаще.

11. Талон на место у колонн

Папа рассказывал, что Шостакович имел обыкновение приезжать на вокзал сильно заранее, чтобы, как только подадут состав, войти в вагон, занять свое место, постелить постель, раздеться и лечь под одеяло.

— Зачем?

— Затем, что если окажется, что на это место продали два билета, и придет другой пассажир, то место останется за Шостаковичем как за уже лежащим.

На недоумения типа: он же Шостакович, лауреат, депутат и т. п., так что место ему уж как-ни-

будь обеспечено, папа отвечал другой историей про Шостаковича и билеты.

В 30-е годы его даме вдруг захотелось пойти в театр, мимо которого они проходили. В кассе билетов не оказалось. Шостакович готов был ретироваться, но дамочка продолжала напирать: он знаменитость, его все знают, стоит ему назвать себя, как билеты найдутся. Он долго отнекивался, но, в конце концов, сдался и обратился в окошечко администратора с сообщением, что он Шостакович. В ответ он услышал:

— Ви себе Состаковиц, я себе Рабиновиц, ви меня не знаете, я вас не знаю...

12. Конец поношению

Валентина Иосифовна (Джозефовна) Конен, в свое время папина ученица, была замужем за известным физиком Евгением Львовичем Фейнбергом (кстати, братом пушкиниста И. Л. Фейнберга). Папа очень дружил с ними. Когда он приходил к ним в гости, Фейнберг, давая папе и В. И. наговориться на профессиональные темы, присоединялся к ним не сразу. Выждав полчаса-час, он, наконец, выходил из кабинета со словами:

— Ну как, поношение С-ва уже закончилось?
(С-в был консерваторский завкафедрой.)

13. Тема с модуляциями

Любимым отрицательным героем папиных консерваторских новелл был В. О. Б-в. Судя по всему,

он был бездарный, но сравнительно невредный зануда, и я не мог понять, чем он так занимал папу.

Один рассказ — и показ — был о том, как Б-в садится на трамвай (троллейбус). Папа изображал, как Б-в сосредоточенно вступает на подножку, целеустремленно протискивается к кондуктору, внимательно отсчитывает деньги, зорко нацеливается на билет и сдачу. Вокруг тем временем течет трамвайная жизнь: кому-то уступают или не уступают место, кто-то продвигается вперед, толкая Б-ва локтями, кто-то пытается передать через него деньги, кто-то спрашивает, сойдет ли он на следующей... Но Б-в ни на что не отвлекается — Б-в занят. Б-в полностью поглощен покупкой билета. На это время он умирает для мира и мир умирает для него, радостно подытоживал папа.

Еще забавнее была новелла о приобретении Б-вым билета на поезд в Иваново, и в ней тоже слышалась нотка личной заинтересованности. Папа живо изображал, как, отстояв очередь и сунув голову в окошечко кассы, Б-в представляется в качестве члена Союза композиторов и сообщает, что едет в Дом творчества композиторов под Ивановом, для чего ему и нужен билет в Иваново. Едет он не отдыхать — это не дом отдыха, а Дом *творчества*, — он едет работать. Работа у него важная: пишет он не о чем-нибудь, а о музыке советских композиторов.

Продолжая нагнетать нудную симметрию периодов, папа переходил к параметрам покупаемого билета. Вагон требовался купейный, поскольку

Б-ву нужно было прибыть в Дом творчества не усталым, а готовым к работе; полка должна была быть нижняя, так как Б-в по возрасту и состоянию здоровья не мог карабкаться на верхнюю, и врачи рекомендовали ему нижнюю; наконец, место он просил — тут в папином голосе звенела особенно счастливая ирония, — по ходу поезда, ибо заснуть против движения он не мог, а выспаться перед ответственной работой ему было необходимо.

Почему кульминационное *forte* приходилось именно на требование места по ходу поезда, слушатели не всегда понимали. В ответ на их вопрос, — а если он не поступал, то по собственной инициативе, — папа с удовольствием пояснял, что на полдороге к Иванову, в Александрове, железнодорожные пути были устроены так, что паровоз отцепляли и прицепляли другой, с противоположного конца состава; в результате, места по ходу движения становились местами против движения. Таким образом, на торжествующе музыкально-ведческой ноте *con brio* заканчивал папа, билет Б-ву требовался модулирующий (закономерно меняющий тональность).

Повествовательные достоинства новеллы и актерские эффекты показа были несомненны, но не исчерпывали для меня причин папиного пристрастия к этому сюжету. И вдруг однажды, когда папа в другой связи упомянул о психологических преимуществах мест по ходу поезда (кажется, возможность смотреть вперед как-то способствовала безопасности), я понял. Б-в, при всей своей научной

и человеческой серости, был папиным подсознательным alter ego. На нем вымещались собственные страхи и унижения, собственные сомнения в ценности избранной профессии и собственные занудные предосторожности, — феномен, знакомый мне как литературоведу вообще (Лермонтов и Печорин, Флобер и мадам Бовари, Зощенко и его персонаж) и автору разбора папиной новеллы «Ессентуки-1952» в частности (умный профессор и запуганный портной).

Насчет Б-ва папа согласился легко и весело, насчет портного — с оговорками, а признание, что зощенковское недоверие я писал с него, воспринял скорее болезненно, хотя по существу и не спорил.

14. Нам внятно все

Изгнанный из Московской консерватории за «космополитизм», папа профессорствовал в Институте Военных Дирижеров. Институт был в ведении Министерства обороны (а не высшего образования), и его волевой начальник, генерал Иван Васильевич Петров, воспользовался случаем украсить свой штат отборной группой лиц еврейской национальности. (В те же годы в нашей средней школе No.50 историю преподавал некий Зиновий Михайлович, по прозвищу, естественно, Зяма, — доктор наук, уволенный из Института Государства и Права и таким образом на собственном опыте испытывавший взаимодействие этих юридических категорий.) Менее удачливые изгои были трудоустроены в провинциальных консерваториях, куда

выезжали на преподавательские гастроли без отрыва от московской прописки. Но речь пойдет не столько об этих малой и средней диаспорах, сколько о встречной миграции монголов.

Монголия, утратившая со времен Чингисхана доминантное положение среди стран соцлагеря, не была, однако, освобождена от внесения в его коллективную боевую мощь своей скромной лепты, и ее вооруженные силы нуждались в музыкальном обеспечении. Посредничество между Западом и Востоком, волновавшее еще Киплинга и Блока, выпало на долю консерваторских беженцев. Взаимопонимание было затруднено культурными и языковыми барьерами, но наступало.

... — В последние годы жизни Бетховен оглох, ушел в себя, был одинок...

Монгольская группа выслушивает эту печальную повесть в недоуменном молчании. Возможно, потеря слуха не кажется им экзистенциальной катастрофой.

— Он оглох, — повторяет профессор, — ушел в себя, у него осталось мало друзей, не было любящей женщины, он был очень одинок...

Все напряженно молчат, но вдруг лицо одного из слушателей озаряется улыбкой узнавания — он нащупал логическую цепочку, понятную любому кочевнику.

— Одинокий — одиногий — один нога! Один нога — никто любить не будет!!

В другой раз излагается сюжет «Кармен» и тоже падает, как в вату. Добросовестное внима-

ние слушателей держится на исходной настороженной ноте, не только не получая финального разрешения, но, повидимому, не вовлекаясь и в завязку. Драма любви, ревности и смерти почему-то не берет монголов за живое. Но вот наступает просветление:

— Товарищ профессор! Я понял!! Он был женщина!!!

В монгольском языке категория рода отсутствует не только у глаголов, как, скажем, в английском, но и у личных местоимений; «он» и «она» — одно и то же слово. Поэтому интеллектуальный прорыв неизвестного номада не уступает будущим западным прозрениям в области гендера. (Сегодняшнего американского первокурсника не поставил бы в тупик и Кармен-мужчина. Впрочем, по линии эротического дальтонизма монгольские духовики оказываются в почетной компании Льва Толстого, вычеркнувшего из своего массового издания чеховской «Душечки» нежные прикосновения к героине мужчин, но не женщин.)

Темнота монгольских студентов была предметом шуток и на филфаке МГУ, где я учился несколькими годами позже. Но в начале 90-х, разговорившись в самолете с соседом — американским геологом, летевшим в командировку на Восток, я услышал, что в его опыте монголы своей динамичной организованностью дадут русским сто очков вперед, так что феномен Чингисхана не представляется ему загадочным. Загадочным остается феномен русской души и партийной диктатуры, не-

устанно занятой отбором кадров, но не застрахованной от отдельных срывов.

15. Вам хватит

В 20-е годы, когда папа преподавал на рабфаке, один бойкий слушатель решил опровергнуть какое-то положение его лекции с помощью марксизма.

— Знаете ли вы, профессор, что по этому поводу сказал Энгельс в своей надгробной речи на могиле Маркса?

Он привел цитату. Папа парировал:

— Да, но знаете ли вы, что возразил на это Маркс в своей ответной речи на могиле Энгельса?!..

Приручающий смерть кладбищенский юмор был его любимым орудием. У него всегда были наготове соответствующие еврейские анекдоты.

«Ви слышали, Рабинович умер? — Ай, умэх-шму-мэх, главное это здоховье!»

«Вы слышали, Рабинович умер? — То-то я смотрю его хоронят!»

«Рабинович, вас хоронят, а вы, оказывается, живы?! — Ай, кого это интэхэсно?!»

Смерть подразумевалась не только Маркса, Энгельса и Рабиновича, но, прежде всего, собственная.

В 60 лет он по давнему замыслу вышел на пенсию, чтобы написать намеченные книги, к 80-ти все написал и издал и считал жизненный план выполненным. Удивлялся своему долгожительству. Смаковал сигналы приближающегося конца.

Он с удовольствием рассказывал, как однажды сломался унитаз, слесарь явился навеселе, что-то

починил, но с бачком велел обращаться осторожно — спиной не опираться. Папа забеспокоился и спросил, не надо ли заменить и бачок.

— Да не, ничего, — сказал слесарь, покачиваясь на пути к выходу, — он еще п-постоит.

— Сколько постоит? — забеспокоился любящий точность папа. — Год? Месяц? Неделю?

Слесарь качнулся в обратную сторону, мутно поглядел на папу и махнул рукой:

— В-вам хватит...

Когда пришлось сменить домработницу, мы устроили смотр нескольким кандидаткам. Объясняя условия, папа каждый раз как бы между прочим добавлял:

— Ну, работа, вы видите, временная...

Даже если жизнь ему улыбалась, он не забывал оговорить пределы своего оптимизма.

В 1984-м году он приехал в Париж повидаться со мной — тайно от советской власти, по частному приглашению французских знакомых. Несмотря на сильную дозу подсоветской паранойи, он был бодр, и мы целый месяц весело катались по Франции. Но на вопрос, куда в следующий раз, может, в Германию (страну, где он бывал в детстве и на языке которой говорил свободно), он сказал, спасибо, хватит. Увидеть Париж и умереть.

Перестройка вернула ему интерес к жизни, но опять-таки в четко очерченных масштабах.

— Теперь мне надо дожить до приватизации квартиры и передать ее тебе, а там и помереть можно.

В 1996-м, во время президентских выборов, он оба раза (было два тура) потребовал отвести себя на избирательный участок, с огромным трудом поднялся по лестнице, но за Ельцина проголосовал. Я говорил, что ему принесли бы урну на дом. «Нет, — с живительным недоверием сказал он, — это то, с чем мы боремся. Неизвестно, куда они потом денут бюллетень».

Выполнив долг передо мной и историей, он стал заговаривать о смерти регулярно и без страха — в сократовском ключе.

— Смерти я не боюсь. Я боюсь боли, больницы, беспомощности. Моя мечта — умереть при тебе. Приедешь и заодно похоронишь. Не придется срочно хлопотать о визе.

Когда у него разболелись зубы, он отказался их лечить. Вырвать и все. Мне хватит.

Разговоры о смерти учащались. Во время его последней болезни я стал из Лос-Анджелеса возможно расспрашивать его, организовывать анализы, врачей, больницу. Он сказал:

— Аля, чего ты так волнуешься? В шестьдесят три года ты вполне можешь остаться сиротой.

Что можно возразить на эту загробную в сущности речь?

Belle lettre

В середине 50-х годов в Москве гастролировал парижский театр Marie Belle. Он назывался так по имени ведущей актрисы и, насколько я понял,

хозяйки всей антрепризы. Мари Белль была уже не молода и, вопреки своей фамилии (псевдониму?), скорее некрасива, что, разумеется, не мешало ей с успехом играть заглавную роль в расиновской «Федре». До сих пор у меня на слуху ее растерянноревнивые вопросительные интонации в монологе из IV действия: *«Comment se sont-ils vus?...»* («Где виделись они?...»).

Я учился на филфаке и уже прилично понимал по-французски. В частности, я знал не только, что буква *h* не произносится, но и что есть два типа *h*: обычное и аспирированное. Разница в том, что *h aspiré* не вступает в *liaison* — не позволяет следующему за ним гласному склеиться с предыдущим словом. Например, обычное *h* в *la + herbe*, «трава», дает *l'herbe* [лерб], а *la + haine*, «ненависть», с аспирированным *h*, так и произносится [ля эн] (а не *l'haine* [лен]). Иными словами, *h aspiré* это маркированный ноль, который не просто отсутствует, а блистает своим отсутствием. Но и блистая, все же остается нулем, не более того.

Каково же было мое потрясение, когда со сцены в зал понеслись оглушающие в своей гортанной немоте придыхательные шипы! Театральная дикция, тем более в классическом репертуаре, сохраняет архаическое произношение. Особенно уместными эти придыхания казались в устах Федры, на все лады — в соответствии со своей трагической коллизией и с принципиальной бедностью и, значит, повторяемостью расиновского словаря — склонявшей «ненависть».

Заглянул во французский текст «Федры». Существительное *haine* и глагол *haïr* встречаются 23 раза: 7 раз в I действии, 10 — во II, 1 — в III, 3 — в IV, 2 — в V. Их употребляют все основные персонажи, чаще других — сама Федра (9 раз), причем четырежды в одном монологе и дважды в одной строке; на втором месте Ипполит (4 раза). Помимо *haine/haïr*, с *h aspiré* начинается слово *honte*, «стыд», тоже одно из актуальных и потому частых в «Федре».

Впоследствии, занявшись сомали, я сначала узнал из книг, а затем и услышал вживе в речи носителей, сколь богат может быть спектр заднеязычных, увулярных, гортанных и ларингальных согласных — от нулевых и еле слышных до взрывчато хрипящих; в конце концов, я даже научился кое-как произносить («противопоставлять») их. Но свистящее, как кнут, *h aspiré* навсегда связалось у меня с Мари Бель.

Выбранные места из переписки

с Хемингуэем

Это было давно, более сорока лет назад. Летом 1957 года в Москве должен был состояться Международный фестиваль молодежи и студентов. Подготовка к этой операции по контролируемому приподнятию железного занавеса, первой после смерти Сталина, началась задолго. Меня, третьекурсника филфака МГУ, она коснулась двояким, нет, трояким образом.

С одной стороны, факультетские инстанции рекомендовали меня к участию в фестивале в составе некой дискуссионной группы по западной литературе. Первым же поручением, возложенным на меня в этой роли, было написание письма Хемингуэю. Совершилось это так. В перерыве между занятиями ко мне подошел Дима Урнов, тогда студент 4-го курса, в дальнейшем — потомственный советский литературовед-зарубежник, во времена перестройки — главный редактор «Воплей», ныне, кажется, трудящийся Среднего Запада и во все периоды своей жизни — жизнелюб и лошадиник. С широкой улыбкой человека, привыкшего быть на коне, Дима сказал: «Почему бы тебе не написать старику Хэму, которым ты занимаешься?»

Хемингуэй незадолго перед этим стал лауреатом Нобелевской премии (1954), но до его массового культа в кругах советской интеллигенции было еще далеко. «Старик и море» (1952) был опубликован по-русски более или менее сразу (1955), но «Колокол» (1940), по слухам давно переведенный, оставался под спудом, как говорили — по требованию Долорес Ибаррури, «Пасионарии», которая, в отличие от Сталина, была жива. («Колокол» вышел в России лишь в 1968 г., с той же константной задержкой в три десятилетия, что «Жизнь Арсеньева», «Мастер и Маргарита», «Лолита», «Доктор Живаго»...) Таким образом, Хемингуэй являл сложную фигуру автора «спорного», но не «реакционного», и его присутствие на между-

народном все-таки фестивале было сочтено желательным.

Тем, что в знакомстве с его творчеством я немного опередил широкую общественность, я был обязан маме. Убедившись в бесполезности своих настояний, чтобы сын выбрал какую-нибудь положительную, то есть техническую, специальность, она решила посылить способствовать его успехам на ненадежном гуманитарном поприще и, среди прочего, записала меня в Отдел абонементов Библиотеки иностранной литературы на Петровских линиях. Она же посоветовала, какую английскую книгу взять первой: «Farewell to Arms» («Прощай, оружие!») — одну из тех, которые ее поколение знало по переводным изданиям 30-х годов.

Так начался мой роман с Хемингуэем. В дальнейшем, уже студентом английской группы романо-германского отделения филфака, я прочел все, что мог, из опубликованного к тому моменту. Несколько пингвиновских пейпербэков мне привез наш сокурсник исландец Арни Бергманн (в обмен я купил ему у спекулянтов зеленые томики мало доступного тогда Есенина). Я стал читать американские хемингуэеведческие исследования (Филиппа Янга и Карлоса Бейкера), упражняться в пародировании стиля любимого автора и, поощряемый нашим молодым зарубежником А. Федоровым («маленьким», прозванным так в отличие от «большого Федорова» — латиниста), сделал доклад о поэтике Хемингуэя на Научном студенческом обществе.

Скорее всего, поэтому, когда встал вопрос о приглашении великого американца на фестиваль, в качестве связного всплыла моя кандидатура, и я, возбужденный внезапно распахнувшимися горизонтами, для порядка немного поломавшись, принялся за составление текста. Что я там написал, не помню, — видимо, рецептурно вполне выверенную смесь личных читательских восторгов с обще-молодежной политической сознательностью, ибо письмо у меня взяли, одобрили и отправили. Впрочем, что именно они отправили, мне было знать не дано.

В ожидании ответа, по хемингуэевской линии развивалась оживленная деятельность. У «Папы Хэма» оказалось немало любителей, и не только с нашего факультета. Помню одного, Сашу П., с которым мы некоторое время общались в рамках литературной группы, заседания которой проходили в круглой аудитории на третьем этаже филфака на Моховой. П. был миниатюрным брюнетом; его вдохновенно вскинутое лицо с выпуклыми, широко расставленными глазами, большим лбом и коротким горбатым носиком обрамлялось изысканно небрежной прической; ходил он, как я теперь понимаю, в туфлях с утолщенными каблучками, в длинном расстегнутом черном пальто с длинным шарфом *à la Aristide Bruant* Тулуз-Лотрека.

Мы обменялись «работами» о Хэме. Помню, что в своем тексте он с гордостью обратил мое внимание на заглавия разделов, которые любовно назы-

вал «бегунками». Это были новаторские по тому оттепельному времени заголовки, в броском телетайпном стиле, обильно уснащенные многоточиями и смело помещенные не по центру, а впритык к левому краю, типа: «Папа Хэм едет в Африку...», «Испания: И солнце встает...», «Прощай, коррида!!..» и т. д. В общем, бегунки. (Страшно представить, что он помнит обо мне.)

Но это все с одной стороны. С другой же (а если вдуматься — с той же самой), ко мне на факультете стал подходить и загадочно со мной заговаривать некий, как он отрекомендовался, «товарищ Василий». Его рыхлая большая фигура и вульгарная физиономия до сих пор у меня перед глазами. Он долго таинственно морочил мне голову, но, в конце концов, *to make a long story short*, привел меня на Лубянку, где он и его более энергичный, поджарый, невысокий, с походкой самбиста старший по званию коллега, представившийся по имени-отчеству, стали уговаривать меня сдать одну комнату моей квартиры их человеку, чтобы тот во время фестиваля устраивал там непринужденные международные попойки, в ходе которых мы с ним выявляли бы происки иностранных разведок против нашей страны, мира, демократии и социализма.

Самый трогательный момент (видимо, разработанный каким-то их засекреченным сценаристом) наступил, когда они предложили мне начертить план моей квартиры, с тем чтобы мы вместе пораскинули, какую именно комнату нам лучше всего от-

вести под это дело. Я отвечал, что в черчении плана нет никакой необходимости, поскольку как мне, так, скорее всего, и им — реверанс в сторону их мистического всезнания — он хорошо известен, а сдача какой бы то ни было комнаты не может состояться ввиду моей психологической, нервно-интеллигентской непригодности для такого рода международных акций, требующих специального тренинга. В конце концов, после нескольких часов напряженных переговоров, завершившихся дачей подписки об их неразглашении, я был отпущен, причем раз и навсегда, ибо никакой вербовке в дальнейшем уже не подвергался.

Имелась и третья сторона. Шло освоение целины, и все, кто не был мобилизован для участия в фестивале, подлежали отправке в дикую степь. Этим отчасти объяснялась та готовность, с которой я вступил в переписку с Хемингуэем и посещал занятия дискуссионной группы. Но общение с нескладным товарищем Василием и его дружинистым начальником окончательно лишило фестиваль какого-либо флера в моих глазах. В целинном комитете я числился по фестивалю, в фестивальном же заявил, что по личным причинам должен буду уехать. Поскольку участие в фестивале было не обязанностью, а привилегией, в моих словах не подумали усомниться. Меня охотно вычеркнули, и я уехал отдыхать в Пицунду.

Это было так давно, что Пицунда представляла собой совершенно тихое деревенское захолустье, которое только еще начинали превращать в ку-

рортный центр и огораживать под будущие дачи ЦК. Отдыхающих, исключительно «диких», насчитывалось не более трех десятков. В знаменитой реликтовой роще сильно воняло, ибо туда запросто ходили с прилегающего пляжа как по малой, так и по большой нужде. Зато вода была так прозрачна, что уроненные кем-то часы были видны на глубине шесть метров; местный грузин-спасатель нырнул и достал их.

За фестивалем я следил по газетам. Из них явствовало, что и моего корреспондента на нем не было. Кажется, он тоже предпочел провести время на юге, в его случае — на Кубе, откуда его еще не выкурил Кастро. Это было действительно очень давно, при Пасионарии, до Фиделя.

Зарубежка-57

Когда мы учились в Университете, кафедра зарубежных литератур являла на редкость убогую картину. Преподавали там большей частью какие-то увечные — хромые или безногие. Можно было подумать, что где-то в высших административных сферах эта кафедра была сочтена подходящим местом призрения для инвалидов, вроде артелей, выпускающих чемоданы. (Даже фамилии преподавателей, да простит меня Бог, наводили на мысль о неполноценности: Неу...ев, Недо...ин). Что же касается научной стороны, то дело было совсем плохо. Мы долго пытались определить для себя, к какому методу относится их литературоведение:

социологическому? — нет! марксистскому? — тоже нет! Лучше всего, наверно, было бы сказать, что к анкетному, потому что о каждом западном писателе говорилось примерно так, как если бы он пришел за характеристикой для поездки за границу. Потом нам пришлось убедиться, что самое существенное в их работах — это что их не берут в букинистических магазинах.

Непочтительному отношению ко всей этой лавочке первым научил нас NN.

— Кто у вас читает зарубежную литературу? Имярек? Плохо читает? Ну что ж, серый человек, языков не знает, — сказал он.

— Почему, — сказали мы, — он ходит в Иностранную Библиотеку.

— Ну, что он там читает — «Юманите»?!

Под впечатлением от этих слов мы, всегда, когда видели Имярека в Иностранке, переглядывались, мол, «Юманите» пришел читать, а когда видели его на улице, то тоже понимали, что либо идет читать «Юманите», либо уже почитал и теперь идет пересказывать студентам.

Письма русского путешественника

Конец 50-х годов. Младший брат моей университетской знакомой получает письмо от одноклассника, забранного в армию. Тот служит в Германии и пишет обо всем понемногу, но главным образом, конечно, о сексе. «Понимаешь, — жалуется он, — здесь чувую не отличишь от простой».

Кажется, слова *чувак*, *чувиха*, *чувой* в переводе пока не нуждаются. А сорок лет назад они были новыми, недавно пришедшими из жаргона джазистов («лабухов»); что же касается слова *простой*, то в этом специальном значении («не-чувой») оно вообще встретилося мне единственный раз в жизни.

Так или иначе, более внятного описания современной культуры как снимающей оппозицию high/low я не знаю. Может быть, фокус в том, что благодаря взгляду из немой России символом престижа оказываются цивильные шмотки, а знаком высоколобого дискурса — прибалтненна лексика.

На словесном фронте

Одной из самых колоритных фигур на нашем курсе был Яша П. Он пришел на факультет немолодым человеком, после армии, успев, по его рассказам, повоевать с японцами. У него было типичное солдатское, по-бабьи морщинистое лицо, с выцветшими голубыми глазами и чубом серовато-пшеничных волос. Как будто ничто в нем не располагало к занятиям филологией; эталоном словесного изящества ему казалось обращение: «Привет телевизорщикам!», почерпнутое из какого-то фильма. Но бывшим военнотружущим предоставлялись льготы при поступлении в вуз, а факультетское начальство охотно их привечало, видя в них естественную опору в борьбе с вольномыслием самонадеян-

ных юнцов — будущих шестидесятников. Впрочем, Яша был скорее бестолковым свойским парнем, в партийном карьеризме замечен не был и среди своих темных, но ушлых сверстников оставался такой же белой вороной, как и среди юных интеллектуалов.

Вовсю его ирои-комическому амплу старослужащего солдата от филологии случилось быть разыгранным в военном лагере после четвертого курса, причем нескладные отношения Яши со Словом сказались тут самым роковым образом. Все мы на месяц учений стали как бы рядовыми, Яша же, с учетом его армейского прошлого, был понарошке произведен чуть ли не в старшины. Это условное обозначение он принял совершенно всерьез, с неистовством отставного, но преданного службиста. Так, во время учебного марш-броска он среди ночи по собственному почину встал на вахту у генеральской палатки и начал окапывать ее каким-то уставным ровиком; проснувшийся от неурочного шума генерал выматерил его и отправил спать.

Очередной приступ Яшиного рвения мне пришлось испытать на себе. Один раз за месячный срок каждый из нас должен был побывать в роли дневального, и судьбе было угодно поставить меня на этот день под начало Яши. В роли старшего (над двумя рядовыми дневальными) дежурного по роте его не могло удовлетворить командование такими неприятзательными операциями, как доставка воды, приготовление обеда и подметание до-

рожек. Решив увенчать свое дежурство чем-нибудь нетленным, он бросил нас на обнесение сортира (обширной ямы, через которую была перекинута пара бревен) изгородью из ветвей. Этой монументалистской деятельности не видно было конца, время возвращения ребят с полевых занятий приближалось, и я несколько раз говорил Яше, что пора бы приступить к обеспечению их водой и пищей. Однако Яша решительно пресекал мои будничные поползновения, указывая к тому же на неуместность обсуждения приказов командира.

Не знаю, хватило ли бы у меня духу перечить настоящей вохре, но Яша, к его чести, не внушал мне особого трепета, и я на свой страх и риск принялся носить воду и чистить картошку, то есть, выражаясь в уставных терминах, дезертировал с поста. Последовало краткое объяснение, в ходе которого я, исчерпав логические доводы, сказал:

— Ну и мудака же ты, Яша.

Слова эти были произнесены миролюбивым, скорее укоризненным, нежели вызывающим, тоном. Однако в Яшином мозгу они прозвучали посягательством на устои воинской морали, и он заорал:

— Все! Иду под капитана! Неподчинение приказу! Оскорбление непосредственного командира при исполнении! Загремишь на гауптвахту! Под военно-полевой суд пойдешь!

Этого ему, видимо, показалось мало, потому что он добавил, уже почти про себя:

— Я девять японцев убил и на тебя, суку, не по-
смотрю...

Вскоре рота, под командой местного капитана Екельчика и нашего университетского полковника ДИАМАНТА, вернулась с поля, и жизнь вошла в обычную колею. Остыл и Яша — никаких поползновенний доложить о происшедшем он не обнаруживал. Про себя я был не только благодарен ему, но и не мог не оценить этого, в общем, нетипичного для него проявления житейской трезвости. Капитан Екельчик, несмотря на свой соответствовавший уменьшительному звучанию его фамилии малый рост и непочтительное прозвище, получавшееся из той же фамилии заменой всего лишь одного согласного, был энергичным строевым офицером. К нашей стажировке он относился с должной иронией — на учениях его коронным номером была команда: «Обозначим атаку!» Полковник ДИАМАНТ, высокий, обрюзгший, неповоротливый, утруждал нас, да и себя самого, физическими усилиями еще меньше. Зато его излюбленная команда отличалась еще большей, чем у Екельчика, словесной изощренностью — он то и дело объявлял «затяжной перекур». Так что апеллировать к их чувству дисциплинарного долга не приходилось, и, наверно, даже Яша это понял. А может, просто по доброте своей горячей, но отходчивой натуры махнул рукой, тем более, что все произошло практически без свидетелей.

Но этим дело не кончилось. На другое утро, во время коллективного умывания-купания, кто-

то из ребят подошел ко мне и спросил, правда ли, что вчера во время дежурства я назвал Яшу мудаком.

— Правда.

— А почему?

— Да потому, что он и есть мудака, — отвечал я, опять-таки самым домашним тоном, не подозревая, что сцена эта ловко подстроена и Яша стоит у меня за спиной.

— Все! — заорал Яша, унижение которого сделалось публичным. — Все! Иду под капитана. Люди поедут в Москву, а ты будешь гнить тут на губе!..

Тем временем раздалась команда строиться на завтрак, и вскоре все мы стояли на плацу в правильном каре. Мы увидели, что Яша подошел к капитану Екельчику, отдал честь и что-то докладывает. Затем он вернулся в строй, а капитан повернулся к роте, и я услышал свою фамилию:

— Рядовой Жолковский!

— Я!

— Два шага вперед!

— Слушаюсь! — Я отпечатал два подчеркнuto идиотских, «пруссских», шага.

— Согласно рапорту старшины П., вчера во время дежурства вы называли его непристойным словом. Вы это подтверждаете?

— Так точно, товарищ капитан.

— Как вы его называли?

— Мудаком, товарищ капитан.

— Вы называли старшего по званию и должности и вашего непосредственного начальника мудаком?

— Так точно, товарищ капитан.

— Как вы могли допустить такое нарушение воинской дисциплины?

Повинуясь четкому пульсу неписаного сценария, неожиданно связавшего меня с капитаном, я выкрикнул что было молодецкой мочи:

— Погорячился, товарищ капитан!

— Чтоб больше у меня не горячиться, рядовой Жолковский. Кррругом! Стать в строй! Рота-а... на завтрак... марш!!!

Пересмеиваясь, колонна направилась к столовой. До меня донесся ворчливый шепоток Яши:

— Я девять японцев убил и тебя, гада, убью.

... Пока что я жив. Задним числом я сомневаюсь и в смерти пресловутых девяти японцев, несмотря на нарочитую убедительность этой некруглой цифры. Отчасти идентифицируясь с ними (в рамках Яшиного параллелизма), я думаю, что они вряд ли дали бы убить себя такому законченному и вполне безобидному мудаку, как Яша. Вот интересно, жив ли он сам? Средняя продолжительность жизни в России работает против него. Да и с Логосом он всегда был не в ладах.

Appropriation art

Году в 59-м внимание нашей коктейбельской компании привлек феномен курортной викторины. Толчком послужила большая статья, кажется, в «Литературке», подвергшая критике сборник стихотворных викторин, предназначенных для ис-

пользования массовиками-затейниками в работе с отдыхающей публикой.

В статье приводились особо курьезные образчики жанра. Среди них были незабываемые, например:

*Кто дал чеканных шесть романов,
Любил народ, стрелял фазанов?*

(Тургенев)

*Какой великий мастер сцены
Создал театр своей системы?*

(Станиславский)

Мы тут же стали соревноваться в сочинении подобных текстов, и даже посетили, в целях сбора материала, санаторий «Голубой залив», на который вообще-то смотрели свысока как на плебейский вариант престижного Дома творчества. Ничего выдающегося сочинено не было, — кроме одной вариации на заданную тему, пусть не вполне самостоятельной, но едва ли не совершенной:

*Какой поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой?!*

В ЛЮДЯХ

АХЧ

На работу (в I МГПИИЯ им. Мориса Тореза) я поступил с выговором в личном деле. Поэтому, когда А. А. Акопов, один из деятелей административно-хозяйственной части, потребовал, чтобы в порядке общественной работы я занялся составлением и редактированием газеты АХЧ, пришлось согласиться.

Однажды, подав мне объемистую пачку машинописных листов, он сказал:

— Это отчетный доклад зам. ректора по АХЧ П. В. Моренова. Вы его так поживее изложите в виде заметки, чтоб интересно читать было.

Я говорю:

— А когда это нужно?

— Да хорошо бы ко вторнику.

Я говорю:

— Аршак Арустемович, вы хотите, чтобы я за три дня разрешил проблему, над которой уже десятки лет безуспешно бьется советская литература, — задачу перевода отчетных докладов в художественную форму.

Но юмор was lost upon him. Он даже не понял, что я что-то не то говорю.

ИТМ

Когда после окончания университета Феликс Д., женившись, решил остаться в Москве и искал работу, я сказал ему, что в машинном переводе нуж-

ны люди, и предложил поговорить относительно места для него с К., который тогда заведовал сектором МП в Институте Точной Механики и Вычислительной техники. Феликс ухватился за эту идею.

— Ты скажи ему, что я согласен на самую черную работу. Я готов вообще стоять у самой машины, прямо лопатой там в нее подбрасывать.

Но вскоре Феликс освоился в ИТМ-е и принялся поливать его гноем. Гноеполивания не избежал и сам К.

— Его доклад, — говорил Феликс, — это такое торжественное богослужение, с выносом хоругвей и размахиванием паникадилами.

Надо сказать, что Феликс был первым, кто осмелился взглянуть на К. критическим оком, задолго до того, как разоблачение его культа стало популярной темой разговора среди структурных лингвистов. Впрочем, Феликс говорил, что «в воном Итеэме» утонченный К. не был окружен атмосферой священного ужаса и наглый халтурщик Е., приходя на работу, спрашивал: «Шеф в лавке?»

Полкаш

Феликс с женой и маленькой дочкой поселились в подмосковном поселке Лось, где снимали комнату у некоего полковника в отставке. Феликс со смаком рассказывал о «полкаше» и его доме.

Дом был деревянный, но солидный, двухэтажный, с туалетом. Казалось бы, хорошо — не надо бегать в холодный сортир. Но туалет не соединялся ни с какой канализационной системой или хотя бы выгребной ямой, образуя просто вертикальную пристройку во всю высоту дома. За долгое время содержимое его спрессовывалось, оседало, но постепенно он наполнялся, и в доме стоял непередаваемый букет, настоящий на экскрементах нескольких поколений.

Полкаш, бывший замполит, выписывал «Правду» и целый день проводил за ее чтением. Он раскладывал ее во весь разворот на столе и ползал по ней, прочитывая статью за статьей. Читал он с красным карандашом в руках и по линейке подчеркивал каждую прочитанную строку. К вечеру вся «Правда» оказывалась аккуратно подчеркнутой — красной дальше некуда.

С тех пор Феликс развелся и женился еще дважды, сменил несколько стран и профессий; первой его дочке за сорок, обоим сыновьям за двадцать. Сам он уже десять лет как умер. Дом давно снесен под новостройки. Советский Союз распался. Полкаш идет у меня на комплименты коллегам: «Да-да, прочел с удовольствием и подчеркнул каждое слово, как, знаете, тот полковник, back in old Soviet Russia» («там, в старой советской России»). Впрочем, почему «old»? «Правда» выходит, читается и, боюсь, подчеркивается.

Общая теория дешифровки

Летом 1959 года мне случилось присутствовать при передаче Ю. В. Кнорозовым новосибирскому кибернетику Устинову фотокопий текстов на языке майя. В дальнейшем последовала сенсационная «машинная расшифровка» этого языка Устиновым и его коллегами, недолгая шумная их слава, затем публичное разоблачение Кнорозовым и, наконец, забвение. Но тогда ни о чем этом нельзя было догадываться. Был медовый месяц кибернетики, и мой учитель, В. В. Иванов, осуществлял историческую стыковку великого филолога, уже прославившегося своими открытиями в области дешифровки письменности майя, с представителями грядущей электронной цивилизации...

В кабинете у В. В. были Кнорозов, Устинов и я, зашедший по другому делу и приглашенный остаться, чтобы стать свидетелем эпохального события.

Легким манием руки передвинув к Устинову толстую кипу фотографий с иероглифами майя, Кнорозов сказал:

— Собссьно говоря, сама по себе эта филькина грамота меня мало интересует. Меня интересует, что ли, общая теория дешифровки. Если угодно, я бы, тек скезеть, сказал пару слов...

— Конечно, конечно, Юрий Валентинович, это очень интересно, — поддержал В. В.

— Имеются, тек скезеть, знак и референт, что ли. Ну, тут возможны четыре случая, — он набросал излюбленную структуралистами табличку с

плюсами и минусами. — Если знак известен и референт известен, то это случай обычной, тек скезеть, лингвистики. Если референт известен, а знак неизвестен, то здесь, тек скезеть, мы имеем дело со всекого рода, что ли, разработкой терминологии и искусственными языками. Этт-как, не вызывает пока возражений?

— Нет, нет, очень интересно!..

— В таком случае я, с вашего разрешения, буду продолжать?

— Да, да, просим!..

— Тек вот, третий случай — этт когда знак известен, а референт неизвестен. Здесь я полагаю поместить дешифровку.

Определив место собственной дисциплины, он выдержал небольшую паузу. Слушатели затаили дыхание.

— Ну, а четвертый случай... тек скезеть, чего уж тут?

Глядя на два минуса, Кнорозов развел руками.

21 августа 1959 года

Мне посчастливилось видеть, слышать, целый вечер наблюдать вблизи Пастернака и Ахматову, обоих сразу. Этим я обязан В. В. 21 августа 1959 года он праздновал свое тридцатилетие и пригласил нас с Ирой к ним на дачу в Переделкино. Это было примерно через год после скандальной травли Пастернака в связи с Нобелевской премией за «Доктора Живаго» и за год до его смерти. В. В.

принадлежал к числу его ближайших друзей, непосредственно поддерживавших его в эти «дурные дни». Кажется, Пастернак советовался с ним относительно «явки на суд» в Союз писателей и письма Хрущеву, напечатанного в «Правде». Говорили даже, что В. В. сам написал это письмо. Для всех знавших В. В. по факультету, он был героем, открыто отстаивавшим в партбюро и всюду, куда его таскали, свое право любить Пастернака и его преданный анафеме роман. Но так или иначе, когда он пригласил меня к себе на день рождения, ни на какого Пастернака я не рассчитывал. С меня вполне достаточно было чести пойти в гости к обожаемому учителю.

Среди гостей были более или менее знакомые люди: родители В. В. — Всеволод Вячеславович Иванов и Тамара Владимировна, его единоутробный брат Миша (Иванов-Бабель) логик Витя Финн, «эстет» Миша Поливанов (впоследствии преподававший физику у нас на Отделении математической лингвистики МГПИИЯ); кажется, были (а, может быть, это было в другой раз?) Лиля Брик, Катанян и Каверин. В какой-то момент вдруг оказавшийся рядом В. В. тихо сказал: «Анна Андреева», и раньше, чем я успел ее рассмотреть, мимо меня прошла высокая седая женщина — Ахматова. Она, видимо, поднялась наверх и долго не показывалась.

Ждали Пастернака. Время от времени проносилось известие, что он скоро придет, потом, что он опять задерживается. Наконец, он появился. Он прошел через боковую калитку, которой его

дача — соседняя — соединялась с дачей Ивановых, и поднялся на террасу. Вместе с ним пришли: его жена (плотная смуглая женщина, в свое время «отбитая» у Нейгауза, а теперь полуоставленная ради Ольги Ивинской, поплатившейся тюрьмой за близость к Пастернаку; за столом жена не поднимала глаз от тарелки и, не обращая внимания на происходящее, непрерывно ела), сын Женя с женой (Аленушкой Вальтер, учившейся на нашем курсе) и сыном — внуком Пастернака Петей.

Пастернак был очень красив: невысокий, крепкий, с меднокрасным лицом и серебряными волосами, он производил впечатление здорового и счастливого человека. У него был голос балованного ребенка, капризно растягивающего слова. Его приход был встречен радостными возгласами, и все стали усаживаться за стол. Пастернак и Ахматова сидели друг напротив друга, у того конца стола, где и сам именинник. Я сидел на другом конце, на стороне, противоположной от Пастернака, так что его мне было видно лучше, чем Ахматову.

Помню тост, предложенный Мишей Поливановым:

— Борис Леонидович, если бы меня спросили, что я хочу взять с собой в космос, я бы взял ваши стихи.

В то время в «Литературке» и «Комсомолке» дебатировался вопрос о сравнительных достоинствах физиков и лириков, и какая-то девушка уверяла, что и в космосе человеку будет нужна ветка

сирени. Пастернак как-то одновременно улыбнулся и поморщился и сказал:

— Ну чтоо Вы, Миша, ну зыачем вы говорите такие глупости?

Пастернак говорил много, и для меня все это было неожиданно и интересно. Потом, дожидаясь на станции электрички, я сделал в записной книжке какие-то заметки, но наутро оказалось, что эти пьяные каракули совершенно неудобочитаемы. Некоторое время я помнил все-таки, что он говорил, и все собирался как следует записать, но так и не собрался. Что-то совершенно необычное было сказано о Гоголе. Потом он говорил о людях, которые приходят к нему в Переделкино и ждут, что он — герой сопротивления! — спасет их и возглавит, но что это совершенно не по нему и что одного такого ходака он страшно разочаровал своим несоответствием заготовленному для него пьедесталу. (Лет десять спустя Костя Эрастов, ныне покойный, говорил мне, что в Пастернаке, который первым начал движение открытого несогласия, замечательно то, что он сумел не превратить его в свою профессию, что один свободный поступок не обязывал его ко второму, то есть не порабощал его, — в отличие от нынешних «революционеров», как их называл Костя, то есть, диссидентов 70-х годов.)

Разумеется, обоих поэтов стали просить прочесть стихи. Пастернак долго отнекивался, кокетничал, говорил, что не знает, что читать, спрашивал у окружающих, что бы они хотели услышать.

Его попросили прочесть одно из последних стихотворений, тогда еще не напечатанное, но ходившее в списках и всем известное, «то, в котором залы, залы, залы, залы» («Золотая осень» из «Когда разгуляется»). Наконец, он начал читать. Читал он плохо, сбивался, забывал строчки. Я сразу вспомнил, что мама рассказывала мне, как однажды он выступал в Политехническом, кажется, уже после войны, и тоже забывал, наверное, нарочно, потому что когда аудитория тут же хором подсказывала ему, он улыбался, счастливый, что знают и помнят.

Ахматову упрашивать не пришлось. Она сказала, что как-то раз ей позвонили из «Правды» (!) и попросили дать стихи. Она ответила в том смысле, что пожалуйста, только это очень странно и вряд ли у них из этого что-нибудь получится. Ей сказали, что уж они-то знают, что делают, и раз берутся, значит, могут. Короче говоря, дело тянулось, тянулось и кончилось ничем. Вот эти-то стихи она и прочтет.

Ахматовой в то время было уже семьдесят лет. Это была величественная старая женщина, императрица. Зубов у нее, видимо, оставалось совсем мало, потому что, когда она стала читать:

*Подумаешь, тоже работа
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое...,*

слышны были, казалось, одни гласные. Но это было великолепное, торжественное, звучное чтение, может быть, именно потому, что требовало от нее усилий, «танца органов речи» (как то ли Шкловский, то ли Мандельштам сказал о стихах Пастернака).

Все время, что она читала, Пастернак в такт ее голосу гудел, напевая и повторяя слоги и строчки. Когда она кончила, он тут же начал вполголоса читать только что услышанное стихотворение, заменяя или перевирая отдельные слова:

*Прекрасная, право, работа –
Чудесное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать потом за свое...*

Ахматова сказала:

— Ну вот, Борис Леонидович, вы когда мое читаете, то всегда улучшаете. — Она произнесла *улучшаете*.

— Чтуо Вы, чтуо Вы, Анна Андревна, чудесные стихи. Зачем вы их им давали? Нет, право, чудесные стихи, Анна Андревна, чудесные стихи.

— Нет уж, Борис Леонидович, это уж известно, вы когда мое читаете, то все улучшаете.

И они еще долго обменивались тщательно отмеренными приятностями, как какие-нибудь восточные вельможи, уверенные во взаимном уважении и преданности окружающих, лениво и с достоинством, Пастернак — немного по-женски и с уловками, Ахматова — с мужской прямоотой.

Теоремы надо доказывать

Эта история произошла на самой заре существования Лаборатории Машинного Перевода МГПИИЯ им. Мориса Тореза, то есть, скорее всего, во второй половине 1959 года, самое позднее весной или летом 1960-го. Лаборатория только что возникла, но уже сделалась центром духовного притяжения. К машинному переводу, как к панацее от всех бед, стали припадать маргиналы самых разных мастей — полусумасшедшие гении, энтузиасты, ищущие нового профессионального приложения сил, диссиденты и евреи, едва держащиеся на работе, женщины, вышибленные из колеи неурядицами личной жизни...

Однажды пришел некто С., рекомендованный В. В. Ивановым в качестве математика, интересующегося идеей интеллектуального кино. Он представился, сел на предложенный стул и замолк. Он выжидательно смотрел на нас, мы на него. Когда пауза затянулась до неправдоподобия, я произнес что-то поощрительное, вроде:

— Ну что ж, рассказывайте.

Гость молчал.

— У вас, кажется, есть соображения об Эйзенштейне? — Слово «соображения» было модным в наших кругах с легкой руки того же В. В.

Молчание.

— Разве вы не собирались ознакомить нас в вашей моделию?

На четвертом или или пятом раунде С., наконец, открыл рот:

— Мне бы не хотелось брать на себя ответственность.

Тут я почувствовал прилив остапбендеровского нахальства и, как пишут в англоязычных романах, *heard myself say*:

— Всю ответственность я беру на себя. Рассказывайте.

Как ни странно, это подействовало, и С. заговорил. Вернее, попросив листок бумаги, он начертил на нем прямой угол, внутри которого расположил несколько точек, и с уже знакомой нам немногословностью предложил считать это моделью самообучения, лежащей в основе интеллектуального кино и творческого метода Эйзенштейна в целом. На этом он опять замолк, теперь уже окончательно. Впрочем, короткие тезисы с тем же графиком в свой черед появились в ротапринтных материалах одной из структурно-лингвистических конференций.

Другой оригинал, мелькнувший на нашем тогдашнем горизонте, носил загадочную фамилию Кучмент и был носатым рыжим одесситом с полными любопытства зрачками, которые как бы самостоятельно плавали в своих орбитах. Начав с научной журналистики, он вскоре стал чем-то вроде писателя-фантаста, публикуясь под палиндромическим псевдонимом Т. Немчук. (Внешнее сходство с вождем кибернетической лингвистики И. А. Мельчуком, до тех пор замаскированное

разницей личностей, сразу ожило при звуках этого псевдонима; кто знает, может быть, Кучмент и сознательно рассчитывал на подобный эффект.) В одном из его то ли очерков с переднего края науки, то ли научно-фантастических повествований фигурировали и сотрудники Лаборатории с их «незаурядным чувством юмора».

Пару десятков лет спустя, когда я уже преподавал в Корнелле, наши пути опять пересеклись. Кучмент приехал с лекцией политологического характера, в качестве представителя какого-то солидного (Гарвардского? Вашингтонского?) Центра по изучению СССР. Рыжина немного поблекла (как, впрочем, и у Мельчука), кожа увяла и сморщилась (как у всех), профессия адаптировалась к обстоятельствам (как и моя) и даже зрачки немного сбавили свою броуновскую скорость. Интересно, что он поделывает теперь — руководит развитием капитализма в России?

Но самый забавный эпизод носил, так сказать, сугубо научный характер, не разбавленный никаким журнализмом. В один прекрасный осенний день в дверях Лаборатории возник человек джентльменского, хотя и слегка потертого, вида — в модном пальто, в шляпе, кашне, перчатках, с элегантным чемонданчиком «дипломат». С предупредительным поклоном задержавшись на пороге, он представился в качестве сотрудника некоего технического учреждения, и сказал, что пришел за консультацией по вопросам теории языка.

Кроме меня, в Лаборатории был только Юра Щеглов, который немедленно объявил:

— Это к тебе.

— Раздевайтесь, садитесь, рассказывайте, — любезно пригласил я. Выбора у меня не было.

Мужчина — он был явно старше нас, двадцатидвухлетних нахалов, — приступил к ритуалу раздевания. Изящными, хорошо отработанными движениями он снял шляпу, разматал кашне, стянул перчатки, с осознанным щегольством положил кашне и перчатки в шляпу, снял пальто, перебросил его через спинку стула, присел к моему столу, открыл свою дипломатку и вынул оттуда толстый, в твердом переплете машинописный фолиант.

— Это разработанная мной новая вероятностная модель языка, — объявил он.

— Ну что ж, — сказал я тоном заинтересованного старшего коллеги, — давайте посмотрим.

Я открыл фолиант и начал его перелистывать. К своему ужасу я увидел, что он пестрит нумерованными ЛЕММАМИ, ТЕОРЕМАМИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, СЛЕДСТВИЯМИ, ФОРМУЛАМИ — и так страница за страницей, глава за главой. Внутренне мечась в поисках выхода, я листал рукопись. На двухсотой с чем-то странице мой взгляд упал на ТЕОРЕМУ, за которой не следовало примелькавшегося и порядком раздражавшего меня ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

— Что это такое? Недоказанная теорема? Как же так?

Последовав за моим указательным пальцем, посетитель уставился на страницу и растерянно молчал.

— Теоремы надо доказывать, молодой человек, — совершенно обнаглев, провозгласил я. — Докажете, приходите.

Вежливо поблагодарив меня за консультацию, посетитель закрыл свой фолиант на роковой странице, аккуратно уложил его в дипломатку, защелкнул ее, взял со стула и надел пальто, вынул из шляпы и обернул вокруг шеи кашне, застегнулся, натянул перчатки и держа шляпу в руке, откланялся, пообещав вскоре быть назад.

Перспектива эта меня мало радовала, но, как говорится, взялся за гуж. Недели через две он явился. Повторился магический ритуал с кашне, перчатками и шляпой, из чемоданчика снова извлечен был толстый гроссбух и с неотразимым достоинством вручен мне. Я раскрыл его — и не поверил своим глазам. Это была совершенно другая модель. Уже не общеязыковая, а семантическая, не вероятностная, а сочетаемостная, без теорем, зато с таблицами и графиками.

Решение пришло мгновенно.

— Ага, — сказал я. — Вы занялись выводением смысла из синтаксической сочетаемости. Это очень перспективно. Но это не к нам. Это к Апресяну, — тут я бросил победительный взгляд на Юру Щеглова, — в Институт Русского Языка, Волхонка, 13. Тут недалеко. Вы пройдете Метростроевскую [ныне опять Остоженка] до конца, перейде-

те площадь и там, напротив бассейна [ныне — храма Христа Спасителя], увидите угловой зеленый особняк. Уверен, что ваша работа их заинтересует.

— Благодарю вас.

Опять был прокручен, как в обратном монтаже Дзиги Вертова, балет со шляпой и проч., и загадочный визитер, отвесив прощальный поклон, исчез с нашего горизонта.

То есть, исчез в унизительном качестве просителя. Проследовав от нас к Апресяну, он был немедленно взят на работу в недавно образовавшийся Сектор структурной лингвистики С. К. Шаумяна. Апресян был в дальнейшем уволен за подписание, Шаумян, обнаружив в себе, вместо бакинско-комиссарских, сионистско-империалистические корни, эмигрировал в Америку, а Ефим Лазаревич Гинзбург, несмотря на этническое неблагозвучие своей фамилии, возглавил Сектор.

Плащи, в которых пьют пиво

Как-то раз (лет 40 назад), зашла речь о дешевых плащах темносинего цвета из прорезиненной ткани. Они первыми появились в продаже после войны и долго оставались чуть ли не обязательной демисезонной одеждой беднейших слоев населения. Кто-то сказал: «А-а, плащи, в которых пьют пиво».

Определение запомнилось. Буквальный смысл его примерно таков: «плащи, которые носят люди,

пьющие пиво перед пивными ларьками, в соответствующую погоду — в плащах». Налицо набор воплощений убогого плебейского быта: напиток — пиво; пьют его — стоя, на улице, в верхней одежде; одежда — низшего качества.

Но форма выражения этой мысли обладает, помимо суггестивной сжатости, еще одной существенной чертой. В непосредственную связь друг с другом поставлены элемент туалета (плащи) и тип времяпровождения (пьют пиво). Такое чуткое соответствие кода одежды различным жизненным отправлениям отличает максимально благоустроенный, аристократический, «европейский» образ жизни. Одни туалеты — для файв-о-клока, другие — для театра и т. д.

«Плащи, в которых пьют пиво», совмещают обе крайности. Совмещают, но не уравнивают — Европа перетягивает. Голый, как сокол, российский интеллигент советского образца лелеет и скандирует подобные формулы с позиций аристократа, а не плебея, на какового смотрит свысока.

Случай в Сумах

Во время велосипедной поездки из Москвы в Ярославль (1960 г.) нам с Юрой Щегловым пришлось заночевать в Ростовском Доме крестьянина — в огромном номере, где кроме нас было еще человек двадцать. К тому же, нас положили в разных концах. Я помню, что когда погасили свет, радио

не выключили, и Белла Ахмадулина читала свои переводы из грузинских поэтов. Я слушал ее впервые и убеждался, что рассказы о том, как она прекрасно читает, не преувеличены. Потом я заснул.

На следующий день Юра встал мрачный и сказал, что не выспался, — разговаривавшие вокруг него шоферы не давали ему заснуть чуть ли не до утра.

— О чем же они говорили?

— Ах, Алик, они говорили только об одном. Из их разговоров я понял, что советские люди ни о чем другом вообще не думают. Особенно внимательно они слушали некоего Василия Васильевича; повидимому, он у них пользуется большим авторитетом в этом вопросе. Они все просили его: «Василь-Васильич, ты расскажи, как ты в Сумах-то, как ты в Сумах-то?»

— Ну, и он рассказал?

— Рассказал.

— Что же он рассказал?

— Он рассказал довольно обычную историю, которая вполне могла произойти и не в Сумах, историю, в которой, в сущности, ничего такого специфически сумского не было.

Халтурологические заметки

Свою научную карьеру я начал в должности старшего инженера с мизерным окладом 100 рублей в месяц. Но я говорил себе, что ученый должен работать, а не зарабатывать. Проблема же нехватки

денег, считал я, решается просто — путем ограничения потребностей. Противясь покупке финского гарнитура ценой в десяток моих зарплат, я говорил жене, что не хочу жить среди мебели, которая дороже меня самого. Я не был еще знаком с «Этикой нигилизма» Франка и не понимал, до какой степени мои установки смыкались с большевистскими, хотя радостно хохотал над анекдотом о том, как при коммунизме в магазинах будут вывешиваться объявления типа: «Сегодня на масло потребностей нет».

Перед глазами у меня был пример соседки по лестничной площадке, назову ее Саррой Яковлевной. Отношения у нас были хорошие, она еще помнила маму. Иногда она звонила в дверь, чтобы предложить блузку, туфельки или иной предмет дамского туалета, приобретенный ее дочкой Эмочкой, но почему-либо ей не подошедший. Моим женам, насколько помню, ничто из этих товаров тоже не подходило.

Если же звонок Сарры Яковлевны раздавался в двадцатых числах, я знал, что речь пойдет о другом.

— Алик, не могли бы вы одолжить мне пять рублей до начала месяца? Если это вас не слишком обескровит?

Сумма неизменно называлась ничтожная, я без разговоров давал, Сарра Яковлевна неукоснительно возвращала. Но словечко «обескровит» запомнилось намертво — в контрапункт к элементарной мысли, что отказ от ровно одной блузки раз на-

всегда снял бы душераздирающую проблему денежного кровообращения. (О сакральных обертонах «крови» в иудейской культуре я тогда тоже еще не слышал.)

Конец моему ригоризму положил развод. На квартиру для Иры деньги пришлось занимать, а занятые отдавать. Часть я взял у папы, часть — у состоятельного коллеги. Помню, как мы пошли в его сберкассу, где он снял со счета гигантскую по моим тогдашним понятиям сумму в 2000 рублей и половину протянул мне, со словами:

— Ну, что ж — поделим по-братски. Только пообещай, что не станешь плохо ко мне относиться.

Берешь, как известно, чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Чтобы расплатиться с долгами, пришлось искать халтуру. В какой именно сфере халтурить, вопроса не составляло. На работе я занимался новаторской теорией автоматического перевода, зарабатывать же стал переводами, выполняемыми по-старинке, вручную. Среди моих знакомых было много мастеров этого дела. Настоящие асы работали на «синхроне», но я асом не был, да мне и не подошла бы работа по чужому расписанию. Нужны были письменные переводы.

Один приятель вырастил на них девять детей, последнюю дочку уже в Нью-Йорке. Как-то у него (еще в Москве) работал плотник, что-то чинил или строил. Костя сидел за машинкой, но по-толстовски этого стыдился и все порывался что-нибудь поднести, пока плотник не отрезал:

— Ты не дергайся. Ты делай свое еврейское дело, а я буду делать свое.

Первым моим еврейским — и, увы, далеко не толстовским — делом стали переводы на английский, по чьей-то наводке полученные в «Воениздате». Полковник Баканов, высокий красавец кавказского вида, вручил мне секретную инструкцию по обслуживанию советского танка (Т-54?), и я сделал пробный перевод. Баканов признал его удовлетворительным, но посоветовал писать проще, без лингвистических изысков, непонятных, как он выразился, «нашим черножопым братьям».

Военными деньгами я пробавлялся около года, пока не нашел более мирных вариантов. Для престижного ежегодника «Наука и человечество» я вскоре перевел с французского статью бразильского демографа Жозуэ де Кастро, борца за мир и большого друга Советского Союза. Статейка была пустенькая, зато расценки далеко превосходили воениздатовские; думаю, что и автору, специалисту по проблеме голода, перепало на хлеб с маслом.

Мое экономическое положение стало укрепляться, причем, в соответствии со своими убеждениями, я стал прилично получать если не за саму научную деятельность, то за халтуру околонаучного типа. Во-первых, — за переводы статей по лингвистике. Во-вторых, — за переводческую и дикторскую работу на Московском Радио с языком сомали, о котором писал диссертацию. В-третьих, по договору с Госпланом — за то, что мы, собственно, и так делали в Лаборатории, так что дополни-

тельная работа сводилась к подаче отчетов. (Однажды выплата задерживалась, очередной отчет составлять выпало нам с Костей, и мы написали его акростихом — предложениями, начинавшимися с жирных букв **ПЛАТИЗАЭТУЛИПУ СКОРЕЕИБЕЗСКРИПУ**).

Расквитавшись с долгами и утвердившись в селф-имидже благополучного ученого, я начал забывать о былых халтурах. Поэтому, когда как-то накануне майских праздников из «Науки и человечества» меня попросили срочно перевести очередную статью де Кастро, я стал отказываться. Помимо нежелания, у меня были уважительные причины: я болен, машинка сломана, библиотеки закрыты. Но редакторша, попавшая в прорыв, настояла на своем, взявшись прислать оригинал с курьером, принять рукописный перевод, самолично выверить терминологию, заплатить по высшей ставке и навеки остаться у меня в долгу.

Через час в мою почтовую щель упал тяжелый конверт, но я был так слаб, что открыл его только на следующий день. А открыв, пришел в ужас. Я предусмотрел все, кроме одной мелочи. Текст был на неизвестном мне языке; судя по обилию тильд и учитывая национальность автора, — португальском. Прошлый раз я переводил де Кастро с французского и полагал, что так же будет и теперь, в редакции же я, видимо, значился как «его» переводчик, а уж с какого языка, их не волновало.

Что было делать? Статья оказалась не так уж длинна — страниц десять, напечатанных очень

четко, со щедрыми интервалами, на языке, не то чтобы совершенно экзотическом, а как-никак романском; не страшил меня текст советского, в сущности, халтурщика и с содержательной стороны. И я решил, что если я с ходу, без словаря разберусь в синтаксисе предложений, то задача сведется к добыванию португальско-русского словаря, осуществимому и в праздники. Так и вышло, тем более что д-р де Кастро не подвел, опять предложив вниманию советских друзей вполне предсказуемую муру.

А вскоре та же редакторша позвонила узнать, не порекомендую ли я ей кого-нибудь с итальянским языком. Осведомившись о характере работы и оплаты, я предложил себя.

— А вы и итальянский знаете?

— Итальянский-то я как раз знаю.

— Что вы имеете в виду?

Я не стал уточнять, новую халтуру взял, сделал, сдал и, сдавая, спросил, как дела с предыдущей. Оказалось, что ежегодник вот-вот выходит.

— И там написано: «Перевод с португальского Жолковского?» — не удержался я.

— Почему с португальского? С испанского.

— Да-да, конечно, с испанского.

Том вскоре вышел. В нем действительно значится: *Пер. с исп. А. Жолковского*. А что? Так даже интереснее.

... На работе мне уже давно платят столько, что никакой халтурой меня не заманишь. В один из приездов в Россию, совпавший, как обычно, с эко-

номическим кризисом, у меня зашел разговор с коллегой об общем знакомом, к которому я имел деловые претензии. Собеседница горячо за него вступилась:

— Ты не понимаешь! Он вкалывает на пяти работах!!

Я ответил, что я как раз понимаю — и как бывший совок, и как бывший лексикограф. Что вкалывать можно на одной, ну, на полутора работах, а на пяти можно только халтурить.

Сказав это, я почувствовал, что повел себя, как Мэдлен Олбрайт. Когда в качестве свежее испеченного госсекретаря она приехала разбираться с сербами и они стали втирать ей очки, она перебила: «Cut it out. I'm from here» («Кончайте. Я здешняя»). Сказано отлично, а толку? С другой стороны, разве плохо звучит: *халтура, халтурищик (-щица), халтурить, подхалтуривать, схалтурить, исхалтуриться, это же халтура, отличная халтурка подвернулась?..* Приятно вспомнить.

У нас в Бхилаи

Одно время в 60-е годы секретаршей у нас в Лаборатории работала Тамара Б. Она была хорошенькая, с большими зелеными, немного стеклянными глазами, молоденькая, но уже опытная, побывавшая за границей. Прямо из десятого класса она вышла замуж и уехала на строительство металлургического комбината в Индию. Поспешность со стороны мужа объяснялась тем, что для оформления в капстраны

требовался семейный статус, ограждающий от эротических соблазнов, со стороны Тамары — думаю, неотразимостью всего пакета: тут и брак, и заграница, и хорошо оплачиваемая работа (на строительстве она тоже была секретаршей).

При всем том, Тамара сохраняла почти детскую наивность. Охотно делаясь своим заграничным опытом, она начинала рассказ словами:

— А вот у нас в Бхилаи...

Она с удовольствием и сознанием культурного превосходства рассказывала об индусах. Как страстных младолексикографов нас восхищало отсутствие в ее словаре абстрактных слов, от которого описание туземных нравов даже выигрывало.

— Индийцы, они какие? Вот я приведу тебе такой пример. Вот он лежит на земле, у него ничего нет, кроме подстилки. Тут кто-нибудь бросит ему рупию, смотришь, он уже нанимает слугу, и тот идет за ним, несет его подстилку.

Действительно, какие? Нищие, ленивые, праздные, жалкие, пропитанные кастовостью — все сразу. Кому у кого учиться писать?

Зато муж Тамары, успевший до Индии что-то окончить и по возвращении работавший в главке, владел готовой лексикой в совершенстве. Звоня в Лабораторию, он представлялся с начальственной скромностью:

— Борковский беспокоит...

Фамилию из деликатности изменяю, но лишь слегка, так как не могу отказаться от шикарной звукописи на «б-к-о». Герой этой повести — правда.

Яблоко или гулять

«Ты что больше любишь — яблоко или гулять?» — спрашивает малыш у автора «От двух до пяти». — «Какие у тебя глупые разговоры», — отвечает Чуковский. — «Да-а, я умных-то разговоров не знаю, а поговорить-то с тобой хочется».

1. Игорь

Мои старшие друзья-коллеги были сами очень молодцы, и в моем отношении к ним не было, думаю, ничего эдиповского. Просто очень хотелось быть принятым в их блестящую компанию. Что бы там ни инсинуировал Достоевский, говорить с умным человеком — одно из главных жизненных удовольствий. Во всяком случае, такова была изначальная подоплека моего научного честолюбия.

Поговорить с этими умными людьми приезжали издалека, в том числе из заграницы и даже из-за железного занавеса. Я только начал работать в лингвистике, когда Лена Падучева, уезжавшая в отпуск, попросила пойти вместо нее на доклад американской гостыи и написать о нем в отдел научной хроники «Вопросов языкознания». Задание содержало вызов: американка, как и Падучева, занималась высшим научным пилотажем — логическим анализом языка.

Игра стоила свеч. При первой же встрече осенью Лена сказала:

— Видела, видела. Ну, думала, сейчас порезвлюсь. Но смотрю, кванторы на месте.

Самым устрашающим авторитетом был Игорь Мельчук. Я познакомился с ним еще до Университета, так как он учился в Музучилище у моей мамы и бывал у нас дома; однако заслужить его профессиональное одобрение казалось немыслимым. Без злобы, как и без стеснения, Игорь своим «громким, но противным» голосом (его автоописание) разоблачал интеллектуальные ляпы коллег любого пола, возраста и положения.

Как-то он зашел в Лабораторию по организационным делам к нашему шефу. Я сидел за своим столом над алгоритмом семантического анализа. Это было в эпоху, когда компьютеров у нас не было, а описание грамматик не отделялось от правил оперирования ими. На листке бумаги мной были занумерованы команды, штук двадцать, долженствовавшие сводить любую из сотни синонимичных английских фраз к единому результату.

По наступившей тишине я понял, что разговор в верхах окончен и Мельчук занялся каким-то делом, как вдруг почувствовал его дыхание у себя за спиной. Через мое плечо корифей машинного перевода всех времен и народов пробежал глазами мой алгоритм. Я напрягся — шансы опозориться были немалые.

— Хмырь болотный, — Игорь покрутил головой с неохотным одобрением. — Ни петель, ни тупиков вроде нет.

Понравилась ему, как оказалось, не только техническая чистота, но и идея алгоритма — переход от синтаксиса к семантике, который он тоже уже

обдумывал. Узнал я об этом, когда он вскоре созвал ведущих лингвистов и математиков, занимавшихся МП, чтобы наладить широкий фронт работ, и включил меня в состав этого ареопага.

Заседание проходило в полутемной комнатке (Институт языкознания располагался в помещении бывших графских конюшен), и через открытую для доступа воздуха дверь был виден коридор. Заседание длилось долго, и за это время по коридору несколько раз прошел венгерский лингвист Сепе (Szépe). Он часто бывал в Москве, причем встретить его можно было где угодно — на семинаре, на улице, в библиотеке, в предбаннике языковедческого или кибернетического начальства, буквально везде. Эти загадочные в своей регулярности появления давно стали притчей во языцех, поэтому при очередном его проходе за сценой я глазами показал на него Мельчуку, который обернулся и понимающе хмыкнул. А в следующий раз я не удержался и выдал давно назревавший латинский каламбур: «*Saepe videtur*» («Сепе/Часто виднеется»).

Народ посмеялся, но это было и все, в чем сошлись собравшиеся. На призыв образовать рабочие группы по темам, наиболее близким каждому, не откликнулся никто, — кроме меня, польщенно-го приглашением работать с самим Мельчуком. С этого началось наше соавторство, а также мое осознание безнадежной расколотости сообщества умных людей. Говорить с ними было приятно, но приходилось выбирать, с кем.

На шумные вечерние семинары по нашему толково-комбинаторному словарю, которыми дирижировал Мельчук, стекались толпы болельщиков. Реальной работы делалось немного, зато это больше, чем что-либо в моем опыте, походило на описания jam-sessions американских джазистов. Компания складывалась отличная, но — сугубо «своя».

Однажды Мельчук делал доклад на «чужом» семинаре, делал с обычным харизматическим блеском, а когда затруднился с примером, обратился ко мне, сидевшему среди публики. Я сказал, что уже и предыдущий пример был неправильный, но Игорь радостно объявил:

— Какая разница?! Они все равно не поймут!

Раскол между «нами» и «ими» меня травмировал, ибо шел вразрез с призывом к общению. Постепенно размежевание «наших» и «не наших» становилось все четче, потом на него наложилось разделение на уехавших и оставшихся, а затем произошла пульверизация и без того разбросанной диаспоры.

С искусством компромисса у российского человека не очень.

2. Володя

Кумиром нашего дворового детства был высоченный красавец Володя — будущий книжный график В. В. Медведев, оформитель книг Ахматовой, Вознесенского, Ахмадулиной. Все знали, что он ходит играть в волейбол на «Динамо», и я и сейчас ясно вижу, как он с чемоданчиком в руке, в синей с лам-

пасами динамовской форме, идет через двор подчеркнуто сутулой спортивной походкой.

В играх малышни он не участвовал, но как-то раз столкнулся с ее проблемами. Через пустырь от нашего «еврейского» кооператива располагались бараки первых метростроителей. С бараковскими ребятами у нас периодически возникали пограничные конфликты, доходившие до камнеметания, и однажды под огонь чуть не попал Володя, возвращавшийся из города с неизменным чемоданчиком. Воспользовавшись моментом и положившись на масштабы своего авторитета, он решил открыть в истории враждующих дворов новую страницу.

Он поднял руку, и бой прекратился. Завороженные присутствием легендарного Володи, бараковцы приблизились на расстояние слышимости, а мы сгрудились за его спиной. В руке у него оказался футбольный мяч, который мы гоняли до перестрелки. Держа его перед собой, как державу, Володя этаким Владимиром Мономахом и Генрихом IV заговорил о бессмысленности наших распрей. Помню его кульминационный риторический ход:

— Один двор — один хуй, даже забора нет (читай: Une foi, une loi, un roi, «Одна вера, один закон, один король»).

Мы, дряблая интеллигенция, были заранее согласны замирииться, бараковцы же слушали со смешанными чувствами: несмотря на гипнотическое действие Володиной харизмы, они время от времени издавали инстинктивное «у, евррр!...». Воло-

дя, до получения паспорта носивший материнскую фамилию Розенберг, дипломатично пропускал эти сдавленные рыки мимо ушей. Перемирие было достигнуто, и он удалился, шикарно сутулясь.

На следующей неделе военные действия возобновились. Золотое компромиссное слово оказалось изроненным втуне.

А недавно Володя умер — лет семидесяти. Но до этого я его повидал, и мы впервые в жизни немало поговорили.

Бывая летом в Москве, я хоть раз навещаю в наш двор, обычно на велосипеде. Сделал я это и в девяносто восьмом. Я подъехал со стороны пустыря и как раз оценивал взглядом солидность окружившего дом железного забора, когда из-за него донесся нежно-покровительственный, как бы отеческий, голос:

— Что, Аленька, домой приехал?

Это был Володя, седой, сильно сдавший. Он комфортно сидел на раскладном брезентовом стуле среди разросшейся зелени, вокруг бегала прогуливаемая породистая собака. Володю всегда отличал высокий класс. У него были фирменные, писательского происхождения жены, и книги он делал тоже отборные. Разговорившись, он рассказал нечто трогательное, причем в масть моему эмигрантству, — как он уже после перестройки работал на книжной выставке за границей, и к нему в секцию зашел сам Илья Кабаков. Сначала Кабаков его не заметил, но когда он назвал его «Толей» (своим именем, известным узкому кругу), тот

обернулся, узнал Володю, и они поговорили. Про яблоко или гулять — какая разница?

Все в одном томе

Как-то мой приятель Саша М., спортсмен и корреспондент ТАСС по науке, пришел ко мне с просьбой порекомендовать ему для чтения художественную литературу. Ты, мол, филолог и вообще человек интеллигентный, подскажи, что читать. Я сказал что-то вроде того, что хороших книг много.

— Нет, я, по примеру Рахметова, хочу читать только самые нужные книги.

Я почему-то назвал «Боги жаждут». Но Саша сразу же насторожился и потребовал доказательств необходимости читать Франса. Тогда я напрямую спросил его, каково максимальное число тех главных книг, которые он готов прочесть.

— Пусть это будут три книги, но такие, чтобы в них содержалось все необходимое, — сказал он.

— Этим условиям, — сказал я, — отвечает только один вид книжной продукции — «Энциклопедический словарь в трех томах». Вот он стоит, можешь взять.

К моему удивлению, Саша несколько не обиделся. Но он указал на громоздкость энциклопедического словаря, который к тому же содержит большее количество уже известной ему, Саше М., информации.

— В таком случае, возьми «Словарь иностранных слов» — всего в одном томе и как раз то, чего тебе нехватает.

Он действительно взял этот словарь и держал его довольно долго. А вскоре стал аспирантом футурологического сектора Института социологии по специальности «прогностическая функция литературы», — слова все иностранные.

С иностранными делами связана была и дальнейшая его карьера, но это особая история.

Прогнозы на 2000-й год

Юра рассказывал, что М., снабжавший его заказами на перевод всяких там предвидений на 2000-й год, торопил его, говоря, что предвидения быстро устаревают.

— Позволь, Саша, разве они могут устареть раньше 2000-го года?

— Конечно, могут. Ведь предвидения не с потолка берутся. Они основаны на тенденциях, на переменных. Меняются переменные, меняются и предвидения.

Как-то Юра вообще поставил под сомнение деятельность советских футурологов.

— Почему? — сказал М. — Вот, например, Г., специалист по досугу. Он на досуге доктором стал. Притом имеет красавицу жену, с ней и досуг проводит.

У самого у него отношения с досугом были простые. Как все журналисты, он время от време-

ни объявлял, что пишет «большую вещь». В Коктебеле (сентябрь 1963 г.) он то и дело впадал в прострацию.

— Скажи, что тебя гнетет?

— Понимаешь, старик, уже три дня, как я не работаю. Так нельзя. Я должен писать.

Потом как-то в Москве он опять жаловался, что не пишет, а я его утешал в том смысле, что он хороший парень, а писать ему, может быть, и необязательно.

— Но, понимаешь, старик, если меня тянет к литературе...

— Ну, тогда пиши.

— Понимаешь, к большой литературе...

— Тогда читай...

Одно время М., приняв важный вид, говорил, что у него много хлопот в связи с организацией некого научного объединения фантастов, под председательством, кажется, самого Ефремова. Задача — спасение современной науки от грозящего ей застоя. Я спрашиваю, каким образом писатели и журналисты могут помочь ученым, не обладая соответствующими знаниями.

— Понимаешь, старик, ученые зарылись в свои специальные отрасли, а сейчас нужны большие идеи. Так что сами физики обращаются за помощью к фантастам.

Некоторое время М. ходил озабоченный, спасал науку.

С историей накоротке

1. «Вы и убили-с...»

Все знают, как во время показательной встречи с английскими студентами в мае 1954 года на вопрос об отношении к ждановскому постановлению 1946 года его герои ответили по-разному. Зощенко сказал, что не согласился и писал об этом Сталину, а Ахматова, — что считает постановление правильным. (Зощенко потом острил: «Эх! — обошла меня старуха!.. Столько лет шли ноздря в ноздрию!...») Но никогда не упоминается, кто именно задал роковой вопрос, хотя Ахматову это заинтересовало еще до того, как он прозвучал. («Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который спросит?... но угадать не могу...», — рассказывала она Чуковской.)

Мне случайно удалось вычислить имя неведомого вопрошателя.

От одной очаровательной английской коллеги я узнал, что ее бывший муж, известный историк, входил в состав той студенческой делегации, причем был в ней единственным русистом. Предположив, что ему-то и принадлежал провокационный вопрос, я узнал его адрес у другой английской коллеги и, набравшись наглости, написал ему с просьбой рассказать, как все было, и, если нетрудно, прислать то, что у него наверняка опубликовано на эту тему.

Ответ пришел по электронной почте — вежливо-уклончивый. Да, это был он, и он даже потом напечатал что-то в университетской газете, однако экземпляр затерялся, если найдет, сообщит. Больше писем от него не было.

Бросалась в глаза ирония сюжета с историком, которому довелось-таки сыграть роль в истории и который легкомысленно упускал возможность занести ее в исторические скрижали. Не исключено, однако, что сыгранной роли он стыдился и был рад вытеснить ее из памяти — своей, а заодно и человечества.

Хорош и я. Ответа не распечатал, выходных данных многотиражки не списал, а электронную почту у меня вскоре сменили, так что ценный документ стерся и из компьютерной памяти — вроде бы без особых к тому фрейдистских причин, а так, по лени, нелюбопытству и общей брэнности всего земного, в том числе электронного. Впрочем, кроме самих героев и гонителей, все живы: вопрошатель, обе коллеги и аз грешный. Так что история продолжается, и фамилию пока вытесняю.

2. Чапаев и пустота

Безымянный участник реальных событий, каким хочет остаться англичанин, — лакомый кусок для исторических романистов, виртуальный Гринев.

В воспоминаниях А. Л. Пастернака есть эпизод из берлинской жизни шестнадцатилетнего Бориса (1906 г.):

«[Б]рат... страдал от предполагаемого к нам презрения — которого, кстати, сказать, вовсе и не было — и снисходящей терпимости к неполноценным чужакам... Он поставил себе... задачей добиться полной идентичности с немцами, с... особым жаргоном... истых берлинцев... На наше ухо... он добился очень многого....

Раннее утро... Приблизившийся к нам мальчик... насвистывал что-то бодрое и веселое... Мой брат... машинально... но сверху вниз, как старший, похвалил — истинно берлинским манером...: «Здорово ты свистишь!», но покровительственный тон старшего... учуянный мальчишкой, или не совсем берлинский лад и акцент, и *желание изобразить берлинца*, вызвали в этом гамэне Берлина реакцию неожиданную и быструю: среди общей тишины особенно вызывающе резко и кратко прозвучало: «Besser wie du!» [что-то вроде «Получше тваво!», т. е., не совсем правильно по-немецки, но типично по-берлински — А. Ж..]... Прежде чем брат пришел в себя, гордого победой мальчишки и след простыл....

Полное затмение солнца было бы все же светлее, чем внезапно погрузившееся для брата в полный мрак солнечное утро. Он смолчал и молча шагал дальше... С этого утра брат — как с ним всегда в таких случаях бывало — сразу перестал «берлинничать»».

Очередное свидетельство настойчивого пастернаковского ассимиляционизма (этнического, политического, религиозного, литературного) любопытно тем, что открывает богатые сюжетные перспективы. Хотя брат-мемуарист — и тоже ассимилянт — старательно обходит еврейские обертоны эпизода, в свете последующей истории немецкого антисемитизма они напрашиваются. Если же учесть, что родители и сестры А. Л. и Б. Л. после революции уехали в Германию, откуда были вынуждены эмигрировать еще раз, в Англию, то анонимная фигура берлинского гамэна обретает неодолимую притягательность желанной лакуны. Какой простор для повествовательных эффектов!

Гамэн моложе Пастернака и, значит, Гитлера (р. 1889) на несколько лет, но явно успевает на Первую мировую, сближается там с будущим фюрером, в 20-е годы встречается с семейством Л. О. Пастернака и с гостящими Евгенией Владимировной и маленьким Женей, ухаживает за ней (некий немецкий поклонник фигурирует в переписке Б. Л. и Е. В.), затем, уже нацистским генералом и членом нераскрытого антигитлеровского заговора, оккупирует Одессу, где обнаруживает происхождение всего клана Пастернаков от романа Пушкина с кишиневской «Ревеккой», а также собственные семитские корни; после войны он à la Евграф способствует публикации «Доктора Живаго»,

съемкам фильма и присуждению Нобелевки...

Или наоборот,

он попадает на Восточном фронте в плен, встречается в лагере с Ариадной Эфрон (Ольгой Ивинской? Варламом Шаламовым?), которая читает ему письма Пастернака, когда внезапно его вызывает к себе Сталин, задумавший наладить через него контакт с Гитлером, и они говорят о Гёте, Пастернаке, Мандельштаме и смысле жизни; наступает оттепель, потом нобелевская травля, берлинец уже из ФРГ приезжает в Переделкино и спустя полстолетия происходит, наконец, настоящее знакомство и узнавание, а двумя годами позже, на похоронах у трех сосен в Переделкине, немец декламирует пастернаковский перевод из Рильке...

Эта вальтерскоттовская техника в принципе применима и к пожелавшему остаться неизвестным погубителю Зощенко. Кстати, к английским студентам можно как-нибудь подключить все того же берлинца, скажем, в качестве руководителя их делегации — кембриджского профессора сравнительного литературоведения и заодно агента Интеллидженс сервис.

... Скупая правда интересней, да и нужнее людям, но сложное понятней им. Коллективная па-

мать не терпит рядом с Чапаевыми пустоты — разве что с большой буквы.

Чудеса кибернетики

В эпоху бури и натиска конца 50-х — начала 60-х годов от кибернетики ждали всех возможных и невозможных чудес. Повинны в этом были не столько математики, сколько журналистская и гуманитарная общественность, раздувавшая вокруг кибернетики научно-фантастический бум.

Как-то раз на публичном семинаре одному из отцов-покровителей математической лингвистики, члену-корреспонденту Академии Наук А. А. Маркову (сыну великого Маркова — «сыну цепей»), задали вопрос о возможности передачи мыслей на расстояние. Марков, высокий, седой, с холеным лицом и язвительными складками у рта, весь просиял, расхаживая по сцене своей нескладной (хромающей?) походкой, стал говорить в характерном для математиков празднично-издевательском ключе:

— Ну что же, если у вас появилась некоторая мысль, и вы хотели бы передать ее на определенное расстояние, то я бы рекомендовал поступить следующим образом. Надо взять лист бумаги, изложить на нем имеющуюся мысль и доставить этот лист в заданную точку. Если адресат правильно поймет прочитанное, то можно будет утверждать, что передача данной мысли на указанное расстояние состоялась.

Сырье für uns

Как-то Юра, с пренебрежением относившийся к моде вообще и собственному туалету в частности, решил укрепить свой гардероб покупкой двух различных костюмов. За советом он обратился ко мне. Единственное, что я мог сказать ему с определенностью, это что товар должен быть импортный. Через несколько дней, объездив ряд магазинов, он говорит:

— Ну что ж, я могу считать, что приобрел некоторый опыт. Я уже умею отличить советскую продукцию от импортной. Советский товар, он, что ли, сравнительно недалеко ушел от сырья, в нем сырье, так сказать, доступно непосредственному наблюдению, в нем сырье как-то прямо видно, *сырье видно*.

Автоматы и жизнь

Так назывался исторический доклад академика Колмогорова в начале 60-х годов, открывший, наконец, широкую дорогу кибернетике. Но мы истории не пишем..

У моего знаменитого соавтора Мельчука было тяжелое детство — советская власть, война, мачеха и вообще еврейское счастье. Игорь «управлялся». Свою сестру и себя он одно время кормил, за еду отлавливая мух в столовке, где нехватало липучек. Как и во всем, он достиг в этом машинного

совершенства и мог поймать муху одной левой не глядя.

К моменту моей второй женитьбы (1973 г.) наша совместная работа над моделированием семантики была в разгаре. В качестве младшей коллеги Таня относилась к Мельчуку с пиететом и предвкусывала домашнее знакомство (мы работали в основном у меня). А в качестве энергичной хозяйки она приняла практические меры — обила дверь отошедшего к ней кабинета войлоком и кожей, чтобы «громкий, но противный» голос Мельчука доносился туда приглушенным. Таня была, конечно, в курсе мельчуковской мифологии, включая охоту на мух.

Как-то раз, проходя через гостиную, где мы работали, Таня привычно оглядела ее в поисках не порядка, обнаружила его и брезгливо констатировала: «Муха!»

— Слава Богу, муху есть кому отловить, — сказал я, гордясь причастностью к гению, великому и в малом.

Игорь на секунду поднял глаза, хватательно выбросил левую руку и... ничего не поймал. Таня посмотрела на меня с недоумением. Игорь, не глядя, повторил свой пасс — и опять безрезультатно.

— Как же это? — растерянно сказала Таня. Культ рушился на глазах.

— Игорь, ты что? — забеспокоился я. — Ты что меня подводишь?! Я, может, под твою славу женился...

Он оторвал, наконец, взгляд от бумаги, всмотрелся, приготовил было руку, но потом безразлично отмахнулся и опять вернулся к работе.

— А-а, это моль..

— Так тем более, она же медленнее.

— Вот именно. А у меня автомат.

Видно, этой моли суждено было еще пожить. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись, очарованье...

...Интересно, сохранилась ли у теперешних владельцев квартиры противомельчуковская обивка? А также буква **И** перед унитазом, выложенная белым кафелем по черному в честь Игоря — любителя уборнографического юмора? Если нет, пусть вызовом глобальной автоматизации останется это memento о медленной моли.

О МЕЛЬЧУКЕ

Юбилейные воспоминания — род прижизненно-го некролога*. Впрочем, в нашем случае подобный жанр имеет определенные преимущества, ибо речь в сущности пойдет о «другой жизни», чуть ли не о предыдущей инкарнации, о том, что умерло и живет лишь в памяти. Здесь шумят чужие города, и поминать про Китеж, про битвы, где вместе

* Очерк был написан к 50-летию Мельчука (1982 г.) — во времена глухой эмиграции, когда казалось, что железный занавес сомкнулся за нами навсегда.

рубились они, и про прустово ложе нашего прошлого стоит разве с тем, чтобы поэта в нем законопатить. А уж там вырвется ли он, подобно дыму, из дыр эпохи роковой и т. д., — не нам судить. Все это было давно и неправда, и, как говорится, кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались перекуды, а нас на свете нет. Итак, несколько штрихов и эпизодов в глубоко прошедшем времени, в *plus-que-perdu*, из жизни человека, который был *a legend in his own time*.

За безупречно украинским «Игорь Мельчук» скрывался огненно-рыжий еврей Иегошуа (т. е., Иисус, как он с гордостью пояснял), похожий на Романа Якобсона и Вуди Аллена. Он в буквальном смысле слова не мог молчать и пребывать в неподвижности; отсюда, наверно, лингвистика и походы. На заре туманной юности он был положительным героем стенгазеты филфака «Комсомолия» («Человек, Который Знает 10 Языков, 100 песен и 1000 анекдотов»). О его научной славе распространяться не буду, но когда «мельчуки» шли в поход («Надо пройти!»), Игорь мог несколько раз в течение одного воскресенья встретить в лесу знакомых — отдельных лиц или целое туристское кодро. С ним все хотели быть, говорить, быть им замечены, взяты с собой. Однажды в поход явилось 108 человек, с детьми и собаками.

Тогда была популярна какая-то американская социо-психологическая анкета, включавшая вопрос: «Помогаете ли вы старушкам на улице?» Так вот, однажды наша очередная встреча для совмес-

тной работы сорвалась из-за того, что он взялся вызвать скорую помощь старушке, кем-то подобранной на улице и оставленной у него на руках. Скорая не приезжала, старушку нельзя было бросить...

Еврейское счастье преследовало его самого и его знакомых, и его долг был «управиться». Когда одного его приятеля (отнюдь не ближайшего друга) сбила машина, оставив на дороге практически в виде груды разрозненных костей, не кто иной, как Мельчук сделал все, что было нужно, чтобы собрать его по частям и поставить обратно на ноги. Помощь какого-то совершенно незаменимого и недоступного хирурга он обеспечил, явившись к нему (после ста безрезультатных звонков) на дом, где застал его в залитой водой квартире (лопнули трубы), и вычерпав вместе с ним всю воду. Я уж не говорю о бесчисленных лингвистах, которым он совершенно бескорыстно — и напрасно, учитывая их серость и неблагодарность, — помогал в работе, подавая идеи, читая рукописи и отвечая на вопросы о смысле жизни и науки. Наверно, треть отпущенного ему времени он провел в коридорах Института Языкознания, остановленный за пуговицу по дороге к действительно важным делам.

Как мог такой человек быть не только любим, но и ненавидим?

Однажды он шумно разглагольствовал в коридоре Института (говорить тихо он просто не мог). Пожилая дама выглянула

из своего сектора и сделала ему замечание, он стал возражать, она сказала: «У вас, Игорь, ни стыда, ни срама нет!» — «Ну, насчет стыда не знаю, а срам точно есть. Показать?»

Еще совсем молодой Мельчук делает доклад в Институте, проповедует в храме. Почтенная старая лингвистка, профессор, доктор наук, что-то спрашивает. «Очень, очень неглупый вопрос, — удивленно констатирует Мельчук. — Сейчас отвечу».

Как-то раз он пожаловался мне, что один видный коллега, которого он, Игорь, по своему уважает и даже просил прочесть рукопись своей книги, перестал здороваться. Из расспросов выяснилось, что тот книгу прочел, но от замечаний воздержался, сказав, что все это ему не близко, он германист, компаративист и в тонкостях моделирования не разбирается. «Да нет, — сказал Мельчук, — мне как раз интересно мнение среднего лингвиста».

Разумеется, такой стиль поведения — да еще в сочетании с научным новаторством и политическим диссидентством — не мог привести ни к чему хорошему. Мельчук был постепенно отторгнут системой, как инородное тело, несмотря на огромные заслуги, популярность и готовность идти на компромиссы. Один забавный пример. Был период, когда он — неофициально и бесплатно — руководил договорной работой

лаборатории, где реализовывалась (на военные деньги) модель «Смысл — Текст». Ректор института, однако, так ненавидела Мельчука и так боялась то ли его дурного влияния, то ли ответственности (это было после подписантства 1968 г.), что запретила ему физически бывать в лаборатории. Она взяла честное слово с нашего шефа, что «ноги Мельчука не будет в Институте». Запрет (напоминающий сталинское запрещение Ворошилову, как английскому шпиону, бывать на Политбюро) соблюдался.

А потом, конечно, он устал от компромиссов, взбунтовался. Последовало письмо в «Нью-Йорк Таймс» в защиту Сахарова, часовое, вдохновенное и свободное выступление на языковедческой конференции в ИЯ (1975?) с лейтмотивом: «Давайте поговорим о нашей науке так, как будто мы не на конференции, где много посторонних (кивок в сторону начальства), а где-то на воле», и наконец, отъезд, то есть, смерть, воскресение, реинкарнация, как угодно...

Был и Гефсиманский сад. Из толпы друзей, учеников, поклонников, накормленных, излеченных, воскрешенных, в общем, никто не восстал против его увольнения из ИЯ «по профнепригодности». Да и заключительный аккорд той жизни был вполне в духе легенды. Когда он в последний раз махал друзьям со знаменитой галерейки в Шереметьеве, случившийся рядом совершенно посторонний провожатант воскликнул: «Позвольте, но ведь это Мельчук?! Разве он уезжает?»

На моем горизонте Мельчук впервые появился в пятьдесят втором году. Я стал думать о поступлении на филфак, и мама сказала, что позовет «своего рыженького», который одновременно блестяще учится на филфаке МГУ и у нее в Музучилище (в Мерзляковском переулке), хотя времени для занятий у него почти нет.

Он провел у нас вечер, потешая всех рассказами об университетской жизни, в частности о том, как Петька Палиевский (будущий русит, замдиректора Института Мировой Литературы) на экзамене никак не мог удовлетворить преподавательницу марксизма-ленинизма, которая перебивала его громовым: «Неверно!» каждый раз, как он пропускал хотя бы одно слово в сакраментальной фразе из «Краткого курса»: «В 1934 году, после злодейского и подлого убийства Сергея Мироновича Кирова...»

Знание этого источника требовалось тогда (при жизни его автора — лучшего друга студентов) безупречное, и Игорь пронес его через всю жизнь. Когда в 1967 г. «Вопросы Литературы» напечатали нашу со Щегловым статью (в дискуссии о кибернетике и литературоведении), Мельчук, услышав, что этому способствовал редактор отдела теории некто Ломинадзе, вскричал: «Морально-политический урод?» — «Почему? Он симпатичный дядька». Оказывается, в «Кратком курсе» есть упоминание о «моральных уродах типа Шацкого и Ломинадзе», причем последний — отец нашего редактора. Забавно, что знакомство с Ломинадзе,

приведшее к публикации, началось тоже с соответствующей цитаты. Обратиться к нему посоветовал В. В. Иванов, сказав: «Есть у них один чудесный грузин...»

Провожая Игоря в тот первый вечер к метро, я задал ему неизбежный юношеский вопрос о счастье. Не колеблясь ни секунды, он ответил:

— Счастье это знать, что нужно делать, и делать это. Например, для меня счастье в том, чтобы описывать суффиксы испанских отглагольных существительных -ción и -miento.

В дальнейшем смысл жизни, счастье и единственная разумная цель лингвистики состояли в том, чтобы строить алгоритмы машинного перевода, в том, чтобы строить не алгоритмы, а исчисления, в создании модели «Смысл — Текст»... Все прочее каждый раз объявлялось ненужным и даже вредным. Как сказано у Шкловского: «Я верен любви — люблю другую».

Последующее десятилетие Игорь был для меня недостижимым научным кумиром, а потом еще десять лет мы проработали вместе над нашим «словарем нового типа». Несколько выдержек из разговоров Гёте с Эккерманом.

— Игорь, как бы не забыть эту мысль. Давай запишем.

— Не надо. То, что можно забыть, не стоит запоминать.

К лженаучным занятиям он относил всякого рода статистику, веруя исключительно в работающие дискретные модели.

- Только лентяи могут заниматься статистикой.
- Как это лентяи? Подумай, сколько труда и времени уходит на все эти подсчеты.
- Вот-вот, думать лень, они и считают.

Что касается создания работающих систем, то оно прекрасно шло на бумаге, но ввиду особенностей русской жизни все не получало технического воплощения. Одно время нашей любимой шуткой было называть себя братьями Ползуновыми. Была ли она пророческой? Сегодня братья имеют возможность наблюдать, как медленно, но верно, их паровоз изобретается американскими Уаттами и Стеффенсонами.

Разумеется, сказать, что не осуществлялось совсем ничего, было бы неверно. Однажды в декабре, то есть, в конце финансового года, на оставшиеся неизрасходованными институтские деньги я был командирован в Тбилиси. По рекомендации Игоря я познакомился с Гоги Чикоидзе и все время проводил с ним и его друзьями. Но представители другой ветви грузинского машинного перевода во главе с Гоги Махароблидзе тоже пожелали меня увидеть, поскольку я был чем-то вроде эмиссара Мельчука, которого они очень чтили.

В назначенное время я зашел к Махароблидзе в Вычислительный Центр. В просторной комнате сидела лаборантка; Махароблидзе не было. На стене висел аккуратный список: 31 синтаксическое

отношение Мельчука. Я решил дождаться Махароблидзе — девушка сказала, что он ненадолго спустился в столярную мастерскую ВЦ. Она рассказала также, что работает недавно, только два года. За это время она изучила алгоритм русского синтаксического анализа Мельчука и занимается его проверкой — вручную прогнала 60 фраз. Работа интересная, алгоритм хороший, она не жалуется. В общем, стало ясно, что если машина еще не моделирует человека, то человек уже вполне успешно моделирует машину.

А вскоре пришел Махароблидзе, огромный человек, с огромным носом, огромными глазами и огромными губами. В руках он держал какую-то полочку, изготовленную по его заказу для домашних нужд. Он пригласил меня к себе в гости и угостил на славу, поднимая бесконечные тосты за Мельчука, за московскую лингвистику, за машинный перевод и вообще за прогресс науки.

Вера в этот прогресс была основным кредо Мельчука. Философию он считал ерундой, но делал это, конечно, с определенных философских позиций, исповедуя крайний и вполне оптимистический рационализм. (Недаром, одна знакомая сказала про него, что он, хотя и анти-, но настоящий ленинец.) Философия, религия, всякие там гуманитарные печки-лавочки — безобидная, а чаще вредная болтовня, ведущая в конечном счете к

тоталитаризму. Поэтики никакой нет и быть не может — ну разве что Алику (то есть, мне), раз он такой умный, а главное, «свой», можно разрешить на досуге это странное времяпровождение, чтобы ему было хорошо и он лучше занимался делом, то есть, лингвистикой.

[В дальнейшем поэтিকা лишилась и этого сомнительного оправдания, ибо я переключился на нее full-time. Призывы Мельчука вернуться от этой ерунды к лингвистике и мои извиняющиеся отказы сделались постоянным рефреном наших контактов в эмиграции. Однажды в Лос-Анджелесе, в гостях у особо скучных коллег, когда после обеда нужно было еще, перейдя в гостиную, вести светские беседы за коньяком и ликерами, Мельчук ужасно томился и все свое раздражение обрушил на меня. Он потребовал от меня объяснений, почему я бросил лингвистику. Чтобы снять нависшее напряжение и развлечь публику, я решил опробовать один давно просившийся ответ на этот вопрос.

В своем расщеплении языкового ядра мы в годы кибернетических бури и натиска ориентировались на великий пример гейдельбергских физиков 20-х годов, прославленный в как раз тогда вышедшей книге Д. Данина «Неизбежность странного мира» (1961 г.). Среди них мое воображение поразил Луи де Бройль — молодой

аристократ, гурман, донжуан, любитель верховой езды и автомобильных гонок и автор оригинальной статьи о природе света, проложившей путь к важному компромиссу между волновой и корпускулярной теориями. Разрабатывать эту находку во всей полноте и деталях он, однако, предоставил другим (Шредингеру и кому-то еще), а сам вернулся к скачкам и женщинам и вообще забросил физику. Прочитав об этом у Данина, я узнал во французском герцоге свой идеал и тоже возмечтал написать чего-нибудь эдакое, да и оставить бокал недопитым. И, значит, чем удачнее были наши лексические функции, тем эффектнее было ими ограничиться.

Игорь слушал с нарастающим отвращением. «Неужели это правда? Какая гадость, если это действительно так!» Я ответил что-то в том смысле, что все дискурс, и этот нарратив в том числе. Мельчук же продолжал твердить о гадости.

Чистым нарративом, кстати, оказался и романтический образ Луи де Бройля à la Рембо, не помню уже по чьей вине — моей или Данина. Реальный Луи Виктор де Бролье получил Нобелевскую премию, прожил долгую научную жизнь, написал классические труды по физике и вообще явил собою скорее прообраз Мельчука, нежели кого другого.

Что касается меня, то свой де-бройлевский проект я осуществил в полной мере.

Наезжая в Россию и видя промышленный расцвет апресьяновского лексического холдинга, я чувствую себя Остапом Бендером, вернувшимся в Черноморск миллионером и наблюдающим бурное функционирование *Гособъединения Рога и Копыта* («Вот навалился класс-гегемон — даже мою легкомысленную идею использовал для своих целей»), и вновь поражаюсь объяснительной силе любимого романа.]

Возвращаясь к Мельчуку 70-х годов и его взглядам на науку, лингвистика тоже хороша не всякая. Так, например, какая может быть польза от занятий (талантливое, милое, но странное) Арона Долгопольского ностратикой — гипотезой о родстве языков мира? Зная Игоря и в духе моей роли маркиза Позы при нем («Алику можно»), я однажды предложил ему такую апологию ностратики.

На Земле высаживаются представители высшей, разумной цивилизации. Они быстро разочаровываются в человечестве и задумываются, не вывести ли его по-быстрому в расход. О моральном его лице говорить не приходится, но и научные достижения не могут перетянуть чашу весов. «Ну, что вы еще там открыли?», — спрашивают пришельцы. Люди предъявляют синхрофазотроны, генетические коды, лексические функции Мельчука и Жолковского и т. п., но все это мало впечатляет утомленных высшим образо-

ванием марсиан. И тут, когда все висит на волоске, вперед выталкивают Арончика, который совершенно завораживает пришельцев рассказом об общем корне слов *черный*, *кара-кум* и *куро-сиво*, а тем самым и о родстве индоевропейских, урало-алтайских и дальневосточных языков. «Ну, если они до этого додумались, — качают головами марсиане, — то, пожалуй их можно оставить на развод». Таким образом беспредметные, казалось бы, занятия Долгопольского приносят ощутимую пользу: спасают человечество, в том числе многосемейного Мельчука с чадами и домочадцами.

Что и говорить, жизнь рационалиста в абсурдном мире тяжела, но иногда преданность прогрессу вдруг окупается. Помню, что когда он уезжал в эмиграцию (1977 г.), то ограничения и пошлины на вывоз книг, изданных до 1946 г., беспокоили его меньше всего: «Ну, что хорошего могло быть написано до 1946 года?!»

Нужны были поистине гротескные ситуации, чтобы поставить его в тупик перед противоречивостью собственных убеждений.

Как-то работая у меня, мы сделали перерыв, то есть, я лег на диван и поставил «Итальянский концерт» Баха в исполнении Глена Гульда, а Игорь занялся переписыванием набело. Он не любил работать при музыке, но все же слушал с удоволь-

ствием. Во время второй части он, не отрывая глаз от бумаги, сказал:

— Подумать только, что это было сочинено больше двухсот лет назад, в XVIII веке! Я подыграл ему:

— Ну да, когда не было не только квантовой механики и булевой алгебры, но даже и порядочной теории электричества.

— Вот-вот, — подхватил он, — и ведь это не какие-нибудь там эмоции, а чисто интеллектуальная музыка, логика, разум!..

— Просто непостижимо, как эта обезьяна Бах, фактически еще не слезшая с дерева и к тому же вместо принципа моделирования верившая в дурацкого бога, могла написать столь разумную вещь, приемлемую для тебя! Ты это имеешь в виду?

— Логически рассуждая, да! — Он pokrutyл головой. — Хмырь болотный, как ты все это придумываешь? Я вижу, ты уже отдохнул, давай работать.

Наверно, именно в противоречии между смехотворно узкими рационалистическими прецептами Мельчука и его страстной, разнообразно одаренной натурой и заключался основной секрет его обаяния. Конечной целью и оправданием «правильных» научных занятий объявлялось создание такого общества, в котором все решения принимают машины, и, следовательно, безопасность и счастье его, Мельчука, детей не будут под угрозой. Гарантировано же это будет тем, что машины

создаст он сам. (Возражение, что технический прогресс, наоборот, ведет к конструированию foolproof machines, доступных любому идиоту, террористу и т. д., он с раздражением отметал.) Отсюда недалеко до другой его излюбленной идеи. «Человек это разум. Все остальное в нем от животного, все эти чувства, желания, всякое там подсознательное, искусство и проч. Человечество давно уже было бы счастливо, если бы все руководствовались разумом — как я».

Самое смешное, что в действительности он руководствовался не разумом, а тысячью желаний и потребностей, диктуемых всем его существом. В результате, он вечно куда-то спешил, опаздывал, писал рефераты в вагоне метро, разрывался на части между разными соавторами, больными родственниками, детьми, изданиями, походами, городами, — в буквальном смысле слова жил под огромным напряжением, так что у него, как у какого-нибудь прибора, от перегрузок все время выходила из строя то одна, то другая деталь: ломалась рука или нога, пропадал сон, начинали мучить фурункулы, не поворачивалась голова, разрушались зубы и т. д.

Очередной поломкой механизма стала затяжная ангина, которой он пренебрегал, бегая по делам, так что она привела к потере обоняния и вкуса. Тем не менее, он продолжал работать, только просил приехать к нему. За работой разговор, естественно, опять зашел о том, что человек

это разум. Потом идем ужинать, садимся за стол, Игорь говорит:

— Надо же, все так аппетитно выглядит, а я ничего не чувствую, ни запаха, ни вкуса.

Я говорю:

— Tu l'as voulu: колено у тебя из нейлона, в локте железо, вкус и обоняние потеряны, ты постепенно превращаешься в чистый разум. Чем ты недоволен? Ешь и познавай, что это нужно тебе для продолжения работы над созданием цивилизации мыслящих машин.

Однако, эта программа его явно не устроила. Он усиленно лечился антибиотиками и, в конце концов, вернул себе утраченные способности.

Помню, однако, что я с определенным удовлетворением наблюдал эту наглядную критику чистого разума. Здесь, конечно, и крылась привлекательность Мельчука. Нестерпимый блеск его научных и человеческих достоинств смягчался как очевидной наивностью его философских установок, так и теми поломками, которые то и дело выводили из строя эту совершенную машину. Чтобы на солнце можно было смотреть, на нем должны быть пятна.

Смягчался его героический облик и стилем его остроумия — что называется, уборнографическим. (У него было прозвище «доктор говнорис кауза» — настоящим доктором филологии он в России так и

не стал.) В сколь угодно дамском обществе он из любой точки разговора находил кратчайший путь к унитазу («веритас ин унитаз»). А с некоторых пор к этому добавились и сексуальные заявления самого лихого свойства, полные технических подробностей.

Однажды, во время лыжного похода в Хибинах (апрель 1966 г.) Игорь пустился в отчаянную похвальбу на этот счет в присутствии некой Наташи, математика и, по словам самого Мельчука, «знойной женщины». Тут, однако, номер со стыдом и срамом не прошел. «Слушай, Игорек, — сказала Наташа, утрированно блатным жестом отбрасывая сигарету и растирая ее ногой на снегу, — чего ты кипятишься? Пойдем, проверим». Она мотнула головой в сторону леса. Мельчук, как все сверхкомпенсанта, человек глубоко застенчивый, тут же замолчал, покраснел и совершенно сник.

Одним из литературных мечтаний Мельчука было написать подлинную историю советской лингвистики. (Недавно он опубликовал, как я понимаю, одну из ее глав — воспоминания о своем учителе А. А. Реформатском.) Игорь буквально смаковал различные анекдоты из жизни лингвистов. Как-то раз он пересказал мне следующий диалог между создателем аппликативной грамматики Шаумяном и его учеником Е. Л. Гинзбургом.

Гинзбург: Себастиан Константинович, я полагаю, что ваша модель потянет не меньше, как на аксиомы Риманова пространства.

Шаумян (удовлетворенно покручивая ус): Да-а, а вы мне не напомните, в чем... э-э.. состоят аксиомы Риманова пространства, а то я что-то не вполне... э-э... удерживаю в памяти...

Гинзбург: Собственно... я... э-э... затрудняюсь, Себастиан Константинович.

Р. С. Игорь, с пятидесятилетием тебя. Прими и мою скромную главу и не обессудь, если что не так.

Убивает много

Когда в середине 50-х годов железный занавес слегка приоткрылся для контактов с иностранцами, советский человек стал (при всем своем скрытом, а то и явном расизме) смотреть на негра как на представителя западной цивилизации и был счастлив, если тот дарил ему шариковую ручку со стриптизом и даже без. Помню, как одна знакомая хвасталась, что рассчитывает достать дубленку у спекулянта, связанного со студентом-африканцем, который часто ездит в Европу и привозит дефицитные вещи. «Понятно, — сказал один из наших остряков. — Лиловый негр вам продает манто».

Занимаясь в 60-е годы языком сомали с сомалийскими студентами, я тоже как-то забывал, что

передо мной, в сущности, бесписьменные недавние дикари, что у них кровная месть и что их национальный герой «Бешеный мулла» Ина Абдулла Хасан перебил (в 1920-м году) больше своих соотечественников, отказывавшихся его поддерживать, чем англичан, против которых он поднял восстание. Еще бы, ведь нейлоновую сорочку, которая легко стирается и быстро высыхает уже выглаженной (чудо бытовой химии 60-х годов), я впервые увидел у сомалийца Махмуда Дункаля. После урока (я был у него в общежитии МГУ) он собирался в город. Когда он снял ее в ванной с плечиков, на которых она сохла, и стал надевать, я только рот раскрыл.

Поэтому другое, тоже в своем роде первое, впечатление было не менее сильным. Наши занятия начались с того, что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит «ядовитое дерево», а также «герой». Я сказал, что не вижу этимологической связи.

— Ну как же, — пояснил Дункаль, — «убивает много».

Надо сказать, что по линии сорочек мой первый учитель вовсе не выделялся среди своих соотечественников. Настоящим франтом среди них был высокий, аристократичный, красивый Ахмед Абди Хаши по прозвищу Хашаре («насекомое» — так его прозвали еще в школе за крайнюю худобу), одевавшийся исключительно в Лондоне; перед моими глазами до сих пор стоит его тонкой вязки зеленый мохеровый пуловер. В дальнейшем я ра-

ботал с ним на Радио, был в довольно приятельских отношениях, но никогда не мог отделаться от ощущения собственной неполноценности рядом с этим принцем.

Ахмед занимал высокое положение в организации сомалийских студентов, обучающихся в СССР, имел сведения об их жизни в других городах и часто рассказывал мне о ненависти, с которой приходилось сталкиваться африканцам. Конфликты происходили в основном на классической почве секса, ибо советские девушки по тем или иным причинам разделяли преклонение перед иностранцами вообще и неграми в частности.

Однажды Ахмед должен был поехать в Баку, чтобы от имени африканского землячества участвовать в расследовании убийства двух сомалийцев. Чтобы отвести от нашей страны обвинение в линчевании негров, посягнувших на белую женщину, я стал говорить что-то в том смысле, что кавказцы дикий народ, ходят с ножами и готовы зарезать кого угодно, не только негра.

— Что ты мне объясняешь, — сказал Ахмед, сверкая зубами, — я сам могу резать.

В дальнейшем, как мне говорили, Ахмед был одно время послом Сомали в ГДР, а затем занимал видное положение в сомалийском правительстве. Сравнительно недавно способность сомалийцев «резать» и иными способами «убивать много», увы, подтвердилась самым наглядным образом на глазах у всего мира, убедительно доказав, что они ничем не хуже немцев, эфиопов, хуту, тутси, кхме-

ров, сербов, албанцев, чеченцев, русских и других представителей цивилизованного человечества.

Что делать

В заочной аспирантуре Института восточных языков при МГУ (1963-1967) я проходил только один курс — семинар по основам марксизма-ленинизма. Избранный мной язык сомали преподавать было некому, и его изучение было пущено на самотек, но о том, чтобы обойтись без марксизма в то время, да еще в институте, готовившем выездных переводчиков и шпионов, нельзя было и помыслить. Впрочем, преподавался этот предмет спустя рукава. Семинар вел не старый, но уже облысевший от философских занятий бледный еврей (фамилии не помню). Одного взгляда на меня ему было достаточно, чтобы полностью освободить меня от посещения — с единственным условием: в конце семестра (года?) я должен был подать реферат на какую-нибудь философскую тему, связанную с моей, аспиранта-заочника, непосредственной научной практикой.

Я никогда не разделял принятого среди моих друзей-филологов мнения, будто марксизм, ввиду своей ненаучности, логической противоречивости и лживой догматичности, не поддается изучению. Я полагал и полагаю, что, будучи тщательно разработанным словесным построением, своего рода атеистической мифологией, то есть, выра-

жаясь по-тартуски, вторичной моделирующей системой, марксизм, в том числе официальный советский, являет законный объект для филологического освоения. Я всегда имел по марксизму отличные оценки и благодарен советской системе образования за заложенные таким образом основы, по сей день позволяющие мне поддерживать непринужденные беседы с американскими коллегами на темы деконструкции и иных постмодерных веяний гуманитарной мысли.

В качестве профессионального материала для реферата я избрал широко дебатировавшуюся в наших структурных кругах теорию лингвистической относительности, известную также под названием гипотезы Сэпира-Уорфа. В советском языкознании она постоянно подвергалась критике за релятивизм, подрыв категории объективной истины, а то и сомнительное, американско-империалистическое, происхождение ее авторов, конкретные отдельные заслуги которых в описании индейских языков, впрочем, признавались — со сдержанным одобрением. В реферате наверняка можно было ограничиться констатацией такого положения дел, слегка пожурив буржуазных специалистов Эдварда Сэпира и Бенджамина Уорфа за философскую недостаточность. Но интеллектуальное честолюбие и тайный диссидентский запал толкали меня на большее.

Начал я с постановки проблемы: как получается, что выдающиеся умы человечества, совершающие фундаментальные открытия в различных об-

ластях знания, — Павлов, Эйнштейн, Бор, Сэпир и другие, — оказываются неспособны постичь очевидные философские истины марксистского учения, которое, по словам Ленина, «всесильно, ибо оно верно»? Так сказать, чего им неясно, если башка у них вроде неплохо варит? За ответом я предлагал обратиться к классической работе Ленина «Что делать?».

Центральный тезис книги состоит в том, что коммунистическая идеология не может быть выработана пролетариатом самостоятельно, стихийно, путем естественного развития из задач экономической борьбы (как то утверждают западные социал-демократы либерального толка и их российские последователи). Она должна быть внесена в сознание рабочего класса извне, силами передовых идеологов-марксистов, отражающих подлинные, но, увы, не всегда отчетливо осознаваемые интересы этого класса. Для чего и требуется создание партии нового типа — партии профессиональных революционеров.

Далее мат ставился в три хода. Если пролетариат, то есть класс, в котором общественные формы его существования (массовый индустриальный труд, отчужденность от собственности и т.д.) закладывают начатки коммунистического сознания, а перспектива прихода к власти в результате социалистической революции развивает непосредственную заинтересованность в такой идеологии, — если даже пролетариат оказывается ей стихийно чужд, то чего же ждать от буржуазных

ученых, привыкших к индивидуалистическим формам труда и накопления и не принадлежащих к будущему классу-гегемону?! Поскольку, таким образом, рассчитывать на переход Эйнштейна, Сэпира и других релятивистов на марксистские рельсы философски некорректно, постольку в порядок дня ставится принудительное, а в случае необходимости и насильственное, внедрение в их головы марксистской методологии. С помощью ряда лингвистических примеров из языка хопи (исследованного Уорфом) и из области машинного перевода с английского на русский (разрабатывавшегося автором реферата) наглядно демонстрировался переход от ошибочной, релятивистской трактовки языковых явлений к единственно верной, марксистской.

Все это было написано единым духом, без помарок, и принесло мне желанный зачет и понимающую улыбку преподавателя. К сожалению, текст реферата у меня не сохранился. Я одолжил его кому-то из младших коллег по Лаборатории машинного перевода, тот переписал его и подал от своего имени, но оригинал не вернул, а передал дальше. Что было делать? Я утешался тем, что мой вклад в марксизм пошел по рукам — внедрился в народное сознание.

Small little story

Наша с Мельчуком работа над моделью «Смысл — Текст» проходила под эгидой Лаборатории машин-

ного перевода. Непосредственным начальником и пестователем Лаборатории был В. Ю. Розенцвейг, но на общеинститутском уровне она находилась в ведении проректора по научной работе Г. В. Колшанского. Колшанский относился к нам с тщательно разыгрываемой двусмысленностью, готовый погреться в лучах возможной славы, но в случае чего, отмежеваться напрочь. В очередном годовом докладе он отметил наши ценные разработки, но тут же дал обратный ход и пропел характерным гаерским фальцетом: «Но модель-то какая? Модель-то ма-а-ленькая!!»

Эта история припомнилась мне четверть века спустя, в Беркли, на славистической конференции, посвященной 1000-летию крещения Руси. Я там делал доклад об архетипической подоплеке рассказа Толстого «После бала». Дискутант — автор огромной монографии о Толстом, мною уважительно процитированной, — остался моим докладом недоволен. Впрочем, закончил он в дипломатично-извиняющем ключе:

— What do you want from a small little story?! (букв. «Что вы хотите от крохотного малюсенького рассказика?!»)

Меня подмывало ответить что-нибудь бендеровское, вроде того, что профессоров славистики, исповедующих подобный количественный подход к литературе, надо публично разжаловать в аспиранты, прямо тут же, не дожидаясь конца заседания. Однако в то время я переживал стадию старательного усвоения американского *comme il*

faut и потому возражать не стал, вообще отказавшись от ответного слова.

Я долго колебался, назвать ли мне этого монументалиста по имени, но чувствую, что не могу молчать: Ричард Гастафсон (Gustafson).

Скромность

Летом 1966 года, после лодочного похода по Карельскому перешейку оказавшись проездом в Ленинграде, я набрался дерзости позвонить В. Я. Проппу, чей номер узнал из справочной книги в телефонной будке. Представившись его поклонником и последователем, я напросился на визит, каковой состоялся 15.VII. 1966 (о чем свидетельствует надпись его рукой на моем экземпляре «Морфологии сказки» издания 1928 года), очень ранним утром, — так он назначил.

Дверь открыл человек примерно моих лет в спортивной одежде. Коридор был завален туристским снаряжением — рюкзаками, спальными мешками и т. п. В глубине коридора стоял сам великий Пропп — невысокого роста, слегка сгорбленный, с большой головой и еще более непропорционально длинными руками. Этот гориллоподобный абрис поразил меня, как поразило и то, что он нисколько не ронял своего обладателя, скорее, наоборот, так сказать, à la Дарвин, удостоверял его статус специалиста по первобытному состоянию человечества. У Проппа был внушительный нос, большие ясные

глаза и тихий голос. Я попросил его сказать мне, когда уйти, он ответил, чтобы я не беспокоился, — я сам пойму.

С горящими глазами я стал объяснять Проппу, как его функции в сочетании с темами и приемами выразительности Эйзенштейна поведут к развитию кибернетической поэтики, а он в ответ сокрушенно говорил, что Леви-Стросс (прославивший его на Западе), «не понял, что такое «функция»», и опять навешивает ему сталинский ярлык «формализма»; что к нему часто обращаются математики и кибернетики, но что он во всем этом не разбирается и своим единственным долгом считает учить студентов аккуратно записывать и табулировать все варианты фольклорного текста.

— Вообще, — сказал он грустным монотонным голосом, — я жалею, что занимался всем этим. Вот мой сын — биолог. Он только что вернулся из Антарктиды. Он опускался на дно, видел морских звезд. Может быть, и мне посчастливилось бы сделать какое-нибудь открытие, — с шикарной скромностью заключил Пропп.

Дима Сегал, знавший Проппа более близко, рассказывал, как примерно в те же годы он вез его на такси в издательство «Наука» заключать договор на переиздание «Морфологии сказки» (книга вышла в 1969-м) и сказал ему, что вот, наконец, пробил его звездный час, и он может внести любые исправления, изменения, усовершенствования, включить дополнительные материалы (сохра-

нившиеся у него с 20-х годов!). Пропп помотал головой:

— Нельзя трогать, — сказал он. — Классика!

Ошибочные сочинения

Когда мы с Юрой Щегловым писали нашу первую совместную статью по поэтике («Вопросы литературы», 1967, № 1), мы обычно работали у него дома, в квартире на Каляевской, где он жил с отцом. Константин Андреевич, человек далекий от будней гуманитарной науки, как-то сказал:

— Вот вы стараетесь, пишете, а кто знает, может, спорить будут, скажут, неверно, ошибочно... А?

Юра ответил:

— Уверен, что скажут. Но дело в том, папа, что авторы так называемых спорных, ошибочных сочинений и сами редко заблуждаются на этот счет. Они заранее знают, что плоды их трудов окажутся ошибочными, и изо всех сил стараются написать как можно поошибочнее. Их беспокоит только одно — чтобы их ошибочное произведение увидело свет.

Юру очень забавляло слово «спорный» в значении «официально отвергнутый». Он повторял: «Спорная симфония, в ней много спорных тактов». Вспоминается знаменитый отзыв о Моцарте: «Слишком много нот!» (кажется, просвещенного монарха императора Иосифа II, композитора, иногда исполняемого по лос-анджелесскому радио).

Кофе потом

Во время Международного симпозиума по Машинному переводу в Ереване (весна 1967 г.) одним из почетных иностранных гостей был Дэвид Хейз. Он был, конечно, самой примечательной фигурой симпозиума — огромный, наверно, больше двух метров росту, в гигантских выпуклых очках и с голосом и манерой говорить, как у диктора *Voice of America in special English*. Феликс забавно передразнивал его смех.

Армяне ужасно ухаживали за ним и хвастались всем армянским — от специализированной машины для перевода «Гарни» до всяких армянских кушаний и обычаев. Как-то в перерыве между заседаниями в одной из комнат Вычислительного Центра во время перерыва сотрудницы угощали некоторых участников, в том числе Хейза, кофе. Был и Феликс, одно время живший в Ереване и работавший в ВЦ и теперь взявшийся переводить.

— А знаете, как делают настоящие армяне? — сказал кто-то из хозяев. — Армянин сначала затягивается сигаретой, затем выпивает чашечку кофе, а потом выпускает наружу дым!

— И только потом уже кофе, — закончил свой перевод Феликс.

Зоосемиотика-68

На Международной конференции по семиотике в Варшаве (август 1968 г.) участники иногда до смеш-

ного плохо понимали доклады друг друга. Вершиной этой неразберихи был доклад Пемброка (ГДР) по зоолингвистике.

Доклад ожидался с большим интересом. Еще перед приездом Пемброка говорили, что он просил встретить его на вокзале, так как он собирается привезти с собой живые экспонаты. В середине сцены, на доске докладчик развесил таблицы, которые потом часто менял. В левом углу стоял магнитофон с записями. Животных видно не было.

Полагая, что общие положения публике и так хорошо известны, Пемброк начал прямо с какой-то очень конкретной схемы, чуть ли не с модели синтеза речи у животных. Поэтому непонимание началось сразу же, причем оно усугублялось тем, что оратор то и дело забывал английские слова, и тогда аудитория разражалась разнообразием подсказок.

Говорил он по-английски плохо, но ничуть не смущался ни этим, ни тем, что никто не понимает и сути доклада. Он говорил с воодушевлением и детской улыбкой чудака-ученого, который погружен в свое дело и уверен, что все интересуются тем же. Он включил магнитофон, и оттуда понеслось какое-то урчанье. Лицо докладчика осветилось улыбкой понимания, и он побежал к схемам со словами: «Это львица, вот, видите эти линии на осциллограмме?» Но тут с магнитофонной ленты стали доноситься уже другие звуки. Пемброк на секунду задумался, потом нежно улыбнулся, показал что-то на схеме, сказал: «Это детеныш крокодила...»

Из магнитофона раздавались все новые и новые рыки, свисты, писки и скрипы — до самого конца доклада. Пемброк перебегал от схем к магнитофону, потом опять к диаграммам, менял их, вслушивался, расцветал от понимания, что-то пояснял, говоря уже наполовину по-немецки и совершенно не глядя в зал. В общем, его доклад сочетал поразительное проникновение исследователя в язык животных и его полнейшую неспособность найти общий язык с собравшимися. Впрочем, последнего он не замечал. Аудитория же откровенно веселилась.

Между тем, насколько можно было понять из напечатанных тезисов, речь шла о вещи очень правдоподобной, хотя и смелой. А именно — что все животные и даже человек в первые месяцы жизни в сходных ситуациях пользуются сходными типами речевых сигналов.

Мой первый шатобриан

В перерывах между заседаниями семиотической конференции, «буржуазных иностранцев» — итальянцев, французов и других представителей стран НАТО — водили на ланч в варшавский Дом Журналиста, известный своей хорошей кухней. Сначала их сопровождали гостеприимные поляки, но потом они как-то освоились и решили пойти сами. Правда, потребность в славяноговорящем посреднике все-таки осознавалась, но с ними был я, и они не беспокоились.

Как назло, все складывалось очень нелепо. Долго составляли столики, долго не шла официантка, бесконечно долго выбирали блюда, что неудивительно, если учесть, что я, как мог, переводил с польского на французский и итальянский с примесью английского, обнаруживая ограниченное владение всеми этими языками, а главное — языком европейской гастрономии.

С муками заказанное долго не несли. Впрочем, иностранцы не унывали. Они оживленно обменивались впечатлениями о студенческих волнениях той весны в своих странах и, заказав неведомый мне «шатобриан», терпеливо ждали его появления, видимо, черпая уверенность в самом названии этого явно западноевропейского блюда.

Однако, когда его, наконец, принесли, разочарование было жестоким — варшавский шатобриан, повидимому, значительно уступал в размерах атлантическому. Г-н Линдекенс (Бельгия) протянул:

— Mais... c'est plutôt un Chateaubriand de poche («Позвольте, но это какой-то карманный Шатобриан»).

Так или иначе, на меня шатобриан (особым образом приготовленный бифштекс из вырезки) даже в карманном издании произвел неизгладимое впечатление, и я везде, где мог, заказывал именно его. Как я потом узнал, его название действительно происходит от имени писателя, который в бытность послом в Англии славился, благодаря кулинарному искусству своего повара, роскошными приемами.

Что же касается оппозиции «НАТО — Варшавский договор», то конференция состоялась поистине в минуты роковые, начавшись всего три дня спустя после вторжения в Чехословакию «братских сил» социалистического лагеря. Один из участников, Умберто Эко (тогда известный лишь в семиотических кругах), задумал было совершить автомобильное путешествие из Италии в Польшу, но был остановлен на чешской границе и вынужден пересесть на самолет.

А Роман Якобсон, под эгидой которого должна была проходить конференция и который на пути в Варшаву остановился в Праге, выглянув утром в окно, увидел на площади перед гостиницей танки. За тридцать лет до этого в той же Праге его уже заставляли танки — немецкие. Он позвонил своей жене, Кристине Поморской, приехавшей в Варшаву — на родину — заранее, и сказал, что немедленно улетает в Париж и будет ждать ее там...

Шок от вторжения был так велик, что западные семиотики (Эко, Крыстева, Метц и другие), в большинстве своем люди левых взглядов, обходили его молчанием, предпочитая такие безопасные темы вроде американской интервенции во Вьетнаме. Однажды за обедом (в гостинице «Европейская») я не выдержал и спросил:

— Но почему вы во всем вините американцев?..

Ответом было принужденное молчание, как будто я издал неприличный звук.

Точно так же держались двадцать с лишним лет спустя либеральные интеллигенты-американцы,

мои коллеги по Национальному Центру Гуманитарных Исследований в Северной Каролине, считавшие вооруженный отпор Саддаму Хуссейну (1991) проявлением милитаризма. На мое предложение демонстрировать за мир не в Нью-Йорке, а в Кувейте и Багдаде, они отвечали молчанием. А на другой же день после молниеносной операции «Самум» (не так ли надо переводить «Бурю в пустыне»?) вообще оставили эту тему.

Оппозиция «свое»/«чужое»

Незаслуженно забытый эпизод шумной истории советской семиотики — организованный осенью 1968 года редакцией «Иностранной литературы» Круглый стол о структурализме, с участием В. Б. Шкловского, Б. Л. Сучкова, П. В. Палиевского, Е. М. Мелетинского, В. В. Иванова и многих других, включая нас со Щегловым. Дискуссия была острая, несмотря на заметное сгущение идеологических сумерек брежневской эпохи после вторжения в Чехословакию.

Структуралисты выступали более или менее единым фронтом. Помню, что Мелетинский специально просил меня вести себя помягче — совет, которому я, находясь в тот момент под угрозой увольнения с работы как подписант и соответственно полагая, что мне сам чорт не брат, не последовал. В частности, к официальному руководителю советского литературоведения — директору ИМЛИ Б. Л. Сучкову, много представительство-

вавшему за границей и с ног до головы облаченному в импортную замшу, я обратил запальчивую речь о том, что гонимый ныне структурализм в недалеком будущем придется ввозить за валюту.

Неизгладимое впечатление произвел на меня вечный диссидент Г. С. Померанц, говоривший о феномене культурного кода. Это новое тогда понятие он проиллюстрировал сравнением экономических успехов ФРГ и неудач Иордании, — двух стран, вынужденных после военной разрухи начинать с нуля. Всего лишь через год после победоносной шестидневной войны Израиля против арабов, в обстановке официальной антисемитской пропаганды и к тому же из уст опального еврея это звучало дерзостью невероятной.

Но дискуссия продолжалась как ни в чем не бывало. Разумеется, Померанцу был дан отпор. Эту операцию взял на себя сам Сучков. Хотя, судя по всему, о культурном коде он услышал впервые, это не помешало ему указать Померанцу на неправильное — немарксистское — понимание им этой категории.

У Сучкова была репутация относительно либерального советского босса, успевшего и посидеть и очень ценившего выездные аспекты своего положения. Поэтому до недалекого будущего он не дожил — скоропостижно скончался после одной из заграничных командировок, видимо, надорвавшись на непосильной задаче разъяснения американцам загадочной природы соцреализма. Не дождался импорта структурализма и я, в конце концов, вые-

хавший за валютой непосредственно на Запад. Что касается материалов Круглого стола, то они так никогда и не были опубликованы.

Плохой студент

От Юры Щеглова часто можно было слышать жалобы на студента Г. Что Г. не старается, Г. слишком высокого о себе мнения, Г. не способен к лингвистике, Г. не интересуется языком хауса, одним словом, худшего студента, чем Г., трудно вообразить. В адрес Г. направлялось много горьких слов. Очередную ламентацию Юра начал так:

— Например, когда я занимаюсь со студентом Г...

Я перебил его:

— Прости, а почему, если он такой плохой студент, ты с ним занимаешься индивидуально? Это что, какие-то дополнительные занятия для отстающих?

— Да нет, самые обычные занятия языком. Г. — единственный студент в группе хауса.

— А где же остальные? Я помню, что у тебя было много народу в группе.

Юра объясняет, что остальные студенты отсеялись за четыре года — одни по лени, другие по неспособности, третьи перевелись в другие группы или на другие факультеты. Но, собственно, и одного студента вполне достаточно, чтобы акт коммуникации состоялся: есть отправитель, есть получатель, а большего, по Соссюру, и не требуется.

— Позволь, но в таком случае Г. не самый худший, а самый лучший твой студент!

— И потом он неприятный. Он прекрасно понимает, что если бы он заболел или по другой причине не явился на занятия, то я был бы свободен и только благодарен ему за это, но он никогда этого не делает...

Эта история напомнила мне мои собственные взаимоотношения с Юрой. Он человек очень сам по себе (то, что по-английски называется *his own man*) и мало с кем готов иметь дело. Я как-то сказал ему, что он должен благодарить судьбу, позаботившуюся создать еще один хотя бы отчасти подобный экземпляр, промежуточный между ним и человечеством. Эту его удачу я оплачиваю дорогой ценой. С точки зрения окружающих, разница между мной и им пренебрежимо мала, для него же я — во всем противоположный ему типичный представитель людской массы.

Лингвистические задачи и тайны творчества

В пору структурных бури и натиска среди прочего были модны лингвистические задачи. Я ими не увлекался. Выдающимся мастером, если не основоположником жанра, был А. А. Зализняк (ныне академик), первым опубликовавший целую статью на эту тему, а затем занимавшийся составлением задач для математико-лингвистических олимпиад. Другая его уникальная статья — о семиотике правил уличного движения — обязана была своим про-

исхождением тому, что Андрей одним из первых в нашем поколении сделался водителем транспортного средства, сначала мотороллера, а затем и автомобиля. На пересечении этих двух его интересов и выросла знаменитая непристойная задачка, на моих глазах сотворенная им из житейского сора.

Я был у него и Е. В. Падучевой в гостях с одной коллегой, и в какой-то момент он стал рассказывать, как после занятий он выезжал с территории Университета. (Дело происходило году в 1970-м; филфак уже располагался на Ленинских горах.) Неловко разворачиваясь, Андрей на своем маленьком «Москвиче» чуть не угодил под колеса огромного самосвала, шофер которого высунулся из кабины и заорал... Тут Андрей разыгранно осекся и продолжал уже на сдавленном смехе своим характерным фальцетом, приберегаемым для подобных артистических эффектов:

— При дамах я не могу буквально повторить то, что он сказал. Поэтому я переведу его реплику на семантический язык или, лучше, на куртуазный язык «Тысячи и одной ночи»: *О, неосторожный незнакомец! Пожалуй, следовало бы наказать тебя ударом по лицу...*

Упоминание о семантическом языке было реверансом в мою сторону — мы с Мельчуком в то время усиленно занимались расщеплением смыслов.

— При этом, — продолжил Андрей, — все богатство значений, заданных элементами «неосторож-

ный», «наказать», «удар» и «лицо», было передано с помощью ровно трех однозначных слов, образованных от одного и того же корня. Задача имеет одно решение, — торжественно закончил он.

Дамы, естественно, ничего не поняли, а я, к своей чести, нашел ответ довольно быстро. Единственность решения и, значит, разгадка определяется бедностью матерной синонимии в обозначениях «лица», тогда как в передаче остальных ключевых сем веер возможностей гораздо шире.

Свои неплохие показатели в этом случае я объясняю тем, что задача была поставлена, так сказать, в условиях, приближенных к реальным. Она не носила формально-экзаменационного характера, и ее решение имело практический смысл — узнать, в присутствии, но помимо дам, что же именно сказал носитель народной мудрости (прибегший к корню нашего главного, скажем так, экзистенциального глагола.)

Жизненными соками питалось и мое единственное выступление на ниве дешифровки. Это было, если не ошибаюсь, летом 1969-го года. Я приехал погостить к папе в Дом Творчества Композиторов под Ивановом и нашел там блестящую музыкальную компанию.

Гвоздем сезона были знаменитый скрипач с женой и приятелем-пианистом: Б. — полноватый, солидный, в привезенном из заграничных гастролей пробковом шлеме; его жена, С. — миниатюрная, но надменная красавица; и Д. — здоровый циник-весельчак с крепкими руками фор-

тепианного чемпиона. Между чаем и ужином, во время, так сказать, файв-о-клока, обычно заполняемое прогулками и сплетнями, они устраивали перед столовой сеансы угадывания мыслей на расстоянии.

То есть, не угадывания, а, как они подчеркивали, передачи, — вполне реальной передачи, основанной на глубокой личной и творческой близости душ. Происходило это так. Кто-нибудь из публики сообщал на ухо одному из троицы, например, Б., имя задуманного им великого человека. Б. принимал сосредоточенный медиумический вид, с руками у висков, и, бросая завораживающие взгляды в направлении стоявшего шагах в десяти партнера, например, С., заклинал:

— Он тебе известен! Он тебе известен! Его ты знаешь! И говори, кто!..

— Чайковский, — мгновенно перебивала его С. под восхищенные возгласы толпы. Загадывалось следующее имя.

— Лови мою мысль! Будь внимательна! Но ты его знаешь! Он тебе известен!..

— Бетховен!..

И так далее, с теми же однообразными словесными пассажами и той же молниеносностью ответов.

Для меня, сына самого Мазеля, да еще и представителя кибернетической лингвистики, срывающей последние покровы с тайн мышления и речи, это был вызов, которого нельзя было не принять.

— Очень интересно, — поднял я перчатку, — посмотрим, как вы это кодируете.

— Да что вы! Мы ничего не кодируем. Мы просто задаемся образом великого человека, и этот образ передается благодаря общности наших психических процессов. Это как музыка, как стихи. Мы настраиваемся на единую творческую волну. Кстати, неслучайно, что лучше всего передаются образы великих художников, вызывающие богатые эстетические ассоциации.

— Но вы все-таки позволите мне записывать произносимые вами фразы?

— Записывайте сколько угодно. Вы убедитесь, что они не при чем. Передаются не имена, а образы. Заметьте, что фразы всегда одни и те же, и они вовсе не шифруют искомым букв.

Действительно, Чайковский получался безо всяких «ч» и «й», а Бетховен — хотя и с «б», но лишь во второй фразе, и уж явно без «х». Что касается фраз, то они повторялись с небольшими вариациями, лишь иногда удивляя неестественными эмфазами, вроде «Его ты знаешь!», «Но ты его знаешь!» или «И говори, кто!», что впрочем, мотивировалось «гипнотическим» тоном речи.

Публично объявив, что трех дней мне с лихвой хватит для разоблачения черной магии, я приступил к протоколированию опытов. Членов виртуозного трио это только забавляло, и я заметил, что иногда они с издевательскими улыбками продолжали передачу, вкрапляя в нее какие-то им одним понятные хохмы.

— Его ты знаешь! И будь внимательна! А он тебе известен! И лови мою мысль! Шевели мозгами! Подумай хорошенько! Подумай хорошенько! И его ты знаешь! Назови его!..

— Жорж Санд!

Публике явно предлагалось оценить добросовестность медиума, описавшего Жорж Санд в мужском роде, демонстративно отказавшись от дешевых подсказок. В то же время сексуальные коннотации ее облика, каким-то образом витали в воздухе, подогреваемые двусмысленными улыбками медиумов. Впрочем, мое исследовательское внимание было больше задето стилистически торчавшим оборотом «Шевели мозгами». Но какое отношение он мог иметь к Жорж Санд, оставалось загадкой.

Состязание продолжалось уже два дня, корпус данных рос, а решение все не приходило. Следует сказать, что деятельность расшифровщика, включая легендарного Шамполиона, лишь в малой степени строится на «точных методах». Ее настоящим двигателем является честолюбивая уверенность ученого в своей миссии, поддерживающая его кропотливые, долгие, но бесплодные усилия до тех пор, пока счастливая случайность вдруг не валится ему прямо в руки. Тут-то и бьет час интуиции.

Рано или поздно случайность должна была произойти, тем более, что зарвавшиеся медиумы вели себя все неосмотрительнее. И она произошла.

— Он тебе известен! И ты его знаешь! Цепляйся за мою мысль! Ты его знаешь!..

— Тургенев!

Нескладное «цепляйся» до тех пор ни разу не появилось в моих протоколах и этим напоминало аналогичное «шевели». Зачем, вместо привычных «Думай...!», «Подумай...!», «Говори...!» или, на худой конец, «Лови...!», нужны эти «Шевели...!» и «Цепляйся...!»? Простейшая догадка состояла в том, что понадобились они — вопреки заверениям медиумов — ради редких начальных букв: «ш» и «ц». Но в таком случае вопрос принимал вполне конкретный вид: Что делает буква «ш» в Жорж Санд и буква «ц» в Тургеневе?

На первый взгляд, ничего. Разумеется, второе «ж» в имени Жорж оглушается, но вряд ли дело в этом. А уж к Ивану Сергеевичу Тургеневу «ц» не имеет никакого отношения. А впрочем, так-таки ли никакого? Где у Тургенева «ц»?! Известно, где — в названии его главного романа: «Отцы и дети»!

За это действительно можно было уцепиться. Обратившись к тургеневскому протоколу, мы легко находим «о» в начале первой фразы («Он тебе известен!»). Но вторая и четвертая не начинаются с «т» и «ы»! Правильно, не начинаются, но продолжают именно ими — в качестве вторых букв! Иными словами, в нечетных фразах считается первая буква, а в четных — вторая. Перед нами действительно своего рода стихи, и они действительно передают не имена творцов, а созданные ими образы. Но все-таки — по буквам.

Он тебе известен!
И Ты его знаешь!
Цепляйся за мою мысль!
ТЫ его знаешь!..

Я тотчас кинулся к собранному материалу и убедился, что несложное правило работало во всех случаях. «Онег...» легко давал (в музыкальных кругах) Чайковского, «Лунн...» — Бетховена и т. д. Интригующий вопрос о связи «ш» с Жорж Санд читатель уже в состоянии разрешить сам (а заодно оценить переключку этой шарады с загаданной Зализняком).

На другое утро — в последний день взятого мной срока — я предупредил папу, что за завтраком произойдет небольшой сюрприз. Наш стол был на веранде, и путь к нему лежал через главный зал, где сидели Б. и С. Проходя мимо них, я громко проскандировал:

— Кто он? Думай хорошенько! Кто он? Думай хорошенько!

Они приняли это за беззубую имитацию их фразеологии и отвечали насмешливыми вопросами, когда же кибернетика скажет свое слово. Сдерживая внутреннее торжество, я смолчал, и под эти смешки мы проследовали на веранду. Но не прошло и минуты, как сработало то, что в американском кино называется double take, — мое «куку!» дошло. Они прибежали с озабоченными лицами и склонились надо мной, умоляя не выдавать их. Я великодушно согласился и в дальнейшем иногда

выступал вместе с ними. Публике было объявлено, что кибернетика проникла-таки в тайны творчества.

Полки вел...

У Ильфа и Петрова есть фельетон «Рождение ангела» — на тему о коллективной доводке киносценария — с незабываемой фразой: «Полки вел Голешищев-Кутузов 2-й».

В 1970 году в журнале «Народы Азии и Африки» появилась моя статья со структурным анализом одного сомалийского текста. Этому предшествовало ее одобрение главным редактором И. С. Брагинским (наложившим ленинского типа резолюцию: «Дать, снабдив марксистской врезкой *От редакции*») и последующее медленное продвижение в печать. (Структурализм был внове — мое появление в редакции встречалось драматическим шепотом: «Структуралист пришел!»). Но вот, наконец, мой редактор Лева К. сказал, что в определенный день, точнее, вечер, на редколлегии будет решаться вопрос о сдаче номера в типографию и мне желательно быть под рукой на случай, если возникнут вопросы.

В назначенный час я прохаживался по коридору редакции, время от времени подглядывая в щелку за происходившим в огромном кабинете главного. Самого Брагинского не было, и председательствовал его заместитель Г. Г. Котовский — сын легендарного комбрига, как объяснил мне

выглянувший в коридор Лева. Ждать пришлось долго — каждый материал обсуждался со всей подробностью. Впрочем, проблематичными, видимо, считались лишь две статьи, ибо, кроме меня и пожилого человека с усталым, чем-то знакомым, желтым, татароватым лицом, в коридоре никого не было.

Меня на ковер так и не пригласили, но о потраченном времени жалеть не пришлось. Во-первых, статья пошла в номер без дальнейших разговоров, а во-вторых, когда Лева вышел позвать в кабинет другого, явно более спорного автора, он почтительно назвал его Львом Николаевичем, и я сообразил, что это был очень похожий на мать сын Ахматовой и Гумилева. Его лагерные мытарства остались к тому времени давно позади, а собственная репутация шовиниста-этногенетика только набирала силу, и он все еще ходил в диссидентах; публикация в «Народах Азии и Африки» была, по видимому, нужна ему и отнюдь не гарантирована. Подстрекаемый любопытством, я проскользнул в дверь вслед за ним.

Полки вел Котовский 2-й. В противоположность брутальному бритоголовому гиганту, созданному усилиями Каплера, Файнциммера и Мордвинова (и его, вероятно, еще более жуткому прототипу), он оказался вальяжным, с пухлыми щечками и аккуратной прической, советским джентльменом, среднего роста, при галстуке и в замшевых туфлях. Ничто в его вкрадчивых манерах не наводило на мысль о конском топоте,

сабельных атаках, тачанках, погромах, трупах. Мягкими, дипломатично закругленными фразами он заговорил об интереснейшей статье почетнейшего Льва Николаевича. Я все ждал, когда же он совершит свой выпад, и — после изматывающих комплиментарных подступов — дождался.

— Чего мне, может быть, недостает в статье многоуважаемого Льва Николаевича, — все с той же воркующей ласковостью сказал он, — это четкого применения классовых, историко-материалистических критериев. Возможно, оно просто недостаточно бросается в глаза при первом чтении, и Льву Николаевичу, я думаю, самому представится желательным дать эти моменты более, так сказать, выпукло.

Гумилев заговорил со столь невозмутимым спокойствием, что я ему немедленно позавидовал. За его преувеличенной восточной любезностью стояла не только бескомпромиссная, ахматовской закалки твердость, но и вызывающая, пусть символическая, апелляция к насилию, в которой сказывался то ли кипплинговский налет, унаследованный с отцовскими генами, то ли собственный зэковский опыт.

— Благодарю вас, глубокоуважаемый Григорий Григорьевич, за незаслуженно лестное мнение о моем скромном опусе. И вы абсолютно правы насчет классового подхода, каковой в нем, действительно, не нашел применения. Дело в том, что меня интересуют исторические

закономерности более общего порядка. Позволю себе совершенно отвлеченный пример. Если, скажем, взять какого-нибудь человека, поднять его на самолете на высоту в несколько тысяч метров над каким-нибудь пустынным местом и сбросить оттуда вниз, то можно с более или менее полной достоверностью предсказать, что, ударившись о песок, он разобьется насмерть. И для того чтобы прийти к этому научному выводу, вовсе не потребуется учет классовой принадлежности этого человека и социальных взаимоотношений между ним и владельцами самолета. Так что я не думаю, что мой текст нуждается в каких-либо добавлениях, разве что вы, Григорий Григорьевич, настаивали бы на включении в него этого небольшого мысленного эксперимента.

Котовский настаивать не стал. Это было неудивительно, ибо как раз незадолго перед тем в мировой и советской прессе появилось сообщение (которое никак не могло пройти незамеченным в среде востоковедов) о казни каких-то преступников в Саудовской Аравии методом сбрасывания с самолета, сообщение, политически крайне неудобное с официальной советской — подчеркнуто проарабской — точки зрения. Обсуждение статьи на этом закончилось, и она появилась в журнале без изменений.

Таков был исход уникального династического матч-реванша.

Она его любит

В связи с концептуальной пропастью между традиционным советским литературоведением и новаторским тогда структурализмом, вспоминаются перипетии опубликования в «Известиях АН СССР» моего разбора «Я вас любил...» (1977). Доброжелатели, причастные к редакции журнала, устроили мне встречу с его главным редактором и главным официальным пушкиноведом член-корром Д. Д. Благом. Перспективы переговоров с ним, несмотря на мрачные аспекты этой фигуры, представлялись мне не совсем безнадежными ввиду моего уважения к его ранней, социологической книге о Пушкине (1931), уважения, вызывавшего у некоторых коллег-семиотиков снисходительную усмешку.

Аудиенция состоялась летним вечером у Благого на даче. Он уже ознакомился с моей рукописью, но ее обсуждение вылилось в разговор глухих. Там, где я акцентировал амбивалентности, инварианты и структурные параллели с другими пушкинскими текстами (например, 8-й главой «Онегина», «Каменным гостем» и т. п. — в духе новооткрытой тогда работы Якобсона о статуях у Пушкина), Благой держался сугубо житейских категорий.

— Ну да, конечно, ведь она [Татьяна] его любит, — с чувством повторял он.

Дело с публикацией статьи застопорилось, и снова пришлось в движение лишь после отставки Бла-

гого и перехода «Известий... СЛЯ» в руки партийного, но либерального и порядочного Г. В. Степанова. При активном содействии зав. редакцией В. И. Левина, Степанов стал пробивать мою статью на редколлегии. К моему удивлению, процесс оказался трудным, многоступенчатым; но, в конце концов, он увенчался успехом. Подчеркну, что ничего идеологически спорного или эзоповского в статье нет. Соппротивление вызывал именно непривычный структурный дискурс — чуждый традиционалистам, наверно, не менее, чем многим структуралистам сегодня чужд дискурс деконструкции.

В структурном же лагере, напротив, царила убежденность в полной и окончательной разрешимости всех задач литературоведения «точными» методами. Помню, как Боря Успенский сообщил мне, что только что отдал в печать свою «Поэтику композиции» (1970) и больше заниматься поэтикой не намерен, ибо все основное теперь уже сделано. Незабываема также фраза, которой В. К. Финн, классик советской информатики, со скромно-торжествующей улыбкой закончил один из своих докладов, блиставших виртуозным применением математической логики:

— ... И тогда поэтика, подобно квантовой механике, замкнется как сугубо формальная теоретическая дисциплина.

Чем хуже, тем лучше

В 1968 г. Юра Щеглов хотел поехать на Симпозиум по семиотике в Варшаву, но в Институте Восточных Языков, где он преподавал язык хауса, ему не дали характеристики, мотивируя это тем, что он мало внимания уделяет общественной работе. Это была стандартная формула, означавшая, что начальство не считает сотрудника «идеологически выдержанным», т. е. попросту, «своим»; характеристика же требовалась даже при поездке по частному приглашению. Поехать Юра, собственно, не очень и стремился, но отказ он воспринял как оскорбление, и на другой день я встретил его около кабинета ректора ИВЯ Ковалева со следующим заявлением, написанным зелеными чернилами, в руках:

«Прошу освободить меня от работы в ИВЯ. Моя просьба вызвана намерением сосредоточиться в дальнейшем исключительно на общественной работе».

Текст я оценил, но все-таки убедил Юру облечь свой протест в более традиционные формы. В результате, с начальством был достигнут компромисс, и в следующий раз, через год или два, характеристику выдали.

Перед поездкой, на этот раз совершенно уже частной, Юра стал советоваться со мной, бывавшим в Польше несколько раз, и я, среди прочего,

сказал, что следовало бы повидать директора Института Литературных Исследований профессора Марию-Ренату Майенову, столько сделавшую для советских семиотиков, в том числе и для нас с ним. Видно было, однако, что эта перспектива (как и вообще любые предписываемые долгом контакты) ему не очень улыбается.

Он поехал и вскоре вернулся, даже не отбыв дозволенного месячного срока целиком. Рассказывал о поездке кисло.

— Ну, а у Майеновой ты был?

— Был.

— Ну, и как?

— Она, конечно, дама европейского воспитания. Была со мной в высшей степени любезна.

— В твоих словах чувствуется холодок.

— Почему? Я нанес ей визит, на котором ты настаивал, и он прошел вполне гладко.

— Но этим все и кончилось?

— К тому же, ее интересовал не столько я, сколько разные московские коллеги. Особенно она была озабочена судьбой А. (подписанта, которому грозило увольнение с работы).

— Ну, ты ей рассказал?

— Видишь ли, я не имел ни малейшего представления о том, как обстоят дела у А. Но по ее интонации я понял, что чем хуже положение А., тем это лучше для нашего с ней разговора, и постарался, как мог, обрисовать все в самом черном свете. По-моему, она осталась довольна.

А поворотись-ка, сынку!

Борьба с превосходящими силами советской власти (последствия подписантства; 1968-1969) особенно сильно ударила по моему желудочно-кишечному тракту. Пришлось лечь на обследование в Институт Гастроэнтерологии.

Я хороший пациент — охотно прохожу осмотр, четко следую указаниям врачей, умело глотаю лекарства. А в Институте я наловчился заглатывать и разнообразные резиновые шланги и трубки и мог как ни в чем не бывало беседовать со знакомыми, прогуливаясь по больничному коридору с зондом, опущенным куда-то там в глубь моей поджелудочной железы, ухарски держа его мундштук между зубами.

Анализам не было конца, а на мои вопросы о диагнозе молодая врачиха, видимо, писавшая на мне диссертацию, невозмутимо отвечала:

— Не беспокойтесь, диагноз выставим.

Очередным испытанием моих талантов пациента стал сеанс ректоскопии. Меня отвели в кабинет к врачу-проктологу, окруженному целым выводком молодых людей в белых халатах.

— Надеюсь, как человек науки, вы не против участия моих студентов-практикантов? — сказал он.

Я не стал возражать и покорно принял так называемое коленно-локтевое положение. На мой, выражаясь бахтинским языком, обнаженный материально-телесный низ было наброшено специ-

альное белое покрывало с отверстием посередине. В отверстие ввели ректоскоп — прозрачную трубку, через которую при свете специальной маленькой лампочки можно наблюдать состояние стенок. Испытавшие эту процедуру знают всю меру дискомфорта, вызываемого давлением трубки: ощущение такое, как будто ты вот-вот взорвешься. Дискомфорт усугублялся присутствием зрителей, но — чего не потерпишь ради науки?!

Процедура, однако, затягивалась. Сначала врач говорил, сколько минут еще оставалось до конца, но потом они с медсестрой стали шушукаться, я прислушался и уловил какие-то странные реплики:

— Запасной нет... Там закрыто... Может, на третьем?..

— Что происходит? — спросил я.

— Лампочка в ректоскопе перегорела, надо будет принести новую с другого этажа. Что вы предпочитаете — постоять так или сейчас вынуть, а потом вставить еще раз?

Я выбрал первое. Сестра побежала за лампочкой. Наступившая неловкая пауза взывала о реплике, и я ее подал:

— Ну что ж, даже в предположении, что на исследуемом участке, как и по всей стране, налицо советская власть, отсутствие электрификации явно задерживает постройку там коммунизма.

Вскоре сестра вернулась, перегоревшая лампочка была заменена новой, и осмотр продолжался. Кажется, ничего интересного он не показал. Ди-

агноз же в конце концов был выставлен, с перечислением всех болезней, названия которых образуются прибавлением к участкам желудочно-кишечного тракта суффикса «-ит»: гастрита, дуоденита, энтерита, колита... и т. д., кончая сфинктеритом.

Эту историю я неоднократно рассказывал, поощряемый Мельчуком — любителем как скатологии, так и антисоветчины. А когда в Штатах я поведал ее Омри Ронену, он немедленно вспомнил аналогичную, произошедшую с ним. Ему оперировали что-то в нижней части тела, и хирург-профессор тоже спросил, не будет ли он возражать против присутствия студентов.

— Нет, при условии, что это будут ваши студенты, а не мои.

Шибболет

Пораженный всеохватностью диагноза, я решил лечиться минеральными водами и стал ездить на соответствующие курорты. Особенно запомнилась первая поездка — в Железноводск.

Я жил в палате на четверых. Все трое моих соседей, работяги из глубинки, днем исправно соблюдали диету и ходили на процедуры, но вечером отправлялись в ресторан — «проверить лечение». Впрочем, как в этом санатории, сравнительно плебейском, так и в соседних, более элитарных, например, в «Имени XX съезда», имелось и некоторое количество интеллигентных людей,

быстро перезнакомившихся друг с другом и почитавших прогулки вокруг горы Железной и по другим живописным окрестностям. Особняком держался седеющий желтолицый человечек в зеленом тренировочном костюме, то и дело стремительно бежавший по асфальтированной дороге вокруг горы на дотоле никогда не виданных мной роликовых лыжах.

Из процедур особой интенсивностью отличались грязевые ванны. Проведя точно отмеренное время (полчаса?) под кучей тяжелой черной грязи, щедро вываленной вам на живот мускулистой нянечкой, а затем тщательно помывшись в душе, вы переходили к строго регламентированному отдыху. После душа предписывалось не вытираться полотенцем, а осторожно им «промокаться» — чтобы не сорвать результатов загадочного процесса. Завернувшись в полотенце, вы выходили в огромный соседний зал, где ложились на ряды стоявшие лавки и еще полчаса лежали без движения, проникаясь сознанием мощности принятой дозы грязетерапии.

Хотя после ванны я чувствовал себя бодро, я отдавался общей атмосфере прописанного ритуального изнеможения. Так же неукоснительно этот мертвый час соблюдался и всеми остальными, в том числе теми самыми мужиками, которым вечером предстояло, наплевав на курортные правила, напиться до положения риз. Они тихо лежали в своих полотенцах, хотя могли бы свободно встать и уйти — никто их не контролировал.

Однажды моим соседом по лавке оказался таинственный лыжник, и я имел возможность рассмотреть его поближе. У него было худое желтовато-смуглое лицо, большие глаза, выразительный нос, густые, слегка выющиеся волосы, но в целом какой-то тревожный, если не запуганный, вид. Мы долго лежали рядом молча, время от времени переворачиваясь с боку на бок, и вдруг мне показалось, что он что-то тихо проговорил. Я переспросил его, но он извинился, сказав, что просто нечаянно произнес вслух слово на одном иностранном языке. Внимательно поглядев мне в глаза, он отвернулся.

Меня разбирало любопытство, и я заговорил с ним — завел разговор о его оригинальных лыжах. Он охотно объяснил, что они прописаны ему в порядке лечения: быстрые движения ног и трение ляжек друг о друга активизируют кровообращение внизу живота, согревая внутренние органы и способствуя их регенерации.

К его иностранной реплике мы не возвращались, и над ее тайной я раздумывал еще долго. В конце концов я пришел к мнению, что это был необычайно осторожный еврей, который предположил во мне соплеменника и пустил конспиративный пробный шар. Тихо сказав что-то на идише (иврите?) и не получив отзыва на свой пароль, он ушел в глухую несознанку. В пользу этой гипотезы говорила его внешность и его высокий профессионализм в вопросах лечения. Как я не догадался сразу, — ума не приложу.

Молоко отдельно, мухи отдельно

Из давнего шестидесятнического прошлого всплывает облик А. В., математика, точнее, математического лингвиста, человека тихого, на вид нескладного, но совершенно кристального (в частности, пострадавшего за подписантство). Говорил он раздумчиво, моргая подслеповатыми глазами, и речи его, как я теперь понимаю, были всегда нацелены на внесение порядка в окружающий хаос, — черта, естественная у математика, тем более, матлингвиста.

Вот он звонит домой, жене (несомненному источнику хаоса), справляется о здоровье детей.

— Непонятно, — доносится от телефона. — Если уже есть ангина, зачем еще грипп?

Я не знаю, его ли это острота или расхожая хохма, но в его устах она звучит органично.

А вот мы сидим рядом на всесоюзной конференции по машинному переводу. Доклад делает руководитель группы из Ереванского ВЦ. Доклад внушительный: отмечаются успехи группы в области ламповых схем, в организации ячеек памяти, в работе с русским порядком слов, в чем-то еще. Про порядок слов я как-то услеживаю, но остальное выходит далеко за рамки моей компетенции, и я поворачиваюсь к А. В. с вопросом, понимает ли он.

— Я понимаю только то, — следует неторопливый ответ, — что в одном докладе не может быть и про лампы, и про ячейки, и про порядок слов.

Действительно, если уже есть ангина, зачем еще грипп?

А вот мы на дружеской вечеринке, пьем и закусываем. Я постепенно поправляюсь от своих желудочно-кишечных заболеваний, и мне еще не все можно. Вытащив из банки с надписью *Gemischtes Obst* («Смешанные фрукты») нечто консервированное, я подозрительно его рассматриваю и, так и не разрешив своих сомнений, спрашиваю стоящего рядом А. В.:

— Как вы думаете, что это?

— С ходу не знаю, но надеюсь определить, если прочту, что написано на банке.

Я, усмехаясь, подаю ему банку, он, моргая, ее изучает и, наконец, произносит:

— С полной определенностью можно утверждать лишь, что это — смешанный фрукт.

... Славные были времена — отделение света от тьмы ожидалось с минуты на минуту, а пока что и самый хаос констатировался с долженствовавшей обезоружить его корректностью.

Будем резать, будем бить

На один из международных кинофестивалей в Москву был привезен английский фильм «Кромвель» (1970). Он произвел на меня сильное впечатление — возможно, еще и благодаря тому, что по знакомству я попал на его демонстрацию в закрытом просмотровом зале для переводчиков и фестивального начальства.

Один из главных композиционных ходов фильма состоит в том, что в течение первого часа зритель приглашается сочувствовать прямодушному поборнику народных прав Кромвелю (его играет Ричард Хэррис) и желать поражения высокомерному Карлу I (Алек Гиннесс). Но когда дело доходит до пленения короля, суда над ним и в конце концов его казни, роли меняются: Карл предстает благородной жертвой, а Кромвель — беспощадным тираном. Гиннесс блестяще играл величие, особенно трогательное в падении.

(Эта конструкция напомнила мне аналогичный эффект в постановке «Троянской войны не будет» Жироу во французском «Театре Старой Голубятни», приезжавшем в Москву в самом начале оттепели, году в 55-м. Там симпатии зрителей переходили от гуманного, но простоватого борца за мир Гектора к великолепному в своем цинизме провокатору войны Одиссею.)

Случилось так, что через несколько лет, зайдя по своим сомалийским делам на киностудию «Экспортфильм», я узнал, что там вот-вот начнется рабочий просмотр «Кромвеля», дублированного для советского проката. В практически пустом зале я сел непосредственно позади членов дубляжной группы и их гостей и мог слышать, что они говорили. Разговор быстро перешел на самую животрепещущую проблему советского киноискусства: пришлось ли что-нибудь вырезать?

— Да нет, почти ничего, — сказал кто-то из дубляжников. — В конце концов, большое дело, анг-

лийская история трехсотлетней давности. Но в одном месте мы, конечно, немного порезали. В сцене перед казнью. Ну, Алек Гиннесс там дает! Прямо, знаете, короля жалко!

— И англичане не протестовали?

— А-а, им это до лампочки. Они прокатные права продали, бабки получили и — делай что хочешь.

Поражала органичность сочетания в этих вальжных киношниках безошибочного эстетического чутья к самому яркому моменту фильма с поистине большевистской жестокостью к казнимому противнику. Кромвель удовлетворился тем, что Карлу отрубили голову, но им этого было мало, и они лишили его предсмертного прощания с детьми (Кромвелем, как-никак, разрешенного).

Скорее всего, купюра эта не была продиктована необходимостью. Так, «Двадцать лет спустя» Дюма спокойно переиздавались массовыми тиражами, хотя казнь того же Карла I дается там с точки зрения пытающихся спасти его мушкетеров — верных слуг Людовика XIII и королевы. Впрочем, кино, конечно, самое важное из искусств.

Бритва Оккама

На рубеже 70-х годов театральная жизнь в Москве была ключом, и в элитные театры попасть можно было только по знакомству. На престижный спектакль Эфроса в Театре Ленинского комсомола с Ольгой Яковлевой в главной роли билет мне дос-

тала одна дама с положением, в свое время учившаяся в Консерватории у папы.

У него было много учеников и учениц, и однажды он сделал наблюдение, что некоторые из них, проведя долгие годы в отдалении от него, вдруг снова входят в его орбиту, начинают посещать его лекции и тем самым как бы возвращаются в былую студенческую атмосферу, причем случается это, как правило, после разводов или иных личных неурядиц. Как-то раз, выловив из папиного рассказа об одной такой бывшей ученице, вновь припавшей к целительным источникам мазелеведения, что она работает в Министерстве культуры, я перевел разговор в практическую плоскость — спросил, нельзя ли с ее помощью добыть дефицитные билеты в театр.

Папа обещал узнать и вскоре получил положительный ответ, после чего тем же порядком были испрошены и успешно заказаны билеты на конкретный спектакль (если не ошибаюсь, «Месяц в деревне») — с той небольшой поправкой, вполне естественной, но мною по наивности не предвиденной, что на второй билет Вера Николаевна высказала желание пойти сама. Делать было нечего (как говорится, *beggars can't be choosers*, «ничим выбирать не приходится»), да и двигала мной, прежде всего, чистая любовь к искусству. Кажется, это был первый и единственный случай *blind date* в моей жизни.

Никаких романических последствий это культурное мероприятие не имело, но папа, конечно,

поинтересовался, как оно прошло и как мне понравилась его ученица. Я сказал, что спектакль был интересный, спасибо, что же касается Веры Николаевны, то... ничего особенного, только очень уж много врет.

— А о чем шла речь?

— О разном.

— Как же ты установил, что она врет? Ведь что бы бросать такие обвинения, нужно иметь факты, доказательства.

— Да нет, просто сколько она говорит, столько правды вообще нет.

Техника отпускания

Что касается режиссуры Эфроса, то самое сильное впечатление на меня произвела его постановка пьесы Розова «В день свадьбы», которую я по памяти отнес бы на десяток лет раньше, к началу 60-х. Сюжет этой классически оттепельной пьесы состоял в том, что Надежда (!), дочка из влиятельной рабочей династии, освобождала беспризорного Мишку, некогда нашедшего приют в этой семье и давно сосватанного за Надежду, но теперь влюбленного в другую, от данного слова и тем самым — от гнета добровольно-принудительной благодарности. Помню то ощущение эстетического и политического катарсиса, которое я испытал в момент кульминационной реплики: «Отпускаю!...». В зале чуть ли не физически повеяло надеждой, что Хрущев и в его лице советская власть наконец нас «от-

пустят». (Ждать, правда, пришлось еще четверть века, но, в общем, не напрасно.)

Одновременно с Ленкомом та же пьеса была поставлена в «Современнике», и я то ли пошел туда для сравнения, то ли только собирался — не уверен; запомнился лишь эфросовский спектакль. Особенно врезалось в память одно режиссерское решение.

Ведущим актером Театра Ленинского комсомола еще до прихода туда Эфроса был Всеволод («Сева») Ларионов, записной красавец, игравший — на сцене и в кино — дежурные роли героев-комсомольцев. Фокус Эфроса заключался в том, что этому Севе, с его устойчивым амплуа советского первого любовника, он отдал роль не Мишки, положительного героя пьесы, а, наоборот, отрицательного брата Надежды — циничного председателя завкома (партком трогать было нельзя). В то время с каждого плаката и газетного листа мозолил глаза «Моральный кодекс строителя коммунизма», призванный стать чем-то вроде советских десяти заповедей. Так вот, ударным аргументом ларионовского персонажа, всячески давившего на героя, были слова: «Не марай Кодекс, Мишка!».

Ход, примененный Эфросом, наверно, имеет терминологическое название в теории режиссуры, настолько он эффектен и в то же время укоренен в работе с имеющимися амплуа. В сущности, режиссер поручил Ларионову его привычную роль — стандартного советского героя, только теперь, в соответствии с замыслом драматурга, она

предстала в новом свете. Для такого ее сценического развенчания как нельзя лучше пригодился готовый ореол, окружавший актерскую фигуру Ларионова. Та фальшь, с которой он играл своих комсомольцев, блестящим турдефорсом режиссера была поставлена на службу художественному изображению ее жизненного источника — реальной советской фальши*.

По слухам, Ларионов в жизни обладал скорее идеальными, нежели реальными чертами своего актерского имиджа. Он поддерживал Эфроса в конфликтах с театральными властями и жалел о его последующем вынужденном уходе из театра. Надо полагать, он был благодарен Эфросу за парадоксальное освобождение от тисков советского амплуа — освобождение, тематически вторившее центральной идее пьесы, а стилистически предвосхитившее эстетику соц-арта.

Мимесис

В фильме Висконти «Смерть в Венеции», увиденном три десятка лет назад, меня восхитила игра исполнителя главной роли Дирка Богарда (Dirk

* Юра Цивьян подсказывает по e-mail'у, что это случай так наз. cross-casting, но согласен, что случай особый, ибо актер использован не просто наоборот, но и в каком-то смысле точно так же, как раньше (по нашей со Щегловым терминологии, это не простой контраст, а контраст с тождеством).

Bogarde). Особенно сильное впечатление произвел эпизод, где герой, с неохотой решив уехать, отправляется на вокзал, но в последний момент слуга докладывает ему о какой-то транспортной неувязке, и он с тайной радостью остается. В этом месте Богард состроил мину, которую я тотчас осмыслил как «выражение лица школьника, узнавшего, что учитель заболел и урока не будет».

Придя домой, я открыл Томаса Манна (том 7-й советского десяти томника, 1960; пер. Н. Манн) и, как я потом неоднократно рассказывал студентам, прочел у него слово в слово фразу, внушенную мне с экрана! Это был поразительный семиотический эксперимент, поставленный самой жизнью. Получалось, что язык актерской — а значит, и вообще человеческой — мимики настолько развит, что способен без потерь транслировать на редкость определенную информацию. Разумеется, какая-то часть кодировки приходится на контекст: мы понимаем настроение героя, его нежелание уезжать и подспудные поиски предлога остаться, так что актеру достаточно сыграть, скажем, «облегчение» и «детскость», чтобы воображение зрителя принялось дорисовывать остальное. И все-таки, каким образом передаются «учитель», «школьник», «урок»?

Готовясь сейчас записать эту виньетку, я на всякий случай снова заглянул в текст — сначала в то же русское издание, а затем в английский перевод и в немецкий оригинал. Оказалось, что память мне изменила, услужливо подретушировав факты. В русском переводе говорится всего лишь, что

Ашенбах «прятал под личиной досадливых сожалений боязливое и радостное возбуждение *сбежавшего мальчугана*,» — в точном соответствии с оригиналом («... Erregung eines *entlaufenen Knaben*»). Впрочем, в следующем предложении оригинала мотивы «детства» и «побега домой» дополнительно акцентированы выбором идиом, которыми описывается удача, выпадающая герою под видом неудачи: Томас Манн употребляет слова *Sonntagskind*, «счастливичик, *букв.* воскресный ребенок», и *heimsuchen*, «настигать, *букв.* находить дома». Но еще интереснее, что в английском переводе появляется и «школьно-прогульный» элемент: «...concealing under the mask of resigned annoyance the anxiously exuberant excitement of a *truant schoolboy*»!

Что же касается «заболевшего учителя», то его, видимо, целиком вчитал я сам, хотя и не без подсказки. Состоит она в том, что самостоятельно «сбежавшему мальчугану» ни к чему «личина досадливых сожалений». В сюжете повести момент притворного огорчения мотивирован той «счастливой неудачей», той транспортной *force majeure*, которая извне подает Ашенбаху уважительный повод не покидать Венеции. Но в метафорическом микросюжете со «сбежавшим мальчиком/школьником» никакой мнимой неприятности нет. На ее роль и напрашивается вчитанная мной болезнь учителя.

Напрашивается уже в томасманновском тексте. На его основании — не исключено, что напрямую —

прописывается в сценарии (это в принципе можно проверить). Затем сознательно или бессознательно разыгрывается Богардом. И, наконец, прочитывается зрителем.

С Лотманом на дружеской ноге

В 1964 году состоялась первая Летняя школа по вторичным моделирующим системам в Тарту. Я был на нее приглашен, хотя не помню, сколь формально. Хорошо помню, как случайно встреченный на станции метро «Охотный ряд» (тогда «Проспект Маркса») В. А. Успенский сказал мне, что «сделал все, чтобы мы летом встретились в Тарту». Тем не менее, я по тем или иным причинам туда не поехал. Скорее всего, просто потому, что не придавал этой возможности того эпохального значения, которое задним числом кажется столь очевидным. Это была серьезная ошибка — одна из многих подобных в моей жизни. Повидимому, сыграла свою роль врожденная, усугубленная советскими условиями и сознательно культивировавшаяся мной нелюбовь к модным causes, неумение и нежелание, в отличие от зощенковского тенора, «сыматься в центре». В первый раз я не поехал сам, а в дальнейшем — до 1974 года — меня и не звали.

В 1970 году в семиотической серии издательства «Искусство» вышла книга Лотмана «Структура художественного текста». Под впечатлением очевидной близости научных установок и в общем

духе оппозиционерского единства я стал искать путей преодоления трений. Возможность представилась (и была упущена) в ходе состоявшегося в том же году в Тбилиси Симпозиума по кибернетике, включавшего внушительную Секцию лингвистики и семиотики. Там мы со Щегловым впервые увидели Лотмана. О напряженности нашего отношения к нему, говорит следующая запись, сделанная мной по горячим следам:

«Личного знакомства не произошло и в этот раз, но зато мы слушали его доклад (совместный с Б. А. Успенским, но говорил Лотман) — что-то о семиотике культуры, в том смысле, что культура конституируется ее противопоставленностью некультуре. Лотман, хотя и заикается, блестящий лектор. Его слушали с большим интересом. Поскольку, однако, на Симпозиуме строго соблюдался регламент (кажется, 20 минут доклад), в какой-то момент поднялся председательствующий, В. Ю. Розенцвейг, и сказал:

— Юрий Михайлович, у вас осталась одна минута.

— В т-таком случае, я могу не п-продолжать.

— Ну зачем же. Сколько Вам нужно времени, чтобы кончить?

— Десять минут.

— Как, товарищи, дадим докладчику еще 10 минут?

Из зала донеслись голоса:

— Дадим!.. Дать 5 минут!.. Хватит — регламент!.. Дать 10 минут!..

Прямо над моим ухом кто-то заорал:

— Дать ему, сколько он хочет! Пусть говорит, сколько хочет!

Я повернулся и увидел, что кричит Юра Щеглов.

— Позволь, — зашептал я, — почему это «пусть говорит, сколько хочет»?

Возвращенный моим вопросом на землю, Юра озадаченно повторил его:

— Почему «пусть говорит, сколько хочет»? Не знаю. Это интересный вопрос. Надо подумать.

Лотману тем временем было предоставлено 10 минут, и доклад продолжался. Через некоторое время Юра нагнулся ко мне и, сияя улыбкой ученого, готового поделиться сделанным открытием, сказал:

— Почему «пусть говорит, сколько хочет»? Прекрасно. Могу сказать. Пусть говорит, *сколько* хочет потому, что то, *что* он говорит, — *не страшно*.

Следующий контакт с Лотманом состоялся во время поездки (году в 1971-м) группы семиотиков во главе с ним в киноархив Госфильмофонда в Белых Столбах. Путь на электричке, а потом и пешком — неблизкий, и времени для общения было более, чем достаточно. Из разговоров Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского и Б. Ф. Егорова между собой запомнились многочисленные упоминания об актуальной тогда официозной фигуре А. С. Бушмина (академика, директора Пушкинского Дома) и фраза Егорова, делившегося ближайшими планами работы своего Ученого совета:

— Значит, так. У нас, эт-самое, идут две диссертации. Ну, значит, так. Одну мы, эт-самое, режем...

Тем не менее, вновь испытав обаяние личности Лотмана, я заговорил с ним о его книге, на которую мы со Щегловым собирались написать рецензию в «Вопросы литературы» (она появилась в 1972-м году). Лотман подчеркнул, что такая публикация желательна только в том случае, если рецензия будет сугубо хвалебной. На занимавший меня вопрос о допустимости критики внутри семиотического сообщества, он ответил рассуждением, что молодые неокрепшие структуры нуждаются в защитной оболочке, и потому преждевременная свобода критики может оказаться вредной. В то же время он предложил нам подать статью в очередной том тартуских «Трудов по знаковым системам» и в дальнейшем опубликовал ее (1975 г.). В целом у меня сложилось впечатление, что он, как и я, был бы рад разумному компромиссу.

Впервые проведя тогда в обществе Лотмана целый день, я имел возможность побеседовать с ним на самые разные темы. Запомнилось его подчеркнуто отрицательное отношение к новейшей культуре и явное предпочтение ей XIX века. Возможно, так он тактично давал понять, в чем он видит причины наших с ним расхождений. Как при этой, так и при нескольких последующих частных встречах с Лотманом, чувствовалось, что несмотря на примирение, дистанция оставалась

непреодоленной. Насколько я понимаю, Лотман переваривал меня с трудом*.

Тем не менее, вскоре он пригласил меня в Тарту на очередной, Пятый, или, по новому счету, Первый Всесоюзный, Симпозиум по вторичным моделирующим системам (февраль 1974 г.). Лотман и Минц были подчеркнуто гостеприимны, и даже предложили мне прочесть в одном из их курсов двухчасовую лекцию на любую тему по моему желанию. Студентов пришло много, в аудитории присутствовали сами Лотман, Минц и некоторые другие коллеги. Темой я избрал поэтический мир Пастернака, которым тогда много занимался, и подробно остановился на соотношении моего подхода с лотмановским.

В перерыве ко мне подошла Минц с встревоженным лицом и словами:

— Только что в Москве арестован Солженицын. Возможно, вы захотите учесть это во второй части лекции.

Однако ничего крамольного — кроме самого факта разговора об опальной памяти поэте — в моей лекции не было.

* В 2001 году при встрече в Париже, Миша Лотман заверил меня, что я сильно преувеличиваю степень отцовского неприятия. Что касается идеализации XIX века, то во время разговора с Ю. М. у меня вертелся на языке излюбленный вопрос, в каком именно местечке черты оседлости он хотел бы родиться...

Отношения с Лотманом и Тарту продолжали налаживаться, и в какой-то момент даже обсуждалась возможность защиты мной докторской диссертации под его эгидой. А когда я собрался в эмиграцию, он дал мне рекомендательное письмо, которого, впрочем, как и каких-либо иных документов из России, нигде предъявлять не потребовалось. Что потребовалось, так это, как я ни брыкался, выступать в качестве представителя Московско-Тартуской семиотической школы — со столь неотвратимой регулярностью, что я постепенно себя им почувствовал.

В чужом пиру

В старое советское время, если и удавалось посмотреть западный фильм, многое в нем оставалось задрапированным складками все того же железного занавеса. Было неясно — то, что показывают, это у них обыденный факт или художественный эффект? А ведь остраяющий контраст между практическим рядом и поэтическим — основа искусства.

Вот он (Бельмондо, «Нежный негодяй», 1966) звонит ей из Брюсселя по автомату — так, как будто он рядом, в Париже. Это что, суперловкость рук или каждый может? Вот его (не помню, кого, кажется, Филиппа Нуаре) будит горничная, принесшая завтрак в номер, и он тут же затаскивает ее в постель — это как, нормальная часть сервиса или донжуанский подвиг?

Незнакомое не всегда восхищало. Вот он (Гэри Купер) ухаживает за ней (Одри Хэпберн), приводит ее в свой огромный номер, а там уже ждет заказанный им небольшой ансамбль, и они танцуют и любезничают при этих посторонних («Любовь после полудня», 1957). Было не завидно, нарушался интим, но витала надежда, что такого не бывает, — кроме как в фантазиях киношников.

Одной из загадок был эпизод даже не в иностранном, а «нашем», но футурологическом и полузапретном «Солярисе» Тарковского (1972). Невероятно долгий проезд по подземному участку автострады будущего завораживал, тем более что мучил вопрос о статусе туннеля. Что это — трюковая съемка, увеличенная мини-декорация, или где-то там подобные вещи действительно существуют? (Знающие люди подтверждали, что существуют и туннель — японский.)

Больше всего озадачивали, конечно, размеры личной собственности. Например, что грузовик, микроавтобус, даже самолет мог принадлежать частному лицу, а не только учреждению. Особенно волновал, конечно, домашний быт — категория все-таки знакомая.

В английском фильме «Чарли Бабблз» (с Альбертом Финни, 1968) все этажи и помещения в доме пресыщенного жизнью героя-писателя просматривались по внутренней телевизионной сети. Это играло организующую роль в иронической стилистике фильма, но оставалось неясным, действи-

тельно ли таков быт широких масс преуспевших литераторов.

Самое сильное впечатление осталось от лондонского дома героя (Джэка Николсона) в фильме Антониони «Профессия: репортер» (1975). Интерьер был на нескольких этажах, с лестницами, без перегородок или, во всяком случае, с большим количеством открытых стен, и на них были там и сям приколоты (прилеплены?) записки жены (к мужу? к любовнику? — на культурную неосведомленность накладывались языковой барьер и авторская некоммуникабельность). Учрежденческие масштабы помещения и способы связи, служившие декорациями хронической неустрашенности героев (он уезжал, она изменяла), — весь этот модернистский разброд на просторной частной территории одновременно удручал и захватывал. Хотелось то ли отвергнуть недоступную сюрреальность с порога, то ли пожить и умереть в ней.

... Пожить удалось, за умереть дело не станет. Пишу это в гостиной на нижнем этаже, с видом на внутреннюю лестницу без записок. В компьютере поет Вертинский: *Как хорошо проснуться одному/ В своем веселом холостяцком «флете»...* («Без женщин», 1940). Кстати, британский «флэт» — одноэтажный (< flat, «плоский»), а если он еще и холостяцкий, то тем более, какие записки?

«Стрелки авторитетов»

Как-то в начале 70-х годов мы со Щегловым очередной раз попытались подать статью в «Вопросы литературы».

Наше общение с журналом затруднялось двойным цензурным гнетом — официальным советским, ну, это понятно, и пристрастно-личным, исходившим от заведомо теории Серго Виссарионовича Ломинадзе. Симпатичный дядька, отсидевший к тому же срок в сталинских лагерях (вместе с отцом-коммунистом), Серго, к сожалению, питал невольную преданность теоретическим идеям возвышенно философского покроя. В его статьях часто встречалось слово *бытийственность*. Что такое бытийственность, я не знаю, но предполагаю, что что-то вроде онтологичности. Онтологичность же вещь, хотя и загадочная, но недавно получившая доступное народу рабочее определение. «Я, наконец, понял, — сказал мне М. Л. Гаспаров, — что значит онтологический. Онтологический значит: хо-ро-ший». Гениальная простота этого толкования подкреплялась по-детски старательной четкостью гаспаровского выговора — преодолевающей заикание артикуляцией по слогам.

Неясно различая свои роли редактора и мыслителя (что типично для редакторов вообще, а для редакторов-бытийственников в особенности), Серго придирался к нашим структуралистским сочинениям с гораздо большей страстью, чем то диктовалось законами империи зла и размером его

редакторской зарплаты. Но в этот раз он ограничился ретрансляцией цензурных установок.

Он потребовал снять большинство ссылок на Пастернака. Мы стали возражать, говоря, что Пастернак автор не запрещенный, то и дело фигурирующий в печати.

— Да, — ответил Серго, — и на это есть совершенно определенные правила. Вы можете цитировать Пастернака, когда вы пишете о Пастернаке, но не по любым другим вопросам. Для таких случаев имеются Маркс, Ленин, Горький и Белинский.

Наша тайная agenda, разумеется, состояла именно в ревизии официального пантеона — придании полуопальному имени Пастернака некоего общеобязательного статуса, но, как оказалось, этот эзоповский маневр был уже предусмотрен инструкциями. Подобно Пушкину, пересекшему заветный Арпачай, мы все еще находились в пределах необъятной России.

Этот эпизод вспомнился мне недавно на конференции по литературной теории в Йельском Университете (март 2002 г.). Там много говорилось о Бахтине — как по числу выступлений, так и по монологической продолжительности некоторых из них, далеко зашкаливавших за регламент. Один докладчик вообще никак не мог кончить, несмотря на настойчивые жесты и записки председателя. Наконец, он сказал: «Еще одно, последнее предложение», но и после этого говорил долго, наглядно демонстрируя бахтинскую незавершае-

мость дискурса и пропасть, отделяющую предложение от высказывания.

В связи с моим докладом дискутантка (Ирина Паперно) отметила, что я единственный открыто отказываю Бахтину в применимости. Я уточнил: Бахтин, на мой взгляд, нужен, когда речь идет о Бахтине, и — в умеренных дозах — когда речь идет о карнавале или Достоевском, но не в качестве авторитета по всем вопросам, в частности, поэзии. Любопытным образом, в докладе главной американской бахтинистки Кэрил Эмерсон упоминалась недавняя статья Серго Ломинадзе о неадекватности бахтинских анализов Достоевского, что позволило мне сослаться на историю с Пастернаком.

Так тридцать лет спустя мы с Серго оказались в одной компании — защитников многоголосия от тотального культа его некогда гонимого пророка, новых диссидентов, вдохновляющихся золотыми правилами советской цензуры.

«Эпикировка»

Работа с сомалийским языком в рамках истеблишмента — на Радио, на киностудии «Экспортфильм» и в других местах — приводила к знакомству с образчиками не только африканской, но и советской экзотики.

Весной меня как единственного дипломированного сомаловеда иногда приглашали в МИД — принять экзамен по языку у их сотрудника. Сотруд-

ником этим был унылый человек невзрачного вида с низким, как из бочки, голосом и безрадостной фамилией, назову его Бобылев. Экзамен требовался, чтобы подтвердить его право на двадцатипроцентную надбавку к зарплате за знание языка курируемой страны.

Язык он, несмотря на несколько лет работы в советском посольстве в Могадишо, знал из рук вон, и экзамен каждый раз сводился к тому, что я уточнял у него и у заведующего учебной частью генерала Абрамяна, какова самая низкая оценка, совместимая с надбавкой, и, неизменно получая ответ «три с минусом», неизменно ставил именно столько. Ашот Абрамович Абрамян, обладавший характерной для лиц его национальности широтой взглядов, понимая улыбался. Неизбывной же грусти Бобылева тройка с минусом не усугубляла — никаких амбиций, кроме экономических, у него вроде бы не было.

Мотивы, толкнувшие этого человека на дипломатическое поприще, не составляли загадки, хотя на свежий взгляд могут показаться парадоксальными. Беднейшую страну самого забытого Богом континента Бобылев рассматривал как источник обогащения. Дело шло неплохо, пока он работал в посольстве, получая двойную зарплату, частично в валюте, и извлекая мелкие контрабандные выгоды из доступа к иностранным товарам. Но срок службы на передовой подошел к концу, и Бобылева перебросили в тыл, на Смоленскую площадь, где я однажды и застал его еще более удрученным, чем обычно.

Причиной моего прихода был на этот раз не экзамен, а перевод на сомали речей Председателя Верховного Совета СССР Подгорного, направлявшегося в республику на экваторе с государственным визитом. Речи поступали с задержкой, я маялся, ворчал, и Бобылеву было поручено всячески занимать меня и водить в закрытый буфет. Там, за номенклатурной икрой и импортным пивом, Бобылев излил душу.

— Думаю податься на научную работу, вот, как вы, — с безысходной печалью в голосе сказал он.

Я полюбопытствовал, чем диктуется внезапная переквалификация. Оказалось, что дело в потере выгод, связанных с пребыванием «в стране».

— Но, наверно, на большой земле это как-то компенсируется? — предположил я.

Оказалось, что компенсируется, но в случае Сомали очень и очень скромно.

— За что же такая дискриминация?

— Да не дискриминация, — горестно пояснил Бобылев, — а просто оплачивают из расчета эпикировки...

— Эпикировки?..

— Ну да. Если ты работал, скажем, в Норвегии, то здесь тебе выдают в размере меховой шубы, шапки, ну и прочего. А у нас какая эпикировка — пробковый шлем и шорты?..

Низкий жизненный уровень сомалийцев настиг-таки невезучего Бобылева, хотя и с неожиданной стороны. Не задалась, надо полагать, и его научная карьера, для которой он тоже был, на мой

взгляд, оснащен недостаточно. Бедному жениться — ночь коротка.

Р. С. Как бы не так. По последним сведениям, Бобылев перешел свой Рубикон — написал и защитил диссертацию, а со временем получил консульскую должность в Италии. Эпикировка: тога с пурпурной каймой, кресло из слоновой кости, двенадцать ликторов с фасциями.

Бабушка-старушка

Это из Зощенко. Так в пьесе «Парусиновый портфель» обращаются к пожилой даме, вспоминающей по ходу основного действия о своем адюльтерном прошлом: «Ну! Что же было дальше? Ну, бабушка-старушка, ну..»

Старушке, о которой пойдет речь, бабушке моего младшего коллеги Ц., в описываемый момент было не многим больше лет, чем мне сейчас. Стояло жаркое лето 1972 года. Я был в гостях на даче под Ригой, у совсем юного Ц. Приехал я с Л., в которую был бешено влюблен, возможно, ввиду сильнейшей активности солнца (горели торфяники). Нас радушно принимали очень милые и светские родители Ц. Из кухни на веранду иногда выглядывала бабушка, представительная полуседая дама. С молчаливым достоинством занимаясь угощением, она периодически прислушивалась к разговору.

Моложавый отец Ц., известный писатель, оказался знаком с моим не менее знаменитым и еще

более молодым бывшим научным руководителем К. Поскольку Ц. собирался в аспирантуру в Москву, отец был озабочен приисканием ему связей, друзей и покровителей. Я поддерживал разговор о К. несколько принужденно, ибо находился с ним в это время в сложных отношениях, чего не хотел ни афишировать, ни скрывать. Я неопределенно поддакивал, прятал глаза, краснел. Л., совершенно уже молодая девица, не принадлежавшая к академическим кругам, скучала.

Хозяева, однако, ничего не замечали, и разговор продолжал вертеться вокруг К. — его эрудиции, работ, диссидентской славы, личного обаяния. Неожиданно раздался голос бабушки:

— Вы все в восторге от этого К., потому что он такой важный. А я не вижу в нем ничего особенного. Скучный, бледный, писклявый. Если бы он был водопроводчиком, вы бы на него и не посмотрели. А вот если бы Алик пришел в качестве водопроводчика, я бы все равно обратила на него внимание. И я уверена, что Л-очка тоже.

Так я внезапно одержал одну из столь дорогих нам эдиповских побед и унес в душе вечную благодарность замечательной бабушке-старушке.

Полтора десятка лет спустя, в свой первый краткий приезд в Москву из Штатов (1988 г.), справляясь о Ц. и его семье у общего знакомого, самую неожиданную — а, впрочем, как водится в крепком сюжете, исподволь хорошо подготовленную — новость я услышал о бабушке. На старости лет у нее возник роман с заезжим офицером (ка-

жется, казахом) и, вопреки возражениям родных, она чуть не согласилась на умыкание. Я сразу вспомнил, что элементы жадного глядения на дорогу были у нее и знойным летом нашего знакомства. Увоз, однако, не состоялся — восьмидесятилетнюю бабушку не устраивало, что «он этими гадостями хочет заниматься».

И на старуху бывает проруха.

Не зря

Работая над книгой о модели «Смысл-Текст» (1974), Мельчук, как всегда, требовал от коллег критических замечаний. При чтении очередного варианта рукописи я заметил, что, несмотря на мои предыдущие протесты, пассаж о толковании близких по смыслу слов *мыть* и *стирать* опять остался без изменений. Различие между ними Мельчук связывал с тем, присутствует ли в описываемом процессе элемент «трение складок объекта друг о друга». Соответственно, смысл *стирки* (кстати, этимологически восходящей к *тереть*) он формулировал так: «Х при помощи жидкости чистит объект Y, тря...».

Сколько я ни морщился по поводу сомнительной деепричастной формы, неисправимый Игорь отвечал ссылкой на металингвистическую, а не собственно русскую, природу языка описания. Тогда я решил апеллировать к тому регистру его личности, который принес ему прозвание доктора *honoris causa*. На полях против «тря» я сделал

пометку: «Нельзя писать о русском языке, непрерывно сря на него». Подействовало. (См. с. 46 книги.)

Дворянское гнездо

Таня точно знала, как надо. Летом надо было жить на даче. Но дачу снимают весной, и первое лето пришлось пропустить, хотя свадьбу отпраздновали все-таки на даче — у подруги.

Временным суррогатом дачи стали поездки на озеро Валдай, где у меня оставалась лодка с парусом. Правда, Таня воды не любила, но из чувства супружеского долга ездила. Падучева сетовала на простои в работе, Таня отвечала: «Елена Викторовна, не могу. Я *должна* кататься на яхте».

На следующий (1974-й) год дачу стали снимать. Таня каким-то образом установила, что снимать надо в Купавне, где озеро чистое (моторки запрещены), а поселок вдоль него — генеральский, почти закрытый.

«Почти», потому что прямого запрета или ограды не было, но, как мы быстро убедились, приехав на разведку прозрачным апрельским воскресеньем, не было и желающих сдавать. Вообще, сезон еще не начинался, и мы, щелкая зубами, ходили вокруг запертых участков.

Один генерал все-таки раскололся. Сам он сдавать не стал, но по секрету дал наводку на вдову-генеральшу, Зинаиду Владимировну К-ову,

дачников пускавшую. Связав нас страшной клятвой, он сообщил ее московский телефон и предупредил, что потребуются солидные рекомендации.

Это было первое брачное испытание, и его я, в отличие от большинства последующих, выдержал. Я позвонил Зинаиде Владимировне, представился, похвалил ее поместье, сказал, что мы, к сожалению, незнакомы, но пусть она назначит, от кого нужны рекомендации, и я их доставлю. Приезжайте в воскресенье, сказала она, у меня для вас есть павильон.

Генеральша оказалась крепкой, энергичной женщиной со следами былой красоты. Я назвался. Она произнесла с выражением:

— Какое у вас красивое имя, Александр Константинович!

Вслушиваясь в интонацию, я заподозрил, а узнав Зинаиду Владимировну поближе, убедился, что под красотой понималась излучаемая моим именем отчеством аура расовой чистоты, в натуре не наблюдавшейся. Тем не менее, мы поладили.

Участок был огромный. В центре стоял двухэтажный господский дом — трофей, вывезенный генералом из побежденной Германии. Он не сдавался — в нем жила генеральша со взрослой дочерью Наташей и иногда наезжавшим сыном с семьей. Но по участку были разбросаны сарайчики, вагончики, времяночки, населенные разношерстным людом, вряд ли поступившим

по рекомендациям Генштаба. Отведенным нам павильоном оказалась осевшая изба, в которой хозяева жили когда-то сами, пока крепостные солдаты по камешку по кирпичику воспроизводили немецкое чудо.

Одна жиличка, совсем простонародная старушка, ютилась в фургончике без окон. Ее фольклорность сыграла свою магическую роль, когда нас стали донимать крысы. Ничто не помогало. Старушка сказала, «Вы бузины наломайте, оне ее не любят». Бузина росла тут же, за забором. Мы ее, недоверчиво посмеиваясь, наломали и набросали. Крысы исчезли.

В том же дальнем углу, что фольклорная бабушка, помещение, более похожее на жилье, снимали таксист Толян с хамского вида женой — зав. винным отделом гастронома. Располагая в семье контрольным пакетом акций, жена держала Толяна, робкого пьянчужку с льняными волосами, в постоянном страхе изгнания. Ее симпатичный четырнадцатилетний сынишка стал, к облегчению Тани, моим партнером по яхте.

Я наслаждался катаньем, купаньем, дачей, лесом, хотя до станции было далеко и продукты мы по-туристски таскали из Москвы на спине. Кто страдал от дачной жизни, так это безапелляционно приговоренная к ней Танина мама. Ксения Владимировна недоумевала, почему вместо благоустроенной городской квартиры она должна зябнуть на сырой даче, но с ангельской кротостью отбывала назначенные сроки. По иронии судьбы, она, буду-

чи действительно дворянского происхождения, оказалась в двойной вассальной зависимости — от Тани, унаследовавшей командные гены отца-полковника, и от генеральши.

Иногда приезжал мой папа — потряхнуть старинной и сходить «в далекую». Эта формула помнилась с детства, когда папа, повязав на голову носовой платок с четырьмя узелками по углам, отправлялся за десятки километров к другой ветке железной дороги, слал оттуда маме телеграмму и поспевал к ее сюрпризному вручению.

Выставив небольшой столик в сад, я занимался полузапретным Пастернаком, наслаждаясь соответствием антуража его дачной поэтике. Наш дом был ближе всех к озеру, стол стоял у самой дорожки, и Толян, проходя мимо, звал меня купаться. Я отвечал, что работаю, и он с неизменным недоумением повторял: «Чё ты все пишешь?!.. Писатель!!...». (Как в воду глядел.)

Зинаида Владимировна вставала с рассветом и весь день, не покладая рук, поливала, удобряла, подрезала, окапывала, опрыскивала, пропальывала и пересаживала в изобилии росшие на участке цветы, ягоды, овощи и фрукты. Одновременно она распоряжалась наемными рабочими из деревни, которые что-то для нее чинили, красили, копали и заливали бетоном, а к концу дня хрестоматийно толпились у заднего крыльца в ожидании оплаты.

Рабочими она была недовольна — они явно уступали немецким стандартам.

— Моя бы воля, я б их на конюшне секла, — говорила она. Я кивал с чувством тайной диссидентской солидарности.

Деревенскую публику Зинаида Владимировна вообще не жаловала.

— Вот у кого теперь деньги, — говорила она, мотая головой в сторону шумно колесивших вокруг участка пьяных мотоциклистов.

В ее «теперь» слышалось сожаление об уходящих в прошлое временах подлинного аристократизма.

— Какая у вас замечательная усадьба! — как-то сказал я, отчасти в дипломатических целях, но не кривя душой, и был вознагражден незабываемой репликой:

— Сталин добрый был, много давал...

Покататься на яхте приезжали друзья. Однажды была американская аспирантка Джоханна Николз (ныне знаменитая лингвистка). Из валютного магазина она привезла невиданный продукт — пиво в банках. Потягивая его под деревом, она употребила изысканную английскую конструкцию «Am I decadent!» («Ну, я и разлагаюсь!»), которую мы тут же освоили.

Яхточка ее не впечатлила — ее бывший свекор был бизнесменом как раз по этой части.

— He owns marinas... («Он владеет маринами»).

— Marinas? Что такое «марина»?

— Пристань с прокатными лодками, яхтами и тому подобным.

— So he owns it? («И он ей владеет?»)

— Them. («Ими».)

Как реалии, так и грамматика (*pluralis*) звучали недостижимо. Впрочем, свекор, вместе с мужем и маринами, был все-таки бывший.

... В один из первых приездов после перестройки, летом 1991 года, я совершил ностальгическое паломничество в Купавну. Я ожидал увидеть процветающий, может быть, чрезмерно коммерциализованный, курорт и был поражен зрелищем запустения. Кругом были непроходимые буераки, валялись блоки распавшейся бетонной ограды, кафе на берегу было заколочено, озеро зацвело, по нему не катались и в нем не купались. Даже погода соответствовала — несмотря на июль, было холодно.

С трудом пробравшись к даче, я привычным движением открыл внутреннюю щеколду калитки, вошел и осторожно, с извиняющейся оглядкой, направился к главному дому. Он, однако, был необитаем — завешен пластиком, как при ремонте. Меня окликнула пожилая женщина, в которой я узнал Наташу. Я сказал, что когда-то снимал здесь дачу, спросил Зинаиду Владимировну. Наташа улыбнулась и повела меня к стоявшему около «павильона» столу с лавками, за которым сидела, как Меншиков в Березове, закутанная в темное тряпье генеральша.

Мы поздоровались. Мне были рады. Наташа сказала:

— А я смотрю, кто-то иностранной походкой идет по участку...

Беззубо шамкая, Зинаида Владимировна стала жаловаться на разруху («Теперь, знаете, у кого деньги?»), расспрашивать, радостно завидуя, про наше заморское благополучие (я стушевался, сказав, что по-настоящему богата Таня, у которой бизнес и дом в Итаке, квартира в Монреале, дом и земля под Монреалем) и допытываться у меня, иностранца, «что же теперь с нами будет».

Господский дом ремонтировался, значит, было на что, но пока они жили в той же избушке, что когда-то, — у разбитого корыта. Аристократическая парадигма, разыгранная генеральшей, оказалась себя с неукоснительной полнотой, явив наглядную картину разорения мелкопоместного дворянства.

Интересно, как теперь? У кого деньги?

Из России с любовью

Это было в начале 70-х годов, в эпоху застоя, в период его расцвета. Мой ученик (назову его кафкианским инициалом К.), вдвоем с которым мы практически контролировали рынок переводов на язык сомали, сообщил мне, что наклевывается новый источник халтуры: Агенство Печати Новости открывает серию переводов классиков марксизма-ленинизма на ранее не охваченные восточные языки. Заведует этим делом некто Козлов, бывший резидент в Китае.

Я ответил, что идея хорошая, лишние деньги не помешают, но времени на дополнитель-

ную халтуру у меня нет. К. меня успокоил. От меня требовалось только сходить к Козлову, напустив важности, выговорить оптимальные условия и, по занятости, поручить переводческую роль К., так и быть, согласившись на редакторскую.

Козлов оказался невзрачным (подслеповатым? рыжеватым? лысоватым?) человечком, на которого с первого же взгляда естественно было свалить китайские промахи Кремля. Я взял уверенный тон. Одобрив планы приобщения сомалийцев к трудам Ленина и заверив Козлова в высоте квалификации К., я перешел к центральной теме — ставке за лист.

Козлов проявил знакомство с вопросом и выразил готовность платить двадцатипятипроцентную надбавку «за редкость» — категорию, под которую подходили все восточные, в том числе африканские, языки. Я, однако, метил выше.

Я указал на особый статус языка сомали, лишь недавно обретшего письменность. Ставя задачу перевода на него сочинений Ленина, следовало учитывать, что само слово «перевод» получает в этом случае качественно иной смысл. Если при работе с китайским, японским, хинди и т. п. дело сводится к переводу на языки, давно абсорбировавшие марксизм, то на сомали предстоит начинать с нуля. Речь идет не о переводе в готовые языковые формы, а о создании всей необходимой фразеологии. На переводчика — К. — ложится гигантская историческая ответственность: от него

зависит, как на сомали будет впредь звучать голос Ленина.

Эту импровизацию в стиле О. Бендера я заключил требованием удвоить надбавку. Козлов выслушал меня с пониманием, но сослался на отсутствие соответствующих разнарядок. Так что, 25% — si, 50% — no, хотите берите, хотите нет. Мое красноречие разбилось о стену. Программа-максимум не сработала. Можно было, конечно, гордо удалитьсь, но мы утерлись и согласились на минимум.

... Передо мной лежат три красных книжечки на сомали, две ленинских и одна брежневская. Никаких других фамилий там не значится — ни Козлова, ни К., ни тем более моей. Не помню и, получил ли я что-либо за «редактуру». Боюсь, что да. Сохранилось вложенное в Брежнева уклончивое письмо на бланке АПН от 6 февраля 1974 г.:

тов. Жолковскому А. К.

Направляем Вам, как переводчику на язык сомали, брошюру Л. И. Брежнева «Наш курс — мир и социализм», выпущенную Издательством АПН.

П. Козлов,
Заведующий Редакцией изданий
на восточных яз.

Козлова я больше не видел, но свою оценку его агентурных качеств пересмотрел. Не исключая даже, что развернув мои аргументы перед началь-

ством, он добился-таки изменений в разнарядках, а разницу, как теперь выражаются, приватизировал.

Встречи с интересными людьми

В середине 70-х годов, уже на полуопальном положении, служа в «Информэлектро» и почти все рабочее время посвящая статьям по структурной поэтике, которые затем печатались на Западе, я получил приглашение выступить со своими идеями перед интеллигентной аудиторией города-спутника биологов Пущино. Устроила это имевшая там множество знакомых наша сотрудница Леля В. — под флагом модной в те времена формы неофициальной культурной жизни: встреч с интересными людьми. В Пущино располагался Институт белка АН СССР, и по инициативе его замдиректора, профессора, скажем так, Петухова, при пущинском Доме ученых было создано интеллектуальное кафе «Желток». Петухов охотно клянул на Лелину идею, а меня она без труда соблазнила перспективой мгновенной славы и вдобавок лыжного катания по приокским холмам и долам.

Учитывая словесную магию места (*белок – желток – Петухов – ...*), в Пущино, наверно, следовало бы говорить о Пушкине. Но я избрал Пастернака и Ахматову. На примере ахматовского стихотворения 1936 года «Борис Пастернак» («Он, сам себя сравнивший с конским глазом...»), в то время печатавшегося под стыдливым названием «Поэт», я

решил развить занимавшую меня тему взаимодействия поэтических миров. Прибыв на место, я увидел цветную афишу, гласившую:

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

канд. филол. наук

А. К. Жолковский

АХМАТОВА О ПАСТЕРНАКЕ

Кафе «Желток»

19 часов

Стилистика кафе была позаимствована из телевизионного «Голубого огонька» — так называемая непринужденная атмосфера, столики с пластмассовым покрытием, чашечки с черным кофе. Но массовость аудитории превзошла самые смелые ожидания: в зале было несколько сот человек. Наверно, в тот вечер пущинцам было больше некуда пойти, и они сбежались, как солдаты на привезенную в часть кинокартину.

Это был один из редких в моей жизни случаев массового успеха, а по продолжительности выступления — бесспорный личный рекорд. Сначала я говорил часа полтора, потом сделали перерыв, во время которого желающие, примерно половина, ушли; потом выступление и дискуссия продолжались еще часа два; после второго перерыва осталось человек двадцать, но в полночь кафе закрывалось, и тогда совсем уже узкий кружок собрался у кого-то на квартире. Наряду со щекочущими диссидентское сознание именами двух поэтов, роль,

возможно, сыграл и присвоенный мне титул интересного человека.

Острых моментов в ходе доклада было два, оба в первом отделении. Сначала кто-то из слушателей, раздраженный жесткостью моих структуралистских построений, спросил, как можно говорить о формулах и инвариантах, когда все поэтическое, духовное, да и вообще человеческое, так непредсказуемо и неповторимо.

— Что за такая неповторимость? — парировал я. — Вот, например, ваш вопрос, как правило, задается кем-нибудь именно в этом месте доклада. Так что вы как раз вполне повторимы.

По аудитории пробежал одобрителный смех. Все-таки это были исследователи не чего-нибудь, а белка, к моделированию живого более или менее морально готовые.

Второй провокационный вопрос, поступивший от самого Петухова, касался трактовки формальных эффектов (звуковых, грамматических и т. п.) как средств воплощения смысла. Помимо вполне естественного незнакомства с достижениями тартуской семиотики, Петухов проявил неожиданное упорство в отстаивании своих литературно-теоретических воззрений. Спор затягивался, нарушая правильный ритм доклада и четкую расстановку сил, и я закончил его решительным выпадом:

— Я вижу, мне не удастся убедить уважаемого оппонента. Разумеется, каждый имеет право на свое мнение. Я только не хотел бы, чтобы у аудитории сложилось впечатление, будто имеет мес-

то спор между кандидатом наук Жолковским и доктором наук Петуховым. В действительности спор идет между кандидатом филологических наук Жолковским и, что касается литературы, выпускником советской средней школы Петуховым.

В зале послышался и захлебнулся возмущенный ропот. Спор прекратился, и я продолжал доклад; в перерыве Петухов и его супруга, корректно попрощавшись, ушли. После этого и до самого конца — до двух часов утра, когда я в изнеможении пошел спать, — никаких драматических эксцессов уже не было.

Из обитателей городка мне особенно запомнился один молодой сотрудник. Он был невысокого роста, красивый, с гладкой кожей. На другой день после доклада я был приглашен к нему на ланч, и меня поразила его кухня, сверкавшая чистотой и обилием кухонных принадлежностей — кофеварок, красиво расписанных досок для нарезания овощей и т. п. Он деловито и элегантно угостил нас, потом аккуратно убрал со стола, помыл и поставил сушиться посуду.

Он жил один, но вскоре ожидался приход его подруги. Я спросил, не ей ли его хозяйство обязано таким завидным порядком. Оказалось, нет — хозяйничать его научила мама, объяснившая, что это вернейший способ против непродуманной женитьбы, диктующейся соображениями уюта. Больше вопросов у меня не было, спорить тоже не приходилось — ответ оставалось запомнить и принять к сведению.

Так моя поездка в городок биологов закончилась встречей с действительно интересным человеком, несомненным специалистом по науке о жизни — способе существования белковых тел.

Работа не волк

Домашние и школьные строгости, еврейский комплекс вины и пример уважаемых коллег приучили меня к трудовой дисциплине. Получился даже некоторый сальеристский перекося, требовавший моцартианских поправок.

Давным-давно, разговорившись с коллегой, муж которой, А., был лингвистической звездой первой величины, я между прочим спросил, над чем он работает. Оказалось, что он недавно кончил статью и теперь отдыхает — живет на даче, играет в футбол, выпивает с друзьями и ничего такого научного не делает. Этот ответ произвел на меня, юного дебютанта, сильное впечатление. Вышло, что можно быть настоящим ученым, автором не только оригинальных, но и тщательно проработанных исследований (А. славился полным исчерпанием материала — принципиальным отказом от каких-либо «и т. д.»), и отнюдь не каждую минуту посвящать работе. И это на фоне того структурного бума, когда в лингвистику валом валили технари, и один из них (Г. П. М.) на вопрос, куда он едет в отпуск, отвечал, что у лингвиста не бывает отпуска, так что они с женой едут в диалектологическую экспедицию.

В дальнейшем я многие годы порознь соавторствовал с двумя коллегами — И. и Ю. Я восхищался обоими и старался подражать им, но в разном. И. являл образец мощного планомерного напора; это было понятно, и приходилось не отставать. Ю. был причудлив. Его очевидный талант, эрудиция и ранние успехи делали тем более загадочными его методы работы. Продолжительное совместное сидение над рукописью его тяготило. Отчасти, конечно, ввиду ненавистной ему совместности, но не только. Однажды он поделился со мной своими рабочими навыками.

— Если я позанимался некоторое время и что-то написал, значит, дело идет хорошо и можно предаться заслуженному отдыху, погулять, съесть что-нибудь вкусное. Если же я сижу и ничего не получается, то нет смысла упорствовать: надо сделать перерыв, перекусить, пойти проветриться...

Меня это поразило, и я стал сознательно прививать себе такую гигиену труда. Особенно удавалась она с И.: на себя я брал амплуа по-детски беззаботного творца, зная, что И. охотно потянет ту лямку ответственности, которая с Ю. приходилась на мою долю.

Как-то раз, в ответ на мой очередной призыв форсировать работу, Ю. запротестовал:

— Нет, Алик, извини, но это невозможно. Ты чего-то недопонимаешь. Ты, повидимому, забываешь, что я, как бы это сказать, я... все-таки... русский.

Я постарался больше не забывать. Впрочем, русские бывают разные. А бывают и евреи, подобные Ю. Так, где-то у Гейне есть забавный пассаж о том, как он работает. Приблизительно такой:

«После завтрака я сел за письменный стол, чтобы отделать стихотворение, написанное накануне. В целом я остался им доволен, но решил, что в одном месте не хватает запятой. Поставив запятую, я с чистой совестью отправился на прогулку, а затем плотно пообедал. Вечером я перечитал текст и пришел к выводу, что запятая там ни к чему. Я убрал ее и с чувством хорошо поработавшего человека лег спать».

Любопытно было бы, конечно, узнать, как он работал накануне, но об этом пустяке Гейне умалчивает...

Когда я стал собираться в эмиграцию, И. звонил из Канады, убеждал и торопил, я же тревожился, выдержу ли капиталистическую конкуренцию, ее агрессивный нахрап, — помнится, я употребил слово drive.

— Какой, к черту, drive? — ответил И. — Сонное царство...

Разумеется, канадцы — не американцы, да и американцы бывают разные, но в английском языке недаром есть поговорка: All work and no play makes Jack a dull boy (*букв.* «Одна работа без раз-

влечений делает Джека скучным парнем»). Это, конечно, не то же самое, что «Работа не Алитет, в горы не уйдет»; дело делается, но в основном от 9-ти до 5-ти. Собственно, в этом вся идея. Нет авралов, сдаванки, трудового героизма.

И действительно, зачем из работы делать волка? К тому же, с годами рабочий энтузиазм спадает. Сказывается и торжество постмодерна, деконструировавшего железную хватку структурализма.

... Пишу это в первых числах января, перед началом семестра, к которому не готов и готовиться неохота.

Гранты и эмигранты

Когда в 70-е годы наша с Мельчуком теория лексических функций стала пользоваться вниманием иностранных коллег, он очень радовался, рассчитывая на ее скорое всемирное торжество. Помню, как он призывал L., проводившего в Москве саббатикал, привлечь к параллельной работе на английском материале корнелльских студентов. L. сказал, что идея хорошая, и по приезду в Штаты он подаст на соответствующий грант.

— Какой еще «грант»? — удивился Игорь. (Этого слова в русском языке тогда не было.) — Ведь тебе нравится наша теория? Так преподай ее студентам, и они тоже заинтересуются.

— Да, и если я получу грант, я смогу пригласить их заняться этим.

— Но ведь лексические функции так увлекательны, что студенты сами захотят с ними работать! Поделят между собой словарь и приступят к делу!

— Конечно, — если грант позволит организовать этот проект..

— Вот заладил про какой-то грант! Алик, ты понимаешь, что он говорит?

Я уже некоторое время догадывался, что мне предстоит в очередной раз сыграть роль переводчика-медиатора между Игорем и институтами культуры, в данном случае буржуазной, и к ответу подготовился.

— Понимаю, и ты тоже поймешь, если учтешь, что наш друг L. — американец, действующий в рамках американской системы, где ничто не делается бесплатно, почему и нужен грант. Подумай, даже величайшему из американцев, Линкольну, для того чтобы осуществить дело своей жизни, потребовался Грант. Это полезно иметь в виду всякому, собирающемуся переселиться в Америку...

Прошло несколько лет, я уже работал в Корнелле, но несмотря на достигнутое еще в России теоретическое владение идеей гранта, сам на гранты не подавал и вчуже завидовал американским коллегам — мастерам их получения, гордившимся своим искусством grant writing. Мне, все еще учившемуся прилично писать по-английски, было до них далеко. Как-то одного из них, J., сравнительно молодого, но уже знаменитого литературоведа, выпускавшего в год по книжке, я спросил, душа зависть комплиментом:

— Ну, ты уже знаешь, какую книгу ты напишешь в следующем году?

— Нет, — ответил J., — этот год я намерен лежать под паром (*lie fallow*).

Слово *fallow*, достаточно экзотическое в научном контексте, задело мое настроенное на каламбуры воображение, затаенная зависть прорвала тонкую корку словесной цензуры, и я выпалил:

— А *fellowship* ты под это дело уже получил? (*Fellowship* — «стипендия».)

Сам я впервые собрался подать на гранты лишь десяток лет спустя, но даже получив их и прожив на них, не преподавая, целый год (1990/91), остался при убеждении, что проще непосредственно писать свои работы, нежели приниматься за грантопись. В этом я оказался не меньшим консерватором, чем во многом другом, не меньшим славянофилом, чем Мельчук 70-х годов (с тех пор он уже давно канадец и весь в грантах), и заведомо большим простаком, чем сегодняшние русские, — по однажды слышанному мной определению, «дети капитана Гранта».

Nowy Świat

Когда я начинал заниматься языком сомали (1963 г.), он был еще бесписьменным, и материалов на и о нем было немного. Скучную эту литературу я читал в Ленинке, а кое-что мне доставляли курсировавшие между Москвой, Могадишо и Лондоном сомалийские студенты и сомалийцы-дикто-

ры Московского радио, где я работал на полставки. По-русски не было совсем ничего, а среди выходявшего на Западе выделялись работы Богумила Анджеевского (Andrzejewski), профессора Факультета востоковедения и африканистики (School of Oriental and African Studies) Лондонского университета.

Как я постепенно узнавал, Анджеевский, поляк, в начале войны интернированный в СССР (кажется, в Узбекистане, ср. ташкентские стихи Ахматовой к Чапскому), присоединившийся к армии генерала Андерса и сражавшийся, но не погибший, под Монтекассино, после войны не вернулся в советизированную Польшу и обосновался в Англии. Оказалось, что помимо профессорствования в университете он сотрудничает на Би-Би-Си в качестве внештатного консультанта сомалийской редакции. Об этом мне поведали мои друзья-информанты с радио, которые, бывая в Лондоне, подрабатывали на Би-Би-Си и были с ним знакомы. Рассказывали они и ему обо мне — молодом советском энтузиасте сомаловедения. Я тщательно изучал его работы, но в переписку с ним не вступал, твердо постановив, что обращусь к нему не иначе, как послав собственный научныйopus.

Этот час пробил наконец в 1966 году, когда в сборнике «Языки Африки» появилась моя статья «Последовательности предглагольных частиц в языке сомали». Я немедленно отправил ее Анджеевскому, сопроводив почтительным письмом, в

котором выражал надежду, что даже если о русском языке у него не лучшие воспоминания, то как-нибудь, между польским и сомали, он разберется в моем тексте, а главное, в венчавшей его таблице.

Результат превзошел ожидания. Меня не только прочли на сомаловедческом небе и не только одобрили в целом. На бланке с загадочной шапкой Senior Common Room мне написали, что графа 11-я моей таблицы представляет собой ценное добавление к тому, что мы (!) до сих пор знали о языке сомали. После этого между мной и Анджеевским установилась переписка; он стал присылать мне свои работы, а когда я защитил диссертацию по сомалийскому синтаксису и выпустил книгу, я послал ее ему.

Все это происходило заочно, через более или менее железный занавес — вплоть до 1976 г., когда я в последний раз приехал в Польшу и, по наводке общего знакомого, польского арабиста и африканиста Анджея Заборского, разыскал Анджеевского в Варшаве, где он был гостем университета.

Анджеевский оказался сидящим красавцем-джентльменом с усами. Он повел меня на ланч в дорогое кафе «Новый Свет» на одноименной улице — одной из главных, ведущей в Старе Място. Говорили о разном, в частности, о созревавшем у меня намерении эмигрировать. Я бредил Западом, он предупреждал меня о трудностях с работой. Он похвалил мою книгу о синтаксисе сомали, обнаружив хорошее с ней знакомство. Тогда, набравшись

смелости, я спросил о том, о чем хотел спросить давно: как он относится к Приложению V, где дана отличная от его собственной трактовка частицы *wacha*. Он сказал, что в общем и целом принял мою трактовку.

— Я использую ее, — сказал он, — в преподавании сомалийской грамматики студентам из Сомали.

Тут я почувствовал, что на глаза у меня навертываются слезы и начинают течь по щекам. Было от чего. Не кто-нибудь, а сам Анджеевский, не где-нибудь, а в лондонской Школе, преподает сомали не кому-нибудь, а сомалийцам, и учит их не по своей книге, а по моей! И рассказывает мне об этом не где-нибудь, а в любимой мной Польше, в кафе на моей любимой улице с многозначительным названием.

Через три года, действительно держа путь в Новый Свет, я ненадолго оказался в Лондоне и повидался с Анджеевским. Так как у него было мало времени — они с женой спешили домой за город, встречу он назначил в привокзальном кафе. Ему вскоре предстоял уход в отставку (в Англии обязательный), и они с Шилой подумывали, не переселиться ли им тогда в Польшу, где на его скромную по английским масштабам пенсию можно будет чувствовать себя обеспеченными и без особых тревог «*start slowly sinking down to death*» («начать медленный спуск к смерти»), как с по-английски безупречной двойной аллитерацией, на *s* и на *d* (вполне, кстати, в духе аллитерационной сомалийской поэзии), мечтательно закончила Шила.

На пенсию он в дальнейшем вышел, однако ни в какую Польшу они, конечно, не переехали. Я переписывался с ним, но все меньше, так как со-мали постепенно забросил. В лондонской Школе я как-то раз побывал уже после его смерти — в гостях у А. М. Пятигорского. Саша принял меня в той самой Senior Common Room, то есть, попросту профессорской, название которой так интриговало меня тремя десятками лет раньше. А сейчас на пенсию вышел и Саша. Почему-то мне кажется, что, независимо от ее размеров, на покой в Россию он не поедет.

ИЗ ИСТОРИИ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

1.

В каждое из семи своих советских десятилетий российская интеллигенция была одновременно счастлива и несчастна по-разному. Сначала она слушала музыку революции и писала плакаты про радость своего заката; потом творила, выдумывала, пробовала, наступая на горло собственной песне и ни единого удара не отклоняя от себя; потом хотела труда со всеми сообща, даже в ссылке пыта-ясь большеветь и любить шинель красноармейской складки; потом час мужества пробил на наших часах, и мы были там, где наш народ, к несчастью, был...

До какого-то времени двусмысленные игры с собственным самовосприятием строились на

вытеснении неудобной информации. В 1937-м «мы ничего не знали», и только в 56-м «нам открыли глаза». Но к 70-м годам сослаться на незнание стало невозможно, и раздвоение психики отлилось в новые позы. Альтернативой полному разрыву с истеблишментом (отъезду, протесту, лагерю), стало полу-стоическое, полу-эскапистское решение «делать свое дело» — не обращайтесь в внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба.

Впрочем, и это новое раздвоение носило характер не столько раскола между группами, сколько внутреннего расщепления личности. В 70-е годы диссидентом можно было быть, так сказать, без отрыва от коллаборационизма. Сложилось некое цельное двоемыслие — уникальный сплав принципиальности и цинизма, суперменства и приспособленчества. Художественным выражением этой эпохи стало эзоповское письмо.

70-е годы начались в 1968-м, с вторжения в Чехословакию, если не в 1965-м, с ареста Синявского и Даниэля, и уже в 1969-м появился рассказ Фазиля Искандера «Летним днем», с редкой емкостью воплотивший новую ситуацию.

В курортном кафе рассказчик встречается с западногерманским туристом, который рассказывает ему о своем опыте интеллектуала, пережившего нацизм. В свое время замешанный в студенческих протестах против гитлеризма, он всю жизнь боится разоблачения и ареста. Где-то в

начале 1944-го года его вызывают в гестапо и предлагают сотрудничать — доносить на коллег по престижному физическому институту. Не желая, из «интеллигентского предрассудка порядочности», согласиться, но боясь прямо заявить об отказе, он умело лавирует, в частности, говоря, что «в случае враждебных высказываний... учитывая военное время... готов выполнять свой патриотический долг, только без этих формальностей». Его в конце концов отпускают, но вопрос о смысле такой половинчатой «порядочности» продолжает мучить его и вновь возникает в разговоре с рассказчиком.

Дело в том, что слова о «готовности выполнять патриотический долг» не являются чисто риторическим ходом — они отражают фундаментальную двусмысленность жизненной позиции коллаборанта, и власть понимает это не хуже, если не лучше, чем он.

«Однажды [гестаповец] чуть не прижал меня к стене, довольно логично доказывая, что, в сущности, я и так работаю на национал-социализм и моя попытка увильнуть от прямого долга не что иное, как боязнь смотреть правде в лицо. Я уклонился от дискуссии».

Однако и теперь, в беседе с рассказчиком, немец, указывая на невозможность/бессмыслен-

ность героического отказа (который он «сравнил бы с нравственной гениальностью», доступной лишь исключительным личностям), продолжает отстаивать пользу своей уклончивой порядочности:

- « — Нет, порядочность — великая вещь.
- Но ведь, она, порядочность, не могла победить режим?
- Конечно, нет.
- Тогда где же выход?
- В данном случае в Красной Армии оказался выход... [А] без Красной Армии [это] могло бы продлиться еще одно или два поколения. Но как раз в этом случае то, что я называю порядочностью, приобрело бы еще больший смысл как средство сохранить нравственные мускулы нации для более или менее подходящего исторического момента».

Ключевая фраза о нравственных мускулах нации вовсе не однозначна. Практическим успехом в увиливании от вербовки история с гестапо не кончается.

Через несколько месяцев герой идет по улице со своим другом-единомышленником, навстречу им попадает тот же гестаповец, и герой замечает, что те двое кивают друг другу. В душу героя закрадывается недоверие и на какую-то секунду он готов убить своего друга подвернув-

шимся обломком кирпича. « — Ты видишь, что они сделали с нами», — говорит его друг, и герой понимает, что «нашей давней дружбе пришел конец. Он постыдился сказать, что знаком с гестаповцем, а я... не постыдился подумать, что он может меня предать».

Налицо разрушительное воздействие власти на те самые нравственные мускулы, о спасительном упражнении которых шла речь. Эта линия проведена в рассказе немца с самого начала: когда его уводят в гестапо, он соглашается притвориться перед женой, будто это просто срочный вызов на работу, а затем идти по улице как бы сам по себе, а не под конвоем: «Я уже старался жить по их инструкциям».

Двойственной тактике героя вторит амбивалентная поэтика искандеровского повествования. Главное действие рассказа перенесено из советской России в гитлеровскую Германию, зато в порядке дополнительного сигнала читателю совестливый немец русифицирован — он «с юношеских лет изуча[ет] русский язык... [ч]тобы читать Достоевского». Вершиной эзоповской иронии является, конечно, пассаж про спасение, приносимое Красной Армией, который своим непосредственным соседством бросает двоякий свет на максиму о нравственных мускулах. А подрыв этой максимы, в свою очередь, наводит некоторую тень и на эзоповскую стратегию Искандера. Все же его (и его представителей в тексте — «авторского я» и

вставного рассказчика-немца) умудренное двуличие представлено предпочтительным по сравнению с непробиваемой цельностью еще одного персонажа-интеллигента — фигурирующего на заднем плане рассказа советского «розового пенсионера», самодовольного библиофила и читателя газет, уверенно поминающего Сталина и Черчилля, но абсолютно глухого к смыслу пережитой его поколением истории.

Искандеру удалось без потерь спроецировать современную ему советскую ситуацию на Германию последних лет войны. Тут и престижный институт, за работой которого следит сам фюрер, и тактичная вербовка с учетом материальной заинтересованности, и ощущение близящегося развала империи (фанатический подъем гитлеризма давно позади; на город падают американские бомбы), и анекдоты о фюрере, которыми обмениваются друзья-интеллигенты, и, главное, четкая расщепленность сознания на диссидентские мысли про себя и верноподданнические речи вслух.

Читатели (в том числе автор этих строк) немедленно узнавали в рассказе собственный подсоветский опыт, включая эпизод с вербовкой. Да и взят он, как позднее свидетельствовал Ст. Рассадин, из жизни: в нем Искандер использовал многое из рассказанного ему К. И. Чуковским и самим Рассадиным о том, как их приглашали сотрудничать с КГБ.

Перипетии моего общения по аналогичному поводу с неким «товарищем Василием» и его лу-

бянским боссом укладываются в общем в ту же картину (см. виньетку «Выбранные места из переписки с Хемингуэем»), хотя и остались Искандеру неизвестными. Здесь приведу некоторые другие выдержки из текста моей тогдашней жизни, которые могут, мне кажется, представить интерес как своего рода материалы к истории 70-х годов. Я начну с краткого предъявления «корпуса текстов», а затем перейду к их анализу. Поскольку дело не в конкретной личности, а, так сказать, в досье на среднего инакомыслящего 70-х годов, я условно обозначу этого персонажа буквами AZ.

2.

(1) С 1959 года AZ работает на переднем крае лингвистики — в Лаборатории Машинного Перевода (ЛМП) Московского Государственного Педагогического Института Иностранных Языков (МГПИИЯ). Обследующий ЛМП майор Стрелковский с военной кафедры подчеркивает, что работа над языковой семантикой — дело ответственное, даже опасное: по самой грани идеализма ходите! AZ острит, что в таком случае работникам ЛМП полагается кефир и надбавка за вредность.

(2) Майор Стрелковский — не последний военный, с которым приходится иметь дело. Однажды Лабораторию посещает в полной адмиральской форме член ЦК академик А. И. Берг, председатель Совета по

Кибернетике и покровитель новой лингвистики; коротенького сухонького адмирала сопровождает высокий, полный и глубоко штатский В. В. Иванов, по-адъютантски представляющий ему AZ и других сотрудников. В дальнейшем работа ЛМП над автоматическим толково-комбинаторным словарем (детищем AZ и И. А. Мельчука) ведется по договору с Министерством Обороны, надеющимся использовать МП в военных целях. А когда коллега из далекого Сиэттла (проф. Миклессен), просит показать ему (несуществующие) компьютеры, на которых реализуется МП, заведующий (В. Ю. Розенцвейг) возводит очи горе, давая понять, что инстанции, ведающие секретностью, этого не позволят.

(3) МП и вообще структурная лингвистика — не только передний край науки, но и рассадник диссидентства. С 1965 года старшие коллеги AZ (И. А. Мельчук, Ю. Д. Апресян) начинают подписывать письма протеста, AZ предлагает присоединиться, но его, как еще не защитившего диссертации, отговаривают: вес его подписи мал, а риск — велик. Защита же диссертации считается среди энтузиастов науки делом несерьезным, карьеристским, и AZ с ней не торопится.

(4) В аспирантуру, притом заочную, AZ поступает лишь в 1962 году. Он решает

обогатить свою лингвистическую квалификацию чем-нибудь «совсем другим», и под влиянием американских кумиров (Боаса, Сэпира, Уорфа), благодаря возможностям, открывшимся в связи с так наз. политикой мирного сосуществования, и по примеру друга (Ю. К. Щеглова), уже занимающегося языком хауса, выбирает сомали. Выбирает по карте, сверяясь с лингвистическими, этническими и климатическими данными. При этом московская африканистика находится в столь зачаточном состоянии, что знание языка не считается существенным условием для поступления в аспирантуру Института Восточных Языков при МГУ (ИВЯ). В то время сомали — язык бесписьменный. Его изучение сначала осуществляется AZ в Ленинке, по редким иностранным учебникам и записям устной традиции. Но затем у себя в Институте он случайно сталкивается с сомалийцем — одним из сотен, обучающихся в СССР, и через него знакомится с другими.

(5) Первым учителем AZ становится Махмуд Дункаль. Именно в его комнате в общежитии МГУ на Ленгорах AZ впервые видит нейлоновую сорочку, которая быстро стирается и высыхает выглаженной. Первый урок языка начинается с имени учителя — Дункаль, которое значит «ядовитое дерево», а также «герой». AZ не видит общей семантической основы. «Ну

как же, — говорит Дункаль, — «убивает много». «Анчар», переводит для себя AZ.

(6) По линии сорочек Дункаль никак не выделяется среди других сомалийцев. Настоящим франтом среди них является высокий красавец Ахмед Абди Хаши, одевающийся исключительно в Лондоне. В дальнейшем AZ работает с ним на Радио и на «Экспортфильме», находится в приятельских отношениях (вплоть до предоставления ему своей квартиры для свиданий с приезжей литовкой, объясняя это в домоуправлении и в милиции исследовательскими нуждами), но так и не может отделаться от ощущения собственной неполноценности.

Ахмед занимает видное положение в организации сомалийских студентов и часто рассказывает AZ о ненависти, которой в СССР окружены африканцы. Однажды он возвращается из Баку, с расследования убийства двух сомалийцев на сексуальной почве. Желая отвести от СССР обвинение в линчевании негров, посягнувших на белую женщину, AZ говорит, что азербайджанцы — дикий народ, ходят с ножами и готовы зарезать кого угодно, не обязательно негра. «Что ты мне объясняешь, — отвечает Ахмед, — я сам могу зарезать».

(7) Другой сомалиец, Хассан Касем, отказывается заниматься с AZ. Этот низкорослый, со злыми глазами поклонник Лени-

на презрительно отмечает либеральные рассуждения AZ: «Что ты можешь понимать? Ты — маленький интеллигент», — говорит он, не смущаясь ни своим ломаным языком, ни ростом и ученостью AZ.

(8) В 1964 году изучение сомали получает новый толчок: AZ поступает на Московское Радио — выпускающим редактором на полставки в сомалийскую секцию Редакции вещания на Африку. Сомалийские дикторы, специально приглашенные по контракту из Сомали, и студенты, подрабатывающие на почасовой оплате, записывают передачи на пленку, читая, ввиду бесписьменности языка, с английского или итальянского текста, поставляемого соответствующими редакциями. Выпускающий ведет запись, следя за точностью перевода по русскому оригиналу. Для изучения языка ничего лучше такой трилингвы нельзя и придумать. Завотделом Восточной Африки С. П. Романов, в свое время снятый с более высокого поста, наставляет AZ: «Ты, главное, следи за отрицательными частицами, а то нам всем не сдобровать». AZ успокаивает его сообщением о наличии в сомали особого отрицательного спряжения.

(9) Сомалийский диктор Абди Хаши — такой же новичок на Радио, как AZ. Он из Могадишо, т. е. из бывшего Итальянского Сомали. Там, где знание сомали подво-

дит AZ, они разговаривают по-итальянски. Ориентируясь на предполагаемый социальный заказ, Абди пытается обращаться к AZ с коммунистическим «товарищ» (*compagno Alek*). Его простодушное невежество и незнакомство со штампами советской пропаганды служит идеальным стимулом для изучения языка благодаря тщательной и многократной совместной проработке каждого текста.

(10) В Сомали только недавно (1960) была провозглашена независимая республика. Абди с гордостью говорит о ее отличиях от других африканских государств. Во-первых, носители разных сомалийских диалектов хорошо понимают друг друга, причем на собственном языке, а не навязанном им колонизаторами. Во-вторых, разные ветви власти — администрация, армия, полиция — находятся в руках разных племенных групп, и потому насильственные перевороты исключены.

Наличие в сомалийском языке трех основных диалектных объединений известно AZ из книг. Однако его вопросы к информантам о вариантах произношения и других языковых различиях натываются на возмущенную реакцию: диалекты, племена, трайбализм — это выдумки колонизаторов.

(Пройдет несколько лет, и в 1969 году тотальную власть захватит генерал Мохаммед Сиад Барре, опираясь на обученных

в СССР военных. Он введет единую латинизированную письменность. Абди он сделает своим представителем по связям с печатью. Ахмед станет послом в ГДР. В дальнейшем Сиад начнет войну с Эфиопией, будет предан советскими покровителями и свергнут. В Сомали воцарятся голод и анархия.)

(11) Приглашенные на почасовых началах сомалийские студенты, получив зарплату, вдруг исчезают.

— В чем дело? — спрашивает AZ. — Им что, показалось мало?

— Наоборот, они думают, что этих денег им хватит до конца жизни. На следующей неделе, когда все потратят, вернутся, — разъясняет Г. Л. Капчиц, ученик AZ, теперь тоже работающий в редакции.

(12) Не все разделяют это благодушное отношение к сомалийцам. Один из редакторов, некий крестьянского вида Володя, не знающий языка и берущий у сомалийцев интервью по-русски, забрасывая очередную кассету на антресоли над дверью, поясняет удивленному AZ:

— Там они у меня все, голубчики, как один, записаны. Захотят потом отпереться, а у меня, пожалуйста, пленочка. Твой голос или не твой?

(13) Подходит время сдачи кандидатского экзамена. Его организация возлагает-

ся научным руководителем (Н. В. Охотинной, специалистом по суахили) на самого AZ. Экзамен должен состоять из письменного перевода незнакомого текста, разговора на языке с носителем и грамматического анализа текста. Однако ввиду бесписьменности языка письменный текст взять неоткуда, если не считать немногочисленных материалов в научной транскрипции, которые AZ знает чуть ли не наизусть, так что ни о каком незнакомом тексте не может быть и речи. Сомалиец-информант обещает придти на экзамен, но не является. Единственное выполнимое условие — пункт относительно «без словаря», ибо сомалийского словаря в то время нет и в помине. Возглавляет комиссию прогрессивный, в свое время битый за формализм, профессор-руссист П. С. Кузнецов — неизменный экзаменатор и оппонент по структурной лингвистике, африканистике и вообще всему «новому». А вскоре AZ поручают преподавание сомали как второго языка для студентов-амхаристов. На вступительной лекции AZ выражает надежду, что к концу двухгодичного курса кто-нибудь из собравшихся, вероятнее всего, он сам, научится говорить на сомали.

(14) Сомалийское вещание процветает. Встает вопрос о зачислении Капчица, превзошедшего своего учителя и действительно научившегося говорить по-сома-

лийски, в штат. AZ идет просить за него к заведующему «всей Африкой» С. С. Евсееву (сыну профессора, мотоциклисту, начальнику, работающему под интеллектуала) с аргументацией, основанной на уподоблении Московского Радио средневековым монастырям: официальные тексты в обоих случаях — полная ерунда, но спасение монахами античных классиков, а просвещенным радиокомитетским начальством специалистов по экзотическим языкам — неоценимый культурный подвиг. Капчиц, иногородний еврей, но зато член партии и уникальный специалист, получает работу и прописку.

(15) Сам AZ, овладев сомалийским языком в масштабе передач Московского Радио, со скромной должности редактора-выпускающего переходит на роль диктора-переводчика. Это крупное профессиональное и финансовое повышение. Переводчик на суахили, толстенный остряк Саша Довженко, сидящий за машинкой напротив AZ, приветствует его в его новой роли вопросом:

— Ну, как, профессор, уже вычислил, какая у тебя производительность труда?

— ???

Довженко театрально опускает палец на клавиатуру.

— ???

— У нас тут каждый знает, сколько стоит его удар по клавише. — Довженко называ-

ет точную цифру зарабатываемых им за печатный знак копеек.

(16) Дежурная по редакции просит AZ задержаться — ожидается важная новость. AZ томится. Наконец, из Главной редакции поступает долгожданная страничка: «В связи с предстоящим празднованием столетия со дня рождения Ленина, принято решение...»

— Какая же это новость, — комментирует AZ, — если что-то случилось сто лет назад?

(17) «Или вот так. — Довженко на минуту отрывается от машинки. — Вот так: «Дорогие друзья! Вы прослушали беседу с уборщицей Московского Автозавода имени Лихачева Замухрыгиной. Перевел.. доктор филологических наук, профессор Московского Университета... Жолковский». А?»

(18) AZ, подталкиваемый старшими коллегами, в частности, Розенцвейгом, говорящим ему, что он «ослабляет свою [научную] партию», пишет, наконец, диссертацию (по синтаксису сомали), и на май 1968 года назначается защита. Одновременно AZ, возбужденный событиями «пражской весны» и заявлением Павла Литвинова по «Голосу Америки» о готовящемся процессе Гинзбурга и Галанскова, подписывает соответствующее письмо протеста. Институт, где работает AZ,

отзывает назад свою характеристику — необходимый компонент всякой защиты, и та в последний момент, уже после рассылки автореферата, отменяется.

(19) На Радио по крайней мере некоторые из коллег осведомлены о диссидентстве AZ, то ли по московским слухам, то ли из материалов так называемого «радиоперехвата» — распечаток передач зарубежных радиостанций для служебного пользования. В разговоре с AZ обозреватель Ю. Фонарев полуиронически упоминает о ставшем ему известным участии AZ в «акциях советской интеллигенции». Однако никакой официальной реакции со стороны радиокомитетского начальства не следует, а AZ на Радио своего подписанства не афиширует.

(20) В сентябре, после вторжения в Чехословакию, AZ, оказавшегося единственным подписантом на весь Институт (готовящий международных переводчиков), вызывают в ректорат. Ректор (М. К. Бородулина) просит AZ написать письменное объяснение. Понимая, что властям нельзя давать никакого материала для манипуляций, он отказывается, ссылаясь на внеслужебный характер своего поступка. Ректор просит его назвать тех, кто дал ему письмо на подпись. Он опять отказывается, указывая на нетоварищеский, некомсомольский характер подобного раз-

глашения. Ректор перестает здороваться с AZ и приступает к принятию более жестких административных мер.

(21) Следует серия вызовов AZ в партбюро с целью запугать его и вынудить либо к отречению от подписи, либо к добровольному уходу по собственному желанию. Он дипломатично, но твердо отказывается, испытывая в то же время чувство унижения от общения с секретарем партбюро (Ф. М. Березиным) и переговоров с ним на советском лексиконе.

(22) Угроза изгнания с работы все более сгущается. На троллейбусной остановке напротив Института с AZ заговаривает редактор институтской многотиражки, симпатичный, но бесконечно печальный и осторожный еврей (Комановский).

— Как ваши дела, — спрашивает он.

— Допустим, плохи, — с вызовом отвечает AZ.

— Вот и я думаю, что плохи, — грустно кивает Комановский.

Через год AZ встретится с ним в желудочно-кишечном санатории в Ессентуках, куда AZ приведет стресс от борьбы с истеблишментом, а через несколько лет Комановский умрет — еще не старым человеком.

(23) На круглом столе по вопросам структурализма в редакции журнала «Иност-

ранная литература» к AZ подходит его учитель и старший коллега и тоже подписант В. В. Иванов. Со ссылкой на информацию из верхов, он предсказывает, что AZ уволят. В ходе заседания кто-то в защиту структурализма упоминает недавнюю статью члена ЦК Французской компартии Ги Бесса (то ли в «Вопросах философии», то ли в «Леттр франсэз»). На это оппонент структурализма А. Наркевич возражает, что статья была напечатана в мае, а сейчас на дворе ноябрь. Подразумевается, что происшедшее в промежутке вторжение в Чехословакию резко изменило все оценки.

— Иными словами, майские тезисы устарили, — подает реплику AZ. — Как же тогда быть с апрельскими?

(24) Узаконенным способом увольнения служит процедура переаттестации сотрудника, в ходе которой начальство более или менее искусно или достаточно грубо трансформирует политическую неблагонадежность в профессиональную непригодность. AZ хочет с презрением отказаться от цепляния за низкооплачиваемую и по сути давно превзойденную им должность младшего научного сотрудника, но Розенцвейг убеждает его, что сдаваться без боя значит идти навстречу гонителям. На заседание кафедры языкознания (ноябрь 1968 года), посвященное переаттестации AZ, помимо постоян-

ных членов, впервые в жизни являются все полуставочники и почасовики, преподающие структурные и математические курсы, образуя неожиданное демократическое большинство. По совету Розенцвейга, AZ отвечает на политические обвинения сдержанно, указывая на правомерность своей акции, продиктованной заботой о соблюдении норм социалистической законности и адресованной не антисоветским кругам, а ЦК КПСС. Кульминацией заседания становится смелое выступление ученого секретаря Института А. Я Шайкевича, подчеркивающего профессиональные заслуги AZ и взывающего к совести собравшихся. Оценив обстановку, дипломатичный партиец Ю. В. Рождественский предлагает, а проректор Института по научной работе Г. В. Колшанский поддерживает, компромиссную резолюцию отложить переаттестацию на год, в течение которого AZ сможет осмыслить свое поведение и вновь заслужить доверие коллег. Резолюция принимается единогласно.

(25) В новом 1969 году секретарем партбюро и завкафедрой марксизма-ленинизма Института становится вернувшийся из-за границы В. Г. Карпушин, специалист по итальянскому Возрождению и человек с репутацией кагэбэшника-либерала, которому поручено наладить идеологическую работу в Институте. С разных

сторон, в том числе от Розенцвейга и Шайкевича, AZ слышит, что Карпушин о нем спрашивал и что ему следует с ним встретиться. Карпушин расспрашивает AZ о том, как свершилась его «culpa», и перемежает его рассказ изощренными социологическими комментариями о функционировании групп давления на властные структуры, неизбежно выходящем из-под контроля индивидуальных участников. Он заключает беседу благосклонным: «Работайте». AZ говорит, что для него нормальная работа предполагает защиту диссертации. «Хорошо, — отвечает Карпушин, — дайте мне взять дела в свои руки и через месяц приходите за характеристикой».

(26) По прошествии месяца AZ напоминает о договоре. — «Заходите во вторник и принесите вашу старую характеристику». В несколько приемов (с недельными интервалами) Карпушин сокращает пышную прежнюю характеристику до минимальной констатации фактов («Поступил... Работал... Опубликовал...»); каждый очередной вариант он подает на подпись ректору и каждый раз получает отказ. После энной попытки он говорит AZ: «Она ничего не подпишет. Она вас ненавидит. Но скоро она уходит в отпуск, и тогда я пойду к Колшанскому». Колшанский подписывает характеристику, добавив в нее многозначительно уклончивую

формулировку о «недостаточно активном участии в общественной работе».

(27) После ряда перипетий защита назначается на конец апреля 1969 года, то есть за считанные дни до истечения срока действия разосланного в прошлом году автореферата. На защиту — единственную в Москве кандидатскую защиту подписанта-гуманитария — приходит множество народа. Фразу об общественной работе ученый секретарь по собственной инициативе, подкрепленной своевременным вручением коробки конфет, решает не зачитывать. Видные оппоненты (А. А. Зализняк, А. Б. Долгопольский) отмечают высокий научный уровень диссертации. С краткой речью выступает приведенный Капчицем сотрудник сомалийского посольства, приветствующий успех первой в СССР диссертации по языку его молодой республики. Тринадцатью голосами против четырех Ученый совет присуждает AZ искомую степень. ВАК утверждает это решение.

(28) Через два года выходит основанная на диссертации книга AZ, в качестве языковых примеров использующая тексты передач Московского Радио об американской агрессии во Вьетнаме и им подобные.

(29) С защитой диссертации, выходом книги и повышением в должности на ос-

новой работе AZ сокращает свое присутствие на Радио. Капчиц занимает его место диктора-переводчика, а выпускающим редактором становится высокая и энергичная аспирантка Зоя Степанова, член КПСС. Несмотря на слабое владение языком и дефекты артикуляционного аппарата, она в отсутствие начальства начинает и сама выступать в роли диктора. Как сообщает один из студентов-сомалийцев, у его отца, регулярно слушающего передачи всех иностранных станций на сомали, появление в эфире нового голоса вызывает вопрос: «Малышку-то зачем мучают?»

(30) Уйдя с Радио, AZ сохраняет за собой другую сомалийскую халтуру — дублируя документально-пропагандистских фильмов на киностудии «Экспортфильм». AZ, Капчиц и подобранные ими дикторы-сомалийцы сосредотачивают в своих руках перевод и дублирование всех фильмов на сомали. (Этот источник доходов AZ не оставит даже в 1978 году, когда, подав документы в ОВИР, уйдет с основной работы.)

Монопольное положение дает интересные преимущества. Например, внезапно звонят со студии: в связи с правительственным визитом в Сомали необходимо быстро записать соответствующий фильм.

— В следующий вторник, — назначает AZ.

— Им нужно раньше.

— Раньше вторника не можем.

AZ едва успевает сговориться с Капчицем, как раздается звонок из ЦК. AZ умолим:

— Я же сказал, что до вторника не могу.

— Тогда мы найдем кого-нибудь другого. Незаменимых у нас нет!

Звонит Капчиц: с ним только что пытались назначить запись без AZ. Новый звонок из ЦК:

— А почему вы не можете раньше?

— А почему вы не позаботились прислать ваш материал и назначить запись заранее?

— Сейчас речь не об этом. Вы должны срочно выполнить ответственное задание.

— Вот во вторник и будет срочно, вне обычной очереди.

— А раньше никак нельзя?

— Никак. Я занят у себя на работе.

— Мы можем на это время освободить вас от работы.

— Спасибо, не надо. Я люблю свою работу. А вам советую получше делать свою, пока вас самих не освободили. До вторника.

(31) В 1974 году AZ все-таки увольняют: после высылки Солженицына атмосфера в стране меняется к худшему, и ректор наотрез отказывается возобновить контракт, на который AZ перешел ввиду отсутствия в штате должности для кандидата наук. Он устраивается в «Информэлектро» — информационный институт Мини-

стерства Электростанций, либеральный и независимый директор которого (С. Г. Малинин) охотно нанимает неблагонадежных интеллектуалов. В этом ему пытаются препятствовать заведующий отделом кадров Н. Е. Лебедь («нелебедь»). Последнему принадлежит историческая фраза: «Ладно, будем брать всех: евреев, диссидентов — всех... Но не только же всех!»

Интервью с Лебедем AZ проходит успешно.

— Ну, а читать вы любите?

— Люблю.

— Что же вы последнее время читали?

AZ называет каких-то авторов.

— Ну, а Ленина вы часто перечитываете?

— Вы очень странно ставите вопрос. Ленина не читают — Ленина изучают. Я вас даже не понял.

— «Материализм и эмпириокритицизм» давно изучали?

— Для нас, лингвистов, это настольная книга.

— А не помните, что Ленин там говорит о Канте? — спрашивает Лебедь, повидимому, как раз в это время проходящий в семинаре по марксизму соответствующую главу. AZ рапортует про ограниченность кантовского понимания вещи в себе.

Идеологический экзамен выдержан. Лебедь готов взять AZ на работу, но только через месяц — в следующем месяце нет денег. «Вы что же, думаете, что я пойду

на перерыв стажа?!» — возмущается AZ, проходя таким образом и проверку на вшивость. Его зачисляют немедленно.

(32) На этой работе с рекордной для него зарплатой AZ не делает совсем ничего и, готовясь к отъезду («Информэлектро» пользуется репутацией «пусковой площадки» для отъезжантов), пишет и печатает за границей статьи по поэтике, а тем временем дружит с профоргом, ходит с коллективом в сауну и вообще считается своим парнем. Ему даже выдают характеристики для частных поездок за границу — в Польшу. При подписании очередной характеристики Лебедь, как полагается, устраивает AZ экзамен по политической грамотности.

— Ну, а материалы съезда партии прорабатывал?

— Что за вопрос?

Из полупустого сейфа, в котором виднеется также бутылка кефира, Лебедь вынимает красный том материалов очередного съезда и торжественно раскрывает его:

— Посмотрим, посмотрим, что ты знаешь.

— Так нечестно, Николай Еремеевич, неспортивно — вы с книгой, а я без. Уберите книгу, тогда и спрашивайте.

— Ладно, что там у тебя, давай подпишу. AZ про себя решает, что следующая характеристика, за которой он обратится к Лебедю, будет для выезда в Израиль. (Так в дальнейшем и случается.)

(33) AZ, проводящего рабочее время на даче, вдруг срочно вызывают на работу — за ним даже присылают секретаршу. Приехав в город, он звонит своему заведующему (Б. Румшискому), и тот объясняет, что AZ нужен не их начальству, а Министерству Иностранных Дел, откуда его стали искать через отдел кадров, а это уже чревато неприятностями.

— Понятно, — говорит AZ. — Поскольку я им явно нужен, скажите, что мне от них потребовать.

— Очень просто: пусть они позвонят в наш отдел кадров и извинятся — скажут, что они забыли, что вы уже с утра работаете у них в... другой башне.

Мидовцы действительно готовы на все — им нужен перевод на сомали речей Председателя Президиума Верховного Совета Подгорного для его предстоящего визита в Сомали, а Капчица нет в городе. Дело это плевое, AZ просит немедленно доставить ему тексты, он переведет их сегодня же (и еще успеет на дачу). Однако, это невозможно: «Первый Отдел не завизирует вынос текстов из МИДа». AZ приходится на следующий день явиться в здание на Смоленской, томиться в ожидании заказанного пропуска, пройти через двойные милицейские посты (сначала Министерства Внешней Торговли, потом МИДа; на Радио пост один, зато документы проверяют дважды — при входе и при выходе) и, получив, наконец,

тексты, ждать, пока из другого отдела доставят латинскую машинку (в отделе Сомали ее нет — язык-то бесписьменный). AZ мгновенно переводит речи, ничем не отличающиеся от ежедневных радиоматериалов, и заводит разговор об оплате и уходе. Однако оказывается, что это еще не все речи — последнюю вот-вот подвезут. Пока что AZ, в сопровождении мидовского специалиста (Бобылева), не владеющего сомали, хотя и получающего надбавку за знание языка, отправляют в закрытый буфет, где по особым ценам можно роскошно поесть и отовариться икрой. Наконец, текст последней речи приходит, AZ тут же переводит его и снова заговаривает о расчете. Но не тут-то было: завтра из ЦК поступят окончательные исправления, и их надо будет на месте внести в перевод. «Так зачем же вы мне давали это сырье?» — возмущается AZ, но делать нечего. Поездка на дачу отодвигается еще на день.

Назавтра AZ вручают поправки, и через пять минут он приносит перевод.

— Уже? — недоумевает заведомом Восточной Африки.

— А чего долго чикаться? Большинство поправок либо грамматические, либо логические — я их сам внес еще вчера. Ну, а за такие тонкости, как различие между «дружеским отношением» и «дружественностью», я и не берусь. Так что прикажите получить.

В дальнейшем AZ смотрит документальный фильм о визите Подгорного в Сомали и видит, как его перевод читает известный ему сотрудник советского посольства, посредственно владеющий языком. Когда позже AZ рассказывает всю эту историю Щеглову, тот замечает, что AZ зря ждал латинской машинки: лучше было бы написать перевод русскими буквами, тогда Подгорный смог бы прочесть перевод сам — ему-то какая разница, что читать?!

В этих трех десятках фрагментов «все правда» — в том смысле, что ничего не выдуманно, хотя, конечно, отбор эпизодов и деталей и стиль изложения неминуемо несут какой-то смысловой заряд. Не исключено, что существенным фильтром служит уже сам механизм памяти, имеющей тенденцию удерживать лестное и опускать неприятное. Но даже и при наличии такого лакировочного налета приведенный протокол представляется красноречивым документом (существенно отличающимся от ряда беспроblemных автогероизаций в мемуарных свидетельствах о той поре). Ниже предлагается его анализ, который опять-таки может оказаться не свободен от авторской субъективности. Впрочем, те или иные поправки на возмущающие факторы необходимы применительно практически к любым текстам и анализам.

3.

Протокол отражает стадии профессиональной карьеры АЗ в двух ее основных аспектах: научном — в рамках соответствующих институтов (МГПИИЯ, ИВЯ, «Информэлектро», издательство «Наука», журнал «Иностранная литература»), и прикладном — в рамках средств массовой информации (Московское Радио, студия «Экспортфильм»). С профессиональными сплетаются этико-идеологические коллизии (подписание писем, отстаивание структурализма), развертывающиеся на политическом фоне — внутреннем (аресты, процессы, Синявский, Солженицын, петиционная кампания, партийное и административное начальство, дискуссия в журнале) и международном (Сомали, колониализм, освобождение Африки, Вьетнам, Чехословакия, «Голос Америки», эмиграция в Израиль). Единой сюжетной канвой служит «сомалийский» мотив, так или иначе причастный этим разным сферам. А основную тему этого сюжета составляют, конечно, взаимоотношения человека, точнее — инакомыслящего интеллигента, и власти — советской власти 1970-х годов.

Диссидентский элемент не требует особых комментариев. АЗ критически относится к официальной политической линии, сочувствует реформам Дубчека, разделяет позиции арестованных и высылаемых правозащитников и подписывает письмо в их поддержку (см. 18); отвергает претензии

начальства на идеологический контроль над наукой (3); пренебрегает институциональной карьерой (защитой диссертации) (3); настаивает на допущении в свою квартиру негра (6); вмешивается, будучи сам полуевреем, в трудоустройство еврей-ученика (14); эмигрирует (32). В своем «свободо-мыслии» он не одинок — так или иначе его поддерживают и защищают друзья-подписанты и коллеги по Институту (3, 24, 25, 27); вчуже уважительно звучит даже реплика обозревателя с Радио (19). Главным оружием AZ служит профессионализм — к его научным заслугам апеллируют Шайкевич в ходе переаттестации (24) и оппоненты на защите (27), на свою назаменяемость как переводчика с редким языком опирается он сам во взаимоотношениях с заказчиками из ЦК и МИДа (30, 33).

Наряду с серьезными политическими акциями, основным способом демонстрации идеологической независимости AZ является его фрондерское остроумие. Оно направляется на официальные святыни: апрельские тезисы Ленина (23); пропагандистские материалы Радио (уподобляемые религиозным) (14); идеологическую монополию партии в вопросах науки (1) и логической связности речей главы государства (33); практику подмены новостей ритуальными сообщениями (о ленинском юбилее) (16).

Позиция AZ и здесь, как правило, опирается на авторитет Науки. Таковы: замечание о наличии в сомали отрицательного спряжения, как бы нарочно созданного по заказу цензоров (8); «историко-

научное» рассуждение о сходстве Радиокomiteта со средневековыми монастырями (14); похвальба исправлением ошибок в правительственном тексте (33). Особо ядовитый характер носят остроты, построенные на полемическом присвоении советского этоса: слова о «нетоварищеском» поступке в разговоре с ректором (20) и о «нечестности» экзаменационного опроса с решениями съезда в руках (32); издевательские поучения начальнику отдела кадров о том, как надо выражаться по поводу книг Ленина (31), и работникам аппарата ЦК о необходимости с любовью исполнять свою работу (30) Весь этот юмор, однако, не оригинален, а принадлежит к определенной принятой стилистике, общей для «независимой» интеллигенции (см. остроту Щеглова о русской транскрипции для Подгорного [33]) и «слуг режима» (см. хохмы Довженко (15, 17), особенно вторую — о «профессоре», переводящем уборщицу, и Романова — о бдительности по поводу частицы «не» (8)).

Негативное отношение AZ к власти не ограничивается полемическим отпором ей, а исходит из явно или неявно исповедуемой установки на «использование» ее в своих целях — научных и материальных. В материальном плане речь идет об основной и дополнительной зарплате, в научном — о возможности заниматься интересующими AZ исследованиями (языковой семантикой; экзотическим языком). Начальство (институтское, военное, радиокomiteтское, киношное, цековское) рассматривается AZ и его коллегами-учеными как неве-

жественный заказчик, наивно надеющийся получить нужный ему продукт (программу машинного перевода, пропагандистское воздействие на африканских потребителей) — продукт, который в действительности столь далек от реализации, что государственная поддержка фактически оказывается финансированием чисто исследовательских проектов.

Именно эту мысль AZ напрямую высказывает Евсееву под видом циничной насмешки над режимом, понятной лишь рафинированным интеллигентам (14). Особо шикарный жест в духе такого «кэмпового» обращения с официальным дискурсом представляет насыщение новаторской в лингвистическом отношении книги о сомалийском синтаксисе идеологически выдержанными цитатами из советских радиопередач (28). Прагматически наиболее выгодным осуществлением принципа «использования» становится полная подмена служебных обязанностей в «Информэлектро» собственными научными занятиями (32), а наиболее эффектным символически — триумф над заказчиками из ЦК в вопросе о сроках кинозаписи (30); в меньшем масштабе таково же манипулирование мидовцами по указанию Румшиского (33).

Возможности подобного карнавального торжества профессионала (так сказать, «буржуазного спеца») над властью кроются, конечно, в ее собственном непрофессионализме, вытекающем из ее упора якобы на идеологию, а в действительности на чисто силовые приемы контроля. Вера в гру-

бую силу налицо в запасании потенциального компромата на сомалийцев (12); в разнообразном давлении институтского начальства на AZ-подписанта (18, 20, 21, 24); в предложении цековского заказчика кинозаписи освободить AZ от его дел на основной работе (30); в реплике Наркевича о прямой зависимости научной аргументации от введения войск в Чехословакию (23); в дикторских выходах в эфир партийной редакторши (29).

Оборотной стороной силового произвола является фактический развал на всех участках истеблишмента: отсутствие компьютеров в учреждении, предположительно занимающемся машинным переводом (2); отсутствие специалистов (преподавателей и подготовленных аспирантов) и материалов по языку, изучаемому в аспирантуре (13); профессиональная непригодность специалистов по языку сомали в МИДе и в советском посольстве в Сомали, не говоря об отсутствии латинопишущей машинки в сомалийском отделе МИДа (33); приглашение по контракту на Радио полуграмотного диктора из Сомали (9); принятие в аспирантуру и на работу по сомали во всех отношениях непригодной кандидатки (29); неорганизованность цековских чиновников, полагающихся на штурмовщину под магическим лозунгом срочного ответственного задания (30); примитивный уровень работы с кадрами у начальника соответствующего отдела в «Информэлектро» (31, 32); низкая квалификация мидовцев, поготовивших речи президента (33).

4.

Итак, практикуемые властью силовые меры вызывают — а демонстрируемое ею профессиональное бессилие делает возможным — ответное силовое поведение интеллигентов (примеры см. выше в разделе об «использовании»). Такая зеркальность естественно чревата опасностью уподобления интеллигентов представителям власти. Элементы «уподобления» можно усмотреть во всех тех ситуациях, где интеллигент буквально или фигурально срастается с официальным начальством, например: в фигуре умолчания (о компьютерах), символически отождествляющей руководителя ЛМП Розенцвейга с секретными органами (2); в дикторстве AZ от имени Московского Радио (недаром Абди Хаши пытается увидеть в нем «товарища» (9)); во взятке конфетами ученому секретарю ИВЯ и в приглашении на защиту диссертации сомалийского дипломата (27); и, разумеется, в игрово мстительной демонстрации AZ собственной власти над заказчиками из ЦК (30).

Специального внимания заслуживает поведение, субъективно противостоящее политике властей, но обнаруживающие подспудную завороченность их могуществом. Таковы по видимости столь разные, а по сути схожие слова сочувствия, обращенные к AZ, с одной стороны, запуганным редактором многотиражки Комановским (22), а с другой, видным диссидентом Ивановым (23). В обоих случаях убеждение в неотвратимости спускаемой «сверху» кары составляет неотъемлемую

часть подсоветской ментальности. У Комановского оно проникнуто всепоглощающим, мистическим, «вечно-жидовским» страхом, у Иванова, напротив, основано на якобы точной информации из высших эшелонов власти (в частности, возможно, от «своего» начальства типа академика-адмирала Берга (2)), но оба они признают единственным деятельным субъектом разворачивающихся событий начальство и отказывают в аналогичном статусе рядовой массе. Иными словами, представление обоих о происходящем отмечено той же закрытой детерминированностью, что и официальный самообраз диктатуры. Сюда же примыкает принятие диссидентами официальной «табели о рангах»: ученый без степени (AZ) признается ими как бы де-факто несуществующим — во всяком случае для целей противостояния власти (3). Тем интереснее компромиссный исход переаттестации (24), свидетельствующий о принципиальной открытости процессов.

Суперменскому соревнованию AZ с властью, казалось бы, противоречит его бросающийся в глаза «отрыв от реальности». AZ выбирает свою диссертационную специальность по карте (4); впервые видит нейлоновую рубашку на сомалийце (5); осмысляет реальную пронизанность сомалийской ментальности насилием, хорошо известную ему по книгам, опять-таки через посредство литературы (пушкинского «Анчара») (5); обнаруживает полную наивность перед способным «зарезать» Ахмедом (6); предстает профессором не от мира сего на

фоне Довженко и других радиокомитетских старожилов (15) и даже своего недавнего ученика, разъясняющего ему мотивы исчезновения сомалийских студентов по получении гонорара (11).

Интересным образом этот «отрыв от реальности» тоже находится в зеркальном соотношении с ситуацией в лагере властей, о невежестве и непрофессионализме которых речь уже шла. «Неинформированности» обеих сторон вторит дезориентация находящихся между ними «третьих сил»: диктора Абди, называющего AZ «товарищем» и плохо ориентирующегося в советской, да и сомалийской, политике (9, 10); студентов, наивно переоценивающих свой заработок (11); американского специалиста по МП, верящего в секретную мощь советской электроники (2).

Рассматриваемый «отрыв» AZ и других от реальности является следствием и проявлением традиционной оторванности русской интеллигенции как от «народной почвы», так и от властных структур. Отрыв этот отчасти органичен, отчасти же культивируется сознательно, ибо позволяет интеллигенту занимать по отношению к «реальности» отчужденно свободную, безответственную — вплоть до суперменского аморализма — позицию, проявляющуюся в перечисленных выше силовых стратегиях использования власти и уподобления ей.

Примечательной в этой связи чертой поведения AZ является также тщательное разделение им двух сфер деятельности — научной и деловой — на, так сказать, несообщающиеся сосуды. Свое подпи-

сантство он если не скрывает, то во всяком случае никак не рекламирует на Радио (19) и «Экспорт-фильме» (30), продолжая работать там как ни в чем не бывало во все время и даже после своих диссидентских перипетий. Собственно, одной из функций второй специальности (сомали) и второй работы (на радио и киностудии) и являлось с самого начала приобретение уязвимым интеллигентом дополнительной (по принципу катамарана) устойчивости в неверной советской обстановке. Ситуация, однако, существенно изменилась в момент подписания письма — акта сознательного, публичного, демонстративного неповиновения властям. Следование при этом более традиционной стратегии самосохранения путем ухода в нишу «другой работы» противоречит самой сути диссидентской акции, обнажая нравственную проблематичность фрондерского поведения AZ.

Несмотря на все попытки опротестования, осмеяния, использования и игнорирования власти, она остается неоспоримой реальностью. Непреложным фактом является работа AZ — в роли редактора-цензора, а затем переводчика и диктора — на службе официальной советской политики, исполняемая им в обмен на деньги, социальный и интеллектуальный престиж, самообраз независимого человека и исследовательские возможности. Сосредоточение на своих сугубо научных интересах и силовых играх с властью на основе стратегии «отрыва» приводит к игнорированию еще одного аспекта реальности, имеющему серьезные моральные последствия.

Полемико-юмористическое и силовое обращение штампов советской идеологии против носителей власти и их «кэмповое» использование в научных целях предполагают, поощряют или порождают пренебрежение к их прямому смыслу — реальному существованию тех проблем, ситуаций и людей, которые подразумеваются этими клише. Как показывает опыт незадачливой партийной дикторши (29), сомалийские радиослушатели действительно существуют, действительно слушают и действительно реагируют, хотя и не обязательно так, как это от них ожидается. Аналогичным образом, применительно к AZ сомалийцы существуют не только как носители языка, подлежащего изучению и описанию, но и как реальные люди, жители реальной страны, переживающей определенный этап своей истории. И от этой реальности деятельность AZ, возможно, оказывается вовсе не столь оторванной, как он себе представляет. Не исключено, что советская пропаганда, ведущаяся с его профессиональной лингвистической помощью, вносит свой вклад в осуществление политики советского внедрения в Африку, в частности, в совершение военного переворота генералом Сиадом (10). Что же касается абсурдного характера этой политики — ее «оторванности» от жизни, то результатом этого становится отнюдь не полная и постоянная ее неэффективность (позволяющая AZ мысленно списывать политику со счета), а, напротив, ее дорогостоящее осуществление и еще более катастрофический последующий провал, губи-

тельные в какой-то мере для ее советских инициаторов, а затем и всего советского истеблишмента и народа, но в первую и самую непосредственную очередь, для ее африканских адресатов, в частности, для Сомали.

Таким образом, мысленное восприятие целого реального народа как неких абстрактных носителей языка, которые интересны лишь в качестве материала для научных исследований, проводимых за счет нереальных геополитических амбиций советской власти, оборачивается практическим соучастием в осуществлении этих амбиций и моральным уподоблением высокомерному игнорированию этого народа как полноценного субъекта истории. В некоем глубоко ироническом смысле прав оказывается сомалиец-ленинист Хассан Касем, когда он объявляет AZ «маленьким интеллигентом», не разбирающимся в политике (7). Проблема моральной ответственности AZ предстает аналогичной хрестоматийному случаю с физиком, участвующим в изобретении и производстве средств массового уничтожения, особенно, если он находится на службе у преступного режима.

Более или менее позитивный характер носят лишь эпизоды с переаттестацией, получением характеристики и защитой диссертации (24-27). Позитивны они не просто потому, что представляют собой а *success story* («историю успеха»), — в конце концов, работа на Радио и киностудии тоже развивается успешно, — а ввиду того характера, который носит в них взаимодействие с властью.

Несмотря на общую атмосферу противостояния и чисто силовые приемы, применяемые начальством (ректором, партбюро), взаимодействие с ним следует «парламентарной» тактике терпеливых переговоров, процедурных тонкостей, мелких уступок и взаимных компромиссов. Именно такая тактика, вначале отвергаемая АЗ с позиций «суперменского отрыва» как унизительно мелочная и «притворная» (21, 24), сочетая отдельные героические акции (в данном случае со стороны не АЗ, а Шайкевича) с опорой на «общественное мнение» (в лице кафедральных почасовиков) (24), оказывается не только прагматически эффективной, но и исторически перспективной.

Действительно, этот опыт — в составе правозащитного движения в целом — может рассматриваться как прообраз тех демократических сдвигов, которым суждено было произойти в масштабе всей России полтора десятка лет спустя. А главное, он являет редкий случай практического успеха, приемлемого и в моральном отношении, — поистине образец, выражаясь в искандеровских терминах, «выхода», обретаемого с помощью «нравственных мышц». Однако сочетание в этической мускулатуре того же АЗ этих конструктивных черт с имморализмом «суперменского отрыва», являющееся, в свою очередь, предвестием неустойчивости современной политической ситуации, свидетельствует скорее об уникальности таких «образцовых» моментов в истории общественной борьбы.

3

TAM

Семнадцать мгновений весны

Операция отъезд не была ускоренным марш-броском; она составляла в жизни будущего эмигранта целую переходную эпоху. Одной ногой он некоторое время продолжал двигаться по привычной советской колее, а другой уже нащупывал неведомую заграничную почву. Задолго до «подачи», он начинал примеривать ее к себе, включался в предотъездные маневры уезжающих друзей, попадал в полосу отчуждения. При этом, в подневольной совковой ипостаси он чувствовал себя гораздо свободнее, чем в сулившей избавление эмигрантской, сковывавшей его разнообразными советскими, западными и особыми отъезжантскими правилами. Было много курьезов.

Известный лингвист Арон Борисович Долгопольский собрался в землю праотцев сравнительно рано, где-то в середине 70-х. Арон, или, как любовно называл его Мельчук, Арончик, был маленького роста, подвижной и жовиальный. Он носил сильные очки, нескладно вертел головой и картавил, но это не мешало ему быть полиглотом и одним из пионеров ностратики — гипотезы о родстве целых языковых семей. Свои огромные картотеки он, курсируя между Институтом языкознания и Ленинской библиотекой, таскал на себе и потому ходил обычно с двумя портфелями, а иногда еще и с рюкзаком. (Notebook'ов тогда не было в помине.)

И вот он подал документы, получил разрешение и отбыл на историческую прародину. К

суматохе вокруг его сборов я причастен не был, но от Мельчука узнал, что все прошло в общем гладко, хотя некоторые вещи и материалы Арончику вывезти не удалось. Досылкой оставшегося, как всегда в таких случаях, занимались друзья и близкие и, конечно, Мельчук, сам уже нацелившийся на отъезд. А в какой-то момент и мне, до тех пор державшемуся от отъезжанства в стороне, довелось сыграть свою роль в этой международной акции.

Весь архив Арона был уже переправлен, кроме одной, так сказать, единицы хранения, с которой дело застопорилось, — никакие из задействованных каналов ее не принимали.

— Может, ты попробуешь, — сказал мне Мельчук. — Ты живешь в центре, к тебе заходят иностранцы..

— Приноси, — сказал я. — А что это такое? Что-то тяжелое?

— Таблица словарных соответствий между разными языками. Рулон большой, но практически ничего не весит.

— Так в чем проблема?

— Поймешь, когда увидишь.

В следующий раз Игорь принес заветный рулон и шикарно развернул его на полу, приперев по углам книгами. Огромный лист, метра два на три, был сверху донизу покрыт столбцами фонетических значков, взятых то в круглые, то в квадратные скобки и соединенных сложной паутиной стрелок, на которых, в свою очередь

были надписаны какие-то пояснения и уравнения. Как если бы этой подозрительной писанины было недостаточно, обратная сторона представляла собой политическую карту Советского Союза.

— Что он, с ума сошел — писать такое на карте?! — вырвалось у меня.

— Понимаешь, Арончик нигде не мог достать большого листа, а карт в магазинах навалом. К тому же, он начал эту таблицу, когда об отъездах ни слуху ни духу не было. Здесь годы работы.

— Да-да, и если вдуматься, ностратика и географическая карта буквально созданы друг для друга.

С этого дня каждому приходившему ко мне иностранцу я сначала читал небольшую лекцию о ностратике, заслугах Долгопольского и антиссионистских настроениях советских таможенников, а затем выносил аронов свиток. При виде шифрованной карты одни смущенно мялись, другие соглашались, но справедливо указывали на возможность конфискации. Я начал отчаиваться, когда на моем горизонте возник голландский профессор Ян Мейер (ныне покойный).

Мы не были знакомы, но как-то весной он позвонил, представился, похвалил одну из моих статей, был приглашен в гости и пришел, настояв на необычно раннем часе, что-то вроде пяти или шести вечера. Он оказался высоким, седым, краснолицым, очень симпатичным дядькой в черном костюме. Мы ели, пили, говорили о русской лите-

ратуре (он преподавал в Утрехте, а жил, как я убедился, приехав через два года в Голландию, в Амстердаме), о только что вышедшей «Неоконченной пьесе для механического пианино» Никиты Михалкова (значит, год был 1976-й), об эмиграции, о том о сем. Среди прочего, Мейер сказал, что приехал с правительственной делегацией, в качестве эксперта по России при возглавляющем ее министре, — воспользовался удобным случаем, чтобы повидать русских коллег за государственный счет.

Случай показался удобным и мне.

— Так вы, что же, V.I.P. (Very Important Person)?

— Да, очень важная персона — в ранге члена правительства.

— Таможенного досмотра не проходите?

— Не прохожу.

— А вот эту карту возьмете? — Курс ностратики я свел к минимуму.

— Возьму.

Подогретая застольем, а теперь и овейная сквозняками международного шпионажа, наша внезапная дружба перешла в новую фазу. Но вскоре гость стал посматривать на часы и на дверь. Таня встревожилась, отказываясь отпустить его без второго и сладкого. Тогда он сознался, что зван еще в один научный дом, почему и пришел к нам так рано, — честно говоря, на обед не рассчитывая. К кому он шел после нас, он, однако, выдавать не хотел, говоря, что, как ему объяснили, в Москве все семиотики переругались, так что никому

нельзя называть никаких имен. Он явно оправдывал свой статус новоиспеченного дипломата и еще более новоявленного тайного курьера — молчал, как партизан на допросе. Впрочем, это давало и мне кое-какие шансы.

— Что же это получается? — сказал я. — На такое дело вместе идем, а вы мне в пустяках не доверяете.

Мейер раскололся — он шел к Боре Успенскому, с которым я в ссоре как раз не был. Я позвонил Боре и сказал, что его гость у нас и задерживается. Мы еще долго выпивали за науку, за свободу слова и передвижения и за будущие встречи. Потом поймали ему такси, и с картой подмышкой он отправился на следующую явку.

Через какое-то время до нас дошла весть о прибытии заветного свитка в землю обетованную.

О новом

Когда я всерьез засобирался в эмиграцию (1978 г.), один старший коллега, В., блестящий человек, много сделавший для становления «новых методов» в лингвистике, спросил меня о мотивах отъезда. Минувя очевидные, я стал напирать на интерес к новому — в себе и в окружающем мире — и некоторое время развивал эту тему. Реакция В. поразила меня не только обычной для него чеканностью, но и неожиданной откровенностью.

— Из вашей аргументации явствует, что «новое» у вас ассоциируется с «хорошим»?

— А у вас нет?

— Нет. Мне новое внушает страх.

Я уехал, он остался. Лишь постепенно, живя в Новом Свете и регулярно сталкиваясь с новыми ситуациями, я по-настоящему оценил честно отрефлектированную экзистенциальную робость В.

Раньше меня в эмиграцию отправился мой друг Феликс. Он и до этого неоднократно переезжал с места на место: Ташкент — Москва — Новосибирск — Ереван — Новосибирск. Сначала он приходил в восторг от нового окружения, овладевал новым языком, но вскоре со всеми ссорился, бросал опостылевшую работу, срывался дальше, возвращался, снова уезжал. За границей повторилось то же: Израиль — Лондон — Израиль — Канада — Лондон — Штаты...

Я помню многие его словечки.

— Алик, если люди могут лечь в постель только на почве общих взглядов на морфологию, согласись, в этом есть какая-то половая трусость?!

Феликса десять лет, как нет в живых. В., который старше нас почти на столько же, бодр, ездит по свету, иной раз удивляет чем-нибудь новеньким. В себе я знаю обоих — с одним давно напереезжался и умер, с другим перебираюсь в новое тысячелетие.

Identity

Это я или не я?

Это жизнь идет – моя?

Лимонов

Еще недавно этого слова в русском языке не было, да и сегодня «идентичность» звучит скорее, как абстрактное свойство, — как «персональность», а не как «личность». Еще недавно Валерий Подорога втолковывал целой аудитории интеллектуалов, что «российскому человеку тело не выдано», и как откровение читался рассказ Виктора Бейлиса «Бахтин и другие» — о «склеенных людях» («релла манеринья», они же «инапатуа»). А ведь нет у нас ничего дороже сознания собственной неповторимости, нет худшего оскорбления человеку, чем принять его за другого, нет большего позора для элитария, чем спутать пушкинскую строчку с лермонтовской. «Ты знаешь, откуда происходит слово *интеллигент*? — грозно спрашивал меня Юра Щеглов. — От латинского *intellego, intellexi, intellectum, intellegere* — «различаю»!!!»

Когда я стал носиться с пушкиноведческими работами Гершензона, неизменной реакцией знатоков, начиная с Лотмана, был рассказ о том, как Гершензон приписал Пушкину текст Жуковского, а потом выстригал эту публикацию из экземпляров своей книги. Все теоретические прозрения Гершензона, первооткрывателя пушкинских инвариантов, разбивались об этот идентификаторс-

кий ляпсус. Хотя торжество знатоков основывалось не на каком-то совершенном искусстве аттрибуции, а просто на цепкой памяти.

Недоразличение индивидуального — структуралистский грех. Чтобы принять Жуковского (или Баратынского) за Пушкина и одного человека за другого, надо слишком хорошо видеть общее, и споткнуться на уникальном. Обратный случай — опознание поэтов и знакомых строго по паспорту.

Один мой коллега, начиная статью, прежде всего пишет наверху страницы свои имя и фамилию. Ни текста, ни даже заголовка может долгое время не быть, но территория уже помечена — проблема авторства решена.

В ходе юбилейной бабелевской конференции (Москва, 1994) возник спор, не отнести ли задним числом к «Конармии» тематически и стилистически примыкающие к ней рассказы «Старательная женщина» и «У батьки нашего Махно». Я сказал — вразрез со своим структурализмом — что все наши убедительные доводы «за» немедленно увянут, если найдется обрывок бумаги с собственноручным свидетельством Бабеля «против». И мы исправно разработаем структурные обоснования в пользу авторской воли, иначе за что нам платят?

Лет пять назад на Банных чтениях Слава Курицын выступил с эпатажным докладом о том, как он, провинциальный юноша, задумал стать столичным писателем, пишущим, печатающимся и живущим, как хочет, — и стал. Тарелочка с голубой емкой не обманула: теперь он диктует спонсорам

свои рубрики, сроки, гонорары и прочие условия; минимум усилий приносит максимум успеха. В. А. Успенский спросил его, не был ли бы успех еще более полным, если бы удалось свести усилия вообще до нуля, делегировав и само написание текстов. Ответа, к сожалению, не помню, потому что тут меня вызвали из зала давать телеинтервью, и за упрочением собственной идентичности я забыл о курицынской.

Что и говорить, хочется отличаться. В период сватовства мы с Таней поехали к ее знакомому — в гости, но и с мыслью заказать у него обручальные кольца. По ходу застолья, в ответ на какие-то мои слова он вдруг с особым выражением произнес: «Вот тебе и тема!» Мы со Щегловым занимались тогда разработкой эйзенштейновского понятия темы, и я терялся в догадках, каким образом это стало известно собеседнику и в чем был смысл его возбужденной реплики. Против обыкновения, я тактично промолчал, а на улице Таня, давясь от смеха, объяснила, что год назад приезжала к нему с тогдашним женихом — журналистом, жаловавшимся на нехватку тем. С тех пор фраза «Вот тебе и тема!» навсегда вошла в наш пословичный фонд. Энтузиастическую неразборчивость ее автора я простил сразу; Танина задела меня сильнее.

Сам я помнил все. По-английски это называется *total recall*. Я помнил в лицо всех людей, которых когда-либо встречал; помнил, кто они такие, что они мне когда-либо сказали и что я им ответил, помнил все, что я прочитал, написал и поду-

мал, и удивлялся тем, кто помнил не все. Мне казались неправдоподобными — чисто условными — литературные сюжеты, основанные на неузнавании друг друга родственниками, давними друзьями и возлюбленными.

Увы. С погружением в иностранную среду, освоением новых культурных языков (университет, банк, налоги, недвижимость, автомобиль, компьютер, интернет) и возрастом, все это кончилось. Как-то я приехал в Москву и на большом собрании назвал одного критика именем другого, менее известного. С ходу он прореагировал нормально («Алик, да вы что?!»), но в дальнейшем посвятил мне несколько полемических перлов. Другой недоузданный коллега произнес в точности ту же реплику, но печатно не гневался, возможно, потому, что в свое оправдание я сослался на отпущенную им за годы застоя бороду. Меняет ли борода идентичность владельца, вопрос, конечно, сложный, сродни обсуждаемому в начале «Носорогов» Ионеско: если кошка — четвероногое, то останется ли она кошкой после ампутации одной, двух, трех, четырех ног? (В пьесе этот спор, основанный на софизме «Лысый», служит предвестием коллаборационистского превращения людей в носорогов.)

Один приятель рассказал мне историю, которую привожу с его разрешения и в обезличенном виде. Шел первый год его эмиграции, — как ощущалось в конце 70-х, абсолютно безвозвратной. В этом состоянии эмигранту повсюду мерещатся

лица из прошлого. И вот однажды, на площади большого европейского города ему показалось, что он видит старинного знакомого. Сначала он отмахнулся, как от миража, потом заколебался, оглянулся еще раз, всмотрелся, и тут прохожий поймал его взгляд и узнающе улыбнулся в ответ.

— Что ты здесь делаешь?!

— Живу и работаю. А ты?

— Приехал с выставкой. Завтра уезжаю. Кстати, могу не глядя отвезти в Москву все, что хочешь, — наши контейнеры не досматриваются.

Предложение было соблазнительное, и эмигрант решил послать оставшейся на родине подруге экзотический сувенир на батарейках, каких у нас еще не знали девы, да он и сам не видал. С волнением пересек он порог первого в своей жизни сексшоп и был поражен гигантскими размерами электроприборов, украшавших стены этой сказочной пещеры и наводивших на мысль о не менее, чем тысяче и одной ночи. Продавцу он, смущаясь, объяснил, что хотел бы купить что-нибудь скромное, реалистическое, по образу и подобию своему, так сказать, собственный скульптурный портрет. Искомый симулякр был найден, куплен, отправлен, доставлен (через промежуточных лиц, с сохранением тайны вклада) адресатке и, пока не сели батарейки, представлял личность отправителя. («Играю и плачу», — стояло в ответном письме.)

Это было, конечно, лишь отдаленное приближение к той нуль-транспортировке личности, о

которой мы читали у Стругацких (и которую нам теперь обещают все более всерьез), но все-таки. Немного напоминает также «Сирано де Бержерака». Приятель уверяет, что история подлинная, но сходство с литературой — аргумент в пользу вымысла. А пересказ и обезличка окончательно размывают identity.

Талант

Когда году в 92-м Юра Цивьян рассказал питерским знакомым, что едет на семестр в наш университет, его спросили: что это за кафедра — кто там работает? Среди других он назвал меня.

— Жолковский? Писатель?!

— Да.

— Приходится преподавать?..

Так я попал в одну категорию с Набоковым et al., вынужденными финансировать создание своих шедевров преподаванием чужих ленивым и нелюбопытным американцам. (Дойдя в курсе русской новеллы до «Весны в Фиальте», которая студентам, как правило, не нравится, я сообщаю, что Набоков давно ответил им взаимностью, бросив Корнелл сразу по получении денег за экранизацию «Лолиты».)

Документально мой писательский статус был закреплен принятием в Московский Союз писателей по инициативе Володи Новикова, ёрнически поддержанной Сашей Осповатом (1993). В обмен на единовременный взнос в 15 у. е. мне была

выдана упругая красная книжечка Союза писателей уже не существовавшего СССР, с тисненым золотым Лениным на обложке. Я пользуюсь ею главным образом во внелитературных контактах — с таможенниками, проводниками и т. п., но однажды применил по назначению. В год столетия Бабеля я предъявил ее двум охранникам в пятнистом камуфляже при входе в ЦДЛ, небрежно уронив: «Это со мной» и кивнув через плечо на вдову классика А. Н. Пирожкову.

Но еще раньше, по приезде в Америку — в набоковскую Итаку (1980), был формально признан и мой талант как мидиа персонэлити.

Для общей ориентации и освоения звучащей речи мы сразу купили телевизор. Привез его сам хозяин магазина — веснущатый рыжий здоровяк Стив Блументол. Его позабавили наши восторги по поводу гигантских размеров дешевого старого ящика, мы разговорились, и, слово за слово, он воодушевился идеей сделать о нас, еврейских беженцах, телепередачу.

Оказалось, он давно уже чувствовал позыв к чему-то большему, чем торговля подержанными железками. Меня он счел готовой звездой телекрана, закат советского престижа — идеальной конъюнктурой и решил, что не воспользоваться свалившейся прямо в руки комбинацией он не имеет права. Разумеется, новый бизнес — риск, тем больший, чем мельче бизнес и крупнее конкуренты. Но на то и американская мечта, чтобы не пасовать перед трудностями. Борь-

ба с телевизионными Голиафами была принята Стивом как еще один вызов открывавшейся перед ним судьбы.

Дело стало разворачиваться. Стив снял огромный подвал, набил его аппаратурой, нанял людей, начались пробы. Я не люблю своих фотографий, записей своего голоса и своего изображения на экране, но Стив отчаянно меня хвалил и предрекал большое телебудущее. Это было забавно, я со смехом рассказывал о «съемках» своему завкафедрой Джорджу Гибяну (Gibian) и вскоре втянул в них и его. Джордж смотрелся на экране отлично. Стив был доволен ростом труппы, повышавшим ее рыночную стоимость, но понимал, что это требует соответствующих мер с его стороны.

Меры были приняты — Стив нанял адвокатов, которые взялись за составление договора. Мы с Джорджем готовы были работать бесплатно, ради одной славы, но наших заверений никто не слушал. И вообще, дело не сводилось к размерам гонорара. Главное было оградить проект от магнатов телебизнеса, которые после нашего мгновенного успеха не преминут явиться с миллионными контрактами. Мы клялись Стиву в верности, но безрезультатно.

Адвокаты тем временем чеканили договор, призванный сковать нас по рукам и ногам, навеки отдав в крепостную зависимость Стиву. Мы не возражали, но Стив и его адвокаты никак не могли остановиться на окончательной формулировке нерасторжимости. Адвокатам платились солид-

ные деньги за каждый час работы, и они не очень стремились к ее завершению.

Пробы застопорились. Все время и деньги уходили и в конце концов ушли на адвокатов. Отыскание магической формулы так и не было доведено до конца. А жаль. Начиналась она по-голливудски заманчиво: «Стив Блументол, далее именуемый Компания, с одной стороны, и Александр Жолковский, далее именуемый Талант, с другой, согласились...».

Одного таланта мало.

Грамматика любви

Пресловутая анархичность итальянцев не распространяется на гастрономию. В вопросах еды и выпивки они до карикатурности пунктуальны. Про каждое блюдо точно известно, в котором часу его следует потреблять, и в названия некоторых из них этот временной показатель входит неперменной частью. Таковы, например, знаменитые spaghetti a mezzanotte — макароны, поедаемые в полночь, после театра. Но и во всех остальных случаях категория времени является у итальянских *nomina cena-pidi*, так сказать, грамматически обязательной, хотя и получает нулевое выражение. Гостеприимные хозяева охотно преподносят иностранцам уроки этой застольной лингвистики, сопровождая их семиотически не менее интересной жестикуляцией.

Речь о знаковых системах заходит здесь не случайно. В 1981-м году я преподавал в Летней Шко-

ле по Семиотике в Урбино, где и проводил свои полевые наблюдения. Общежитие Урбинского Университета построено в форме огромного эллипса, так что ни из одного окна не видно ничьих других. Это очень удобно в смысле privacy, особенно учитывая знойность итальянского лета и каникулярно-карнавальную атмосферу Школы. Административные же, учебные и другие публичные помещения располагаются в отдельном здании. В свободное от занятий время теплая компания профессоров и аспирантов из разных стран Европы собиралась в университетском баре в подвале учебного корпуса. Обслуживали местные студенты, для которых это был летний приработок.

Помню сценку, происшедшую уже перед самым отъездом между одним из профессоров и студентом-барменом. Профессор заказывает полюбившийся ему коктейль и спрашивает рецепт его приготовления. Этот мешковатый, не старый, но уже лысеющий еврей в очках из какого-то второразрядного университетского города Англии, известного больше своей промышленностью (Ньюкасл? Лидс? Шеффилд? — полагаюсь на воспоминания не столько об Урбино, сколько о школьном учебнике географии), вызывает у меня снисходительное сочувствие. Знакомство с коктейлем, о котором идет речь, составляет, пожалуй, главное и единственное его достижение по светской части за истекший месяц. Женщины на него не смотрят, и о его монашестве ходят легенды. В жилом корпусе его соседкой сверху является любвеобильная

коллега-бретонка, каждую ночь приводящая из диско нового партнера. Но профессор об этом не догадывается, ибо ложится рано. Зато в середине ночи он просыпается от душераздирающих криков и уже озабоченно справляется о ее здоровье. Она извинилась за причиняемое беспокойство, а насчет ее здоровья просила не тревожиться — эти кошмары у нее с ранних лет.

Между тем, студент-бармен, смешав коктейль, пускается в детальное описание, которого я, разумеется, не помню. Что-то вроде того, что вы берете столько-то такого-то ликера и столько же коньяка, встряхиваете, добавляете несколько капель виски, выдавливаете одновременно одной рукой пол-лимона, а другой пол-апельсина, перемешиваете маленькой ложечкой, встряхиваете еще раз, густо присыпаете сверху корицей и шоколадом — *e alle otto e mezzo!*... На этой феллиниевской ноте бармен построил итальянскую мину непередаваемого восторга — закатил глаза, поджал губы, вытянул лицо и покачал кистью правой руки с оттопыренным большим пальцем. — *Alle otto e mezzo!*... В пол-девятого!.. М-м!!! О-о!!!

Профессор выслушал все это с полной серьезностью, попросил повторить и принялся записывать. Я смотрел на его полные щеки, синеватые от прораставшей к вечеру мужественной щетины, и пытался представить себе его холодную холостяцкую квартиру в далеком каменноугольном Ньюкасле или сталелитейном (текстильном?) Шеффилде и полное отсутствие перспектив на дальнейшее

развертывание сюжета, навеваемого своевременным принятием высокоградусного коктейля, — хотя пол-девятого еще не вечер.

Мои собственные донжуанские показатели представлялись мне удовлетворительными, хотя, конечно, и они оставляли простор для совершенствования: так, в прутковскую графу d'inachevé приходилось занести лихую бретонку и некоторых других участниц Школы. Тем не менее, итога, с которым я пришел к прощальному вечеру, можно было не стыдиться. Подогретый возлияниями и общей полнотой чувств, я повернулся к итальянцу Франко, с предложением выпить за наше знакомство.

— Что будем пить? Il VOV? — откликнулся он.

Упоминанием об этом ликере Франко с легкой иронией указывал мне на неразвитость моего вкуса, каковую я поспешил смиренно признать:

— Ну, зачем же? Давай выпьем какого-нибудь хорошего итальянского вина, по твоему выбору.

— Да нет, ты не понимаешь.

— Почему же? Я помню.

Однажды, пробудившись от дневного сна, которому я предался после занятий и основательного ланча, я отправился в бар, чтобы насладиться следующей фазой очередного дня своей красивой западной жизни. Полуденный зной спадал. Было приятно пересечь остывающий университетский парк и спуститься в совсем уже прохладный бар.

Народу было немного. Меня пригласил к своему столику Франко, сидевший с одной из итальян-

ских аспиранток. Франко был молодой профессор, высокий худощавый красавец-брюнет. Его белая рубашка была распахнута, вернее, тщательно полурасстегнута по тогдашней моде, правильным ромбом обнажая его плоскую смуглую грудь. Перед ним и его дамой стояли бокалы со светлым вином.

Баров я вообще-то не посещаю, пить не мастак, особенно же не люблю белого вина. Но надо было что-то заказывать, и я подошел к стойке. Вид десятков, если не сотен винных, коньячных и ликерных бутылок навел на меня тоску, которую я попытался развеять, вчитываясь в наклейки, — в надежде хотя бы таким филологическим путем прийти к решению.

Мое внимание привлекла группа высоких керамических сосудов в форме огромных пуль, коричневых и белых. Это были ликеры, насколько помню, какого-то северного производства, возможно голландского. Аббревиатурное название одного из них заинтриговало меня, и я остановил на нем свой выбор.

— Дайте мне, пожалуйста, вот этого VOV. — С напитком в руках я вернулся к столику.

— Il VOV? A quattro e mezzo? — как бы не веря своим глазам, спросил меня Франко с одновременным полуоборотом в сторону дамы.

Я пробормотал что-то в том смысле, что, конечно, в Италии надо пить вина, которыми она справедливо славится, но что я никогда не пробовал этого ликера и вообще мне многое проститель-

но как пришельцу из-за железного занавеса. Однако по лицу Франко было видно, что он остался при своем нелестном мнении.

И вот теперь, накануне прощания, я решил дознаться истины.

— Чего я еще не понимаю? Я же согласился, что глупо летом в Урбино заказывать какой-то ликер, рассчитанный на северные холода...

— Да нет, ты не понимаешь...

— Так объясни.

— Как тебе сказать?.. У нас мужчина пьет il VOV, когда он.. — Замолчав, Франко опер локоть правой руки на стол и с безнадежным видом уронил кисть вниз. — Ма а quattro e mezzo?! Но не в половине же пятого?! — Он поднял очи горе, развел руками и выпучил губы.

... Против семиотики, конечно, не попрешь. В глазах Франко я выглядел не многим лучше, чем иудей из забытого богом Ньюкасла в моих. Мужчину, который к концу сиесты нуждался в il VOV, можно было только пожалеть. А если бы Франко узнал, что сиесту эту я провел в одиночестве, он, наверно, вообще остерегся бы разговаривать со мной на подобные темы. И в моем владении языком dolce vita остался бы зияющий пробел.

Peers

Один из лучших каламбуров рассказал мне мой корнелльский коллега L. Он утверждал, что при-

существовал при его рождении, скажем так, из пены морской.

В мужскую уборную зашел профессор и, увидев, что все писсуары заняты, принял позу ожидания. Узнавший его студент стал уступать ему место.

— Please, — ответил тот, — we are all peers here.
(«Что вы, мы все здесь равные / мочащиеся».)

Типичное для юмора совмещение высокого и низкого играет здесь на словесном обнажении так наз. материально-телесного низа, на иерархичности отношений «студент — профессор» и на аристократических коннотациях слова *peer*: *peer* — I. 1. равный; 2. пэр; II. имя деятеля по глаголу *to pee*. В фокус поставлено слово, не только воплощающее, но и прямо называющее принцип приравнивания крайностей. Наглядно демонстрируется великая истина, что «Высокое и низкое *равны*».

Faux pas

Будучи эгоцентричен и неважно воспитан, я часто веду себя бестактно, обижаю, кого не хотел бы, и постоянно врежу себе в глазах окружающих. Полная исповедь на эту тему заняла бы много места, вызвала новые обиды, да и мне морально не под силу. Но один эпизод попробую рассказать.

Это было в первые год-полтора моей американской жизни, когда я много ездил с докладами — людей посмотреть и себя показать. На лекцию в одном престижном университете коллеги-слависты собрали мне внушительную аудиторию, вклю-

чая видных специалистов из смежных областей — лингвистики, киноведения, теории литературы. С некоторыми из них я познакомился на ланче перед лекцией, в том числе — с одной молодой, но уже знаменитой дамой, автором новаторской книги, которую она мне тут же подарила. Книжку я прочел позже, но на авторшу внимание обратил немедленно.

Бросался в глаза дефект ее внешности — кожа у нее на лице подверглась то ли ожогу, то ли какой-то неудачной операции, в результате чего была красной, шершавой и стянутой вбок, так что один глаз сидел криво. Но все это с лихвой компенсировалось подвижной фигурой и живой манерой держаться. Словом, она мне сразу понравилась, и я со своей стороны постарался понравиться ей, — как мне показалось, не без успеха.

Ошибки такого рода достаточно часты ввиду привычной самоуверенности российских мужчин и привычной же любезности американок. А в данном случае ситуация усугублялась очевидным, на мой российский взгляд, неравенством сил, однозначно отдававшим подпорченный товар в распоряжение первого встречного. В то же время, вызывающая — как бы бесстыдно обнаженная — краснота ее лица воспаляла воображение, создавая взрывчатую комбинацию повышенной желанности с повышенной доступностью.

Возможно, что во время ланча она вежливо предупредила, что у нее много дел и она не сможет дослушать меня до конца, не помню. Навер-

но, я отмахнулся от этого и нахально настаивал — и думал, что настоял, — на противном. Так или иначе, когда в середине доклада она встала с места и направилась к выходу (вещь в Америке нормальная), для меня это было неожиданностью. Не переставая говорить, я пошел ей наперерез (ужас!) и, когда наши пути пересеклись, стал на глазах у всех уговаривать ее остаться (что недопустимо ни при каких обстоятельствах!!), а в крайнем случае увидаться позднее (дальше некуда!!!). Отказ был, разумеется, полный.

Я продолжил доклад, который вызвал вполне оживленную дискуссию. Ни тогда, ни после никто мне ничего не сказал, и с кафедрой этого университета у меня сохранились хорошие отношения. Вообще говоря, нескольких таких ложных шагов по университетскому паркету достаточно, чтобы навсегда погубить академическую репутацию. Наверно, мне сделали скидку на загадочность русской души...

Торонто-80

Осенью 1980-го года, по приглашению чешского эмигранта-структуралиста Любомира Долежела, я поехал с лекциями в Торонто. Чехи, бежавшие в Америку кто в 1938-м (как мой корнелльский зав-кафедрой Джордж Гибиан), кто в 1968-м (как Долежел), занимали видное положение в американской славистике; принято было даже говорить о «чешской мафии». «Да какая там мафия, — сказал я

мичиганскому заву Ладиславу Матейке, — так, мафийка, русские евреи вам еще покажут». Долежел тоже заведовал кафедрой и вообще был очень активен. В поэтике он занимался применением понятия возможных миров к теории повествования. Возможные миры меня не увлекали, но приглашение было лестно — как само по себе, так и потому, что повышало мою visibility (известность, букв. «видимость») и, значит, шансы на постоянную должность.

Долежел принял во мне горячее участие. Один доклад я прочел, естественно, у него на кафедре, но фонды у славистов были, как водится, ограниченные, и он устроил мне еще и публичную лекцию, вне славяно-структурно-семиотического гетто, с солидным гонораром, до сих пор помню, в 500 долларов, правда, канадских.

Лекция состоялась в красивейшем готическом Тринити Колледж, в огромном, с высокими потолками зале на несколько сот мест, которые оказались заполнены. Для таких случаев у меня имела работа о каламбуре Бертрана Рассела *Many people would sooner die than think. In fact, they do* («Многие люди скорее умрут, чем станут думать. Собственно, так они и делают»). Доклад, возможно, благодаря щедро приводившимся островам Рассела и других авторов, публике понравился. В прениях на сцену поднялся самый знаменитый канадец русского происхождения George Ignatieff, одно время представитель Канады в ООН (член разветвленного клана Игнатьевых, среди которых

был и царский, а потом советский, генерал, автор книги «Пятьдесят лет в строю»). Дипломат не посрамил своей репутации и произнес небольшое похвальное слово — несомненный шедевр жанра. Он сказал, что из всех собравшихся он, повидимому, единственный имел честь слушать как профессора Жолковского, так и профессора Рассела (кстати, учившегося, а потом преподававшего в Кэмбридже тоже в Тринити Колледж), и рад засвидетельствовать адекватность разбора, основанную на сходном складе ума этих двух ученых. О скандалах, сопровождавших пребывание Рассела в Америке (1938-1944), он дипломатично умолчал.

Хотя в докладе пацифистский имидж философа деконструировался — выявлялась убийственная, в буквальном смысле слова, подоплека его рационализма, Рассела я люблю. Его «История западной философии» стала моей настольной книгой еще в те времена, когда мы читали ее под полусекретным грифом *Для научных библиотек*. В его эссе «О скрытых мотивах философии» я вижу блестящий образец тогда никому еще не ведомой деконструкции. А из его автобиографии не могу забыть фразу, венчающую описание первого научного успеха. Молодому Расселу вдруг приходит приглашение выступить на заседании Французского Математического Общества; он счастлив, едет в Париж, прибывает в указанное место и обнаруживает, что это небольшая комната, где вокруг стола сидят человек десять. «Observing their noses, I realized they were all Jews» («Обозрев их

носы, я понял, что все они были евреи»). Из-за железного занавеса отличия французских носов от семитских виделись нам не столь отчетливо (имел хождение даже эвфемизм «французы»), но для Рассела это был явно не бином Ньютона.

В мою честь устраивались приемы. После университетского доклада — у Долежела, дом которого поразил меня своей роскошью; после публичной лекции — в ресторане, где я основательно напился. А как-то днем коллеги повели меня в модное кафе, и я не мог отделаться от странного ощущения, что место мне знакомо, пока не сообразил, что на гигантской фотографии во всю стену напротив (новаторская тогда техника оформления интерьеров) был воспроизведен кусок улицы Нюхавн в Копенгагене, на которой я останавливался за год до этого.

Моим последним днем в Торонто была суббота, когда докладов не бывает, но заботливый Долежел спланировал мой визит таким образом, что как раз на эту субботу приходилось ежемесячное утреннее заседание возглавляемого им Торонтского семиотического кружка, готового оплатить мое выступление в скромном размере, не помню, пятидесяти, а может, и двадцати пяти канадских долларов. Я признался Долежелу, что третьего доклада у меня с собой нет, но он успокоил меня, сказав, что достаточно просто рассказать о трудах и днях советских семиотиков. По эмигрантскому безденежью, из благодарности к Долежелу и ради вящей славы московско-тартуской школы, я согласился.

Выступление состоялось в одной из небольших аудиторий по-субботнему пустого здания, перед пятью-шестью слушателями. Долежел пышно представил меня, после чего я набросал, как мог, творческие портреты Лотмана, Иванова, Топорова и Ко. Когда я позвонил домой в Итаку и сообщил про незапланированную лекцию, Таня спросила, о чем же я говорил. «Об усах Лотмана», — сказал я. В дальнейшем этот жанр так у нас и назывался. Кстати, усы у Лотмана были нееврейские — какие-то казацкие.

Доклад в половине четвертого

Выступления гостей из других университетов обычно начинаются где-то около трех часов дня. Тут мало что можно изменить. Утром идут регулярные занятия, потом наступает время ланча (тем более основательного, что прием гостя представляет собой роскошную халяву) и лишь где-то к двум-трем удастся собрать слушателей. В общем, раньше не получается, а позже тоже неудобно — желательно уложиться до пяти, и доклады приходятся в точности на то время, когда человека безудержно клонит в сон.

Проблема усугубляется комфортностью специальных холлов, где устраиваются выступления, и монотонностью чтения по готовому тексту, не говоря уже о неоторимой снотворности докладов с демонстрацией в полутьме слайдов или фрагментов из фильмов. Так или иначе, большинство этих

мероприятий проходит у меня в борьбе со сном, даже если тема и докладчик мне интересны и я сам, в роли координатора, представляю докладчика, а затем веду обсуждение.

Естественно было бы списать все это на возраст, когда спать хочется все больше, а слушать других все меньше. Но вспоминается первый, так сказать, формообразующий случай этого рода, имевший место два десятка лет назад, в самом начале моей американской карьеры. Активный, 44-летний, я тогда только что получил в Корнелле должность «полного» профессора, а заодно и заведующего кафедрой русской литературы. Я много ездил на конференции и со специальными лекциями, по Штатам и по Европе, и в момент, о котором пойдет речь, как раз вернулся с симпозиума по «Мифу в литературе» в Нью-Йоркском университете. Там я встретил давних знакомых (Борю Гаспарова, Иру Паперно, Толю Либермана, Кристину Поморску), увидел коллег, которых знал только по работам (Генриха Барана и Омри Ронена), и сблизился с новыми для меня людьми (например, Полем Дебрецени).

Боря Гаспаров и Ира Паперно были тогда совсем свежими эмигрантами и жили в Нью-Йорке. У Бори не было постоянной должности, но имела солидная научная репутация; Ира же была его молодой женой-аспиранткой, не защитившей диссертации по обстоятельствам отъезда. Ее доклад о Чернышевском (зародыш ныне хорошо известной книги), мне очень понравился, и я убедил коллег,

и прежде всего, предыдущего завкафедрой Джорджа Гибиана, пригласить их обоих выступить у нас в Корнелле, благо Итака от Нью-Йорка всего в одном недорогом часе полета.

Борин доклад проходил в просторной, довольно унылой классной комнате, с большими окнами и жесткими стульями. Он собрал много народу, был выслушан со вниманием и имел вполне предсказуемый успех. Ира выступала на другой день, и для этого была предоставлена уютная гостиная (*lounge*) на том же этаже, что и русская кафедра, с изящной мебелью, картинами на стенах и тяжелыми портьерами, располагавшая к интимному интеллектуальному общению.

Слово *lounge* значит также «комната для отдыха», «шезлонг» и «праздное времяпровождение», а в качестве глагола — «отдыхать, откинувшись в кресле, на диване», и вообще «бездельничать». Шезлонгов в нашей гостиной не было, но кресла и диваны имелись. Короче говоря, шикарно представив докладчицу как отменный продукт Тартуской семиотической школы (Ира окончила ТГУ), я опустился в мягкое кресло, с вдумчивым видом прикрыл глаза рукой и задремал.

Спал я чутко, и как только Ира замолкла, очнулся, чтобы как ни в чем не бывало поблагодарить ученую гостью за интересный доклад и предложить перейти к вопросам и обсуждению. Меня перебил Джордж:

— Доклад был действительно интересный — кроме вас никто не спал.

Раздался общий хохот. Я, как мог, отговорился тем, что доклад слышал еще в Нью-Йорке, пошли вопросы и ответы, и инцидент был заигран, а в дальнейшем вошел у нас с Ирой в общий ностальгический фонд.

Действительно, я давно уехал из Корнелла, Боря и Ира сменили несколько университетов, разошлись и оба переженались, Джордж Гибиан умер, его и мой тогдашний аспирант, свидетель описанного, Том Сейфрид, уже давно мой завкафедрой, Ира заведует кафедрой в Беркли... Но в послеполуденный сон на докладе меня клонит попрежнему — как в далекой корнелльской молодости.

Южный акцент

В начале 1980-х годов я несколько лет подряд ездил на конференции Американского Семиотического Общества, где, в частности, познакомился с очень занимавшим меня тогда Майклом Риффатерром. Одна из этих конференций проходила под Солт-Лейк-Сити, на территории пустовавшего не в сезон лыжного курорта.

Мормонский штат Юта известен, среди прочего, своим сухим законом. Практически это значит, что при входе в ресторан, тут же рядом с вешалкой, можно вступить в клуб любителей вина, каковым позволено купить в окошечке этого мифического клуба желаемую бутылку, поставить ее себе на стол и, заплатив официантке несколько

долларов за corkage (извлечение пробки), распить ее себе на здоровье, как и не в штате Юта.

Все это мы (я и несколько коллег, среди которых помню покойного Франтишека Галана) проделали с должным семиотическим интересом, а когда вино стало оказывать действие, простерли этот интерес и далее, пригласив танцевать местных девушек.

Танцуем, разговариваем.

— You talk different («Вы говорите иначе»), — отмечает моя партнерша.

— I do («Да»).

— You are not from here («Вы не здешний»).

— No («Нет»).

— You must be from *Southern Utah* («Вы, должно быть, из Южной Юты»).

Это был первый и последний раз, что в Америке меня приняли за американца.

Заметки феноменолога

В мою краткую бытность профессором и завкафедрой в Корнелле (1980-1983) мне довелось познакомиться с Полем де Маном. Он был в зените славы и в Корнелл приехал прочесть интенсивный, престижный и высокооплачиваемый курс публичных лекций (Messenger Lectures) по эстетике. Лекции читались во второй половине дня, длились, вопреки американским традициям, по три часа и более, не считая вопросов и ответов, и собирали огромную аудиторию — до ста и более студентов,

аспирантов и профессоров, в основном, конечно, гуманитариев.

Мне, с моими структурными установками и советскими пробелами в образовании, было трудно следить за ходом его рассуждений. Я добросовестно слушал и, как мог, осмысливал услышанное. (Помогал роднящий деконструкцию со структурализмом скепсис по поводу любых идеологий, так же поддающихся формальному исчислению, как и риторический репертуар литературы.) К концу второй лекции я даже наскреб некоторое количество недоумений, которого могло бы хватить на каверзный вопрос, но вылезать с этим на публику не решился, боясь попасть впро�ак с произнесением фамилии Канта. После лекции я спросил Джорджа Гибиана, как он, для которого английский язык тоже не родной, обеспечивает фонетическое противопоставление Kant/cunt («Кант/пизда»). Он ответил: «I don't. I rub their noses right into it» («А никак. Я прямо сую их туда носом»).

В следующий раз я все-таки собрался с духом и заветный вопрос задал. Ни своего вопроса, ни полученного ответа я не помню, но никогда не забуду формата, в котором была выдержана ответная реплика де Мана.

— Так, — сказал он, выслушав меня. — Вы... феноменолог. Следовательно, ответ должен выглядеть следующим образом...

Надо сказать, что, аттестовав меня как феноменолога, де Ман завысил мою скромную фило-

софскую квалификацию (правда, не без оснований — ввиду нашего со Щегловым упора на инварианты поэтических миров), и я некоторое время ходил гордый производством в следующий гуманитарный чин.

Так или иначе, шпаги были скрещены, знакомство состоялось. Оно продолжилось, когда благодаря моим связям с корнелльскими постструктуралистами (Джонатаном Каллером, Филом Льюисом, Ричардом Клайном), под чьей эгидой проходил визит де Мана, я общнулся с ним еще раз. Он посетил меня в моем огромном кабинете, и мы около часа беседовали о проблемах как литературной теории, так и аккультурации иностранных гуманитариев в Штатах (де Ман — бельгиец).

Это было незадолго до его смерти (и последовавших вскоре разоблачений его сотрудничества в профашистской прессе времен оккупации). У него было желтое лицо и деликатные манеры усталого человека. С отеческой заботливостью он заверил меня, что пяти лет мне хватит на то, чтобы освоиться в новой среде и почувствовать себя в американской славистике как дома. Вообще, ничего, так сказать, деконструктивного в его личности и обращении заметно не было.

Зато релятивизм его формулы я взял на вооружение. Я даже пытался завербовать в ее адепты Мельчука, но тут коса нашла на подлинно структуралистский камень: Игорь кривился при одной мысли, что правильных ответов может быть более одного.

О ЯКОБСОНЕ

Роман Осипович Якобсон был, судя по всему, великим человеком — одним из немногих, с которыми мне довелось немного познакомиться. Мой упор на «немногое» — не игра в стилистическую неловкость паче гордости. Величие по определению не может быть повседневным — иначе пропадают избранность и дистанция, необходимые для должного восприятия. Возможно, не меньшими заслугами, чем Якобсон, обладают люди, знакомые мне гораздо ближе, но нет пророка в отечестве своем. Величие, как и красота, в значительной степени is in the eye of the beholder («находится в глазу наблюдателя»).

В моих глазах и глазах нескольких поколений советских филологов именно сочетание «отечественности» и «иностранности» окружало Якобсона пророческим ореолом. Если не считать памятной со школы строчки Маяковского о неведомом *Ромке Якобсоне*, впервые я услышал о нем от моего учителя В. В. Иванова, а потом и от моего старшего друга и будущего соавтора Игоря Мельчука. Услышал, начал читать и вскоре зачислил себя в его заочные ученики и последователи. Но я позорно пропустил его в его первый доступный для меня приезд в сентябре 1958 года, когда он был в Москве на IV Международном Съезде Славистов и по инициативе В. Ю. Розенцвейга принял участие в заседании по вопросам теории перевода в МГПИИЯ, где с

ним познакомились многие из тогдашних и будущих структуралистов; особенно он выделил, кажется, Мельчука. (До этого, впервые после тридцати с лишним лет отсутствия, Якобсон приезжал еще в 1956-м — на подготовительное заседание оргкомитета Съезда.)

Во второй на моей памяти проезд, кажется, в 1959 г., Якобсон выступал в Институте Языкознания — в угловом особняке на Волхонке, на углу Кропоткинской, ныне Пречистенской, площади, где теперь Институт Русского Языка. На этот раз оказался на высоте и заранее занял место в имевшем переполниться актовом зале.

Якобсону было 64 года — возраст, который больше не кажется недостижимым. Темы его лекции я не помню, но помню, что он полемизировал с уже входившим в моду Хомским, что могло быть в жилу обоим направлениям тогдашней московской лингвистики — как официально традиционному, так и молодому структурному.

Двойственно, с дипломатически отмеренной смесью эпатажа и комплимента, прозвучал и забываемый пример, приведенный им в подтверждение опять-таки не помню какого тезиса. Из структуры английского (и любого западно-европейского) предложения *God is good* (*Deus bonus est* и т. п.) возможен схоластический вывод *Therefore, God is*, и потому это, так сказать, грамматическое доказательство существования Божия занимало видное место в западной теологии. Русское же предложение *Бог добр* таких возможностей не предоставля-

ет, и отсюда соответствующий пробел в русской богословской традиции.

На этом, однако, докладчик не остановился. Насладившись шокирующим впечатлением, произведенным на атеистическую поневоле аудиторию, он продолжал приблизительно так:

— Впрочем, грамматические средства русского языка вполне позволяют построить фразу *Бог всегда был, есть и будет добр* и — при желании — сделать из нее вывод, что *Бог всегда был, есть и будет*.

Шла ли речь о проблемах описания русской глагольной связки, о важности семантики и синонимического перифразирования (в пике Хомскому) или о чем-либо еще, было, в конце концов, безразлично. Соль приведенного примера и его разбора состояла, прежде всего, в провокационном поминании имени Божия и тем самым в программной реабилитации богословских и вообще мировых измерений филологии (сам Якобсон, насколько я знаю, не был религиозен). Еще одной сверхзадачей этого театра одного актера была демонстрация могущества грамматики, в частности — русской, особенно — в руках такого виртуозного мастера ее анализа, как еврей-эмигрант, профессор славянской филологии Гарвардского университета. Во всяком случае, так это было воспринято мной и другими «нашими».

Поразила нас также ораторская манера Якобсона. Она была именно ораторской, броской, величественной уже по своему интонационному

рисунку. (Сходное впечатление оставили впервые услышанные в те же годы публичные выступления Шкловского, Кирсанова и некоторых других людей 20-х годов, оттаявших в ходе хрущевской «оттепели».) Удивил — и заставил разнообразно задуматься — и густой, нимало не скрываемый русский акцент в английском языке, что-то вроде: *Гот из гут, зеэрфор Хи из*. Впоследствии я узнал ходившую в кругах западных филологов шутку о Якобсоне, который «свободно говорит по-русски на семи языках». (В Америке же мне пришлось столкнуться с более или менее единогласным отрицательным мнением носителей языка о стиле его научного письма.)

Этот акцент у «русского американца», да еще и великого лингвиста, тем более — великого фонолога, чья теория акустических дифференциальных признаков была последним словом тогдашнего структурализма, давал обильную пищу для размышлений. (Кстати, когда я после девятилетнего отсутствия, 1979-1988, впервые приехал в Москву из Лос-Анджелеса, моим друзьям-коллегам тоже почему-то очень хотелось, чтобы я оказался говорящим по-английски без акцента.) Отчасти акцент даже возвышал Якобсона, так сказать, не дававшего себе труда притворяться американцем, но главным образом, конечно, не то, чтобы снижал, но как бы приближал его, придавал его величию человеческие черты, делая его более доступным для подражания. Как говорится в еврейском анекдоте о сравнительных шансах для христиани-

на и иудея стать богом, «одному из наших это удалось».

Ощущение невероятного и все же осуществившегося контакта с человеком, которого и о котором мы только читали (в частности, у Шкловского в «Zoo» — про то, как в легендарные 20-е годы «Роман, со своими узкими ногами, рыжей и голубоглазой головой, любил Европу»), трудности, чинимые ему в связи с приездами в СССР, удручающие перестраховочные отказы и задержки при издании его трудов (в переводе которых мы участвовали), вплоть до запрета на упоминание его имени в печати (мне лично пришлось столкнуться с этим в журнале «Вопросы философии» в 1970-м году), проработка, которой подвергся В. В. Иванов, в частности, за свою связь с ним, — все это придавало его имени дополнительные магически раскрепощающие обертоны. Ходили, впрочем, и менее героические рассказы о том, что будто бы Яacobсон закидывал удочку насчет возвращения на родину — при условии, что его изберут в Академию и назначат директором Института Языкознания, но что советское начальство на это не пошло.

Неофициальное влияние Яacobсона, его имени, идей и работ было уже тогда несомненным. Когда в 1959 году формировалась наша Лаборатория Машинного Перевода, одно время шли переговоры о поступлении туда старшим научным сотрудником (с собственной ставкой от Министерства Высшего Образования) некоего влиятельного молодого доктора наук — слепого. Помню, как он при-

шел знакомиться с нами, непочтительной и, в большинстве своем, неостепененной гольтепой, и желая одновременно и себя показать, и к нам подольститься, спросил эдаким свойским тоном: «Вы, ребята, под кого работаете? Под Якобсона?» Мы действительно работали немного под Якобсона, немного под Сепира, немного под Трира, немного под Карнапа, немного под Маргарет Мастермен (из Cambridge Language Research Unit), но ощущали мы себя молодыми гениями и дали ему понять, что такая ограничительная научная прописка, объявленная, к тому же, полублатным тоном, нас не устраивает. У него хватило прозорливости, чтобы больше к нам не заявляться.

Еще раз Якобсон приезжал, вместе с женой, Кристиной Поморской, в 1964 году, на Международный Съезд Антропологов. Я об этом не помню ничего, но история с тайным от него походом Кристины к Шкловскому, которого она в это время переводила, и с переданным через нее, а затем демонстративно отвергнутым Якобсоном подарком (книгой Шкловского «Лев Толстой», 1963) описана и проанализирована Омри Роненом в «Новом литературном обозрении» (No. 23).

Следующий визит состоялся в 1966 году, причем опять по приглашению не какой-либо советской языковедческой инстанции, а Международной Психологической Ассоциации, которая избрала местом проведения своего очередного конгресса Москву, так что вопрос об участии Якобсона был опять вне компетенции советских властей. В том

же году в Тарту проходила Вторая Летняя школа по Вторичным моделирующим системам, и Лотману удалось «пробить» поездку Якобсона в Тарту, которая и состоялась под «наблюдением» представленного к нему... В. В. Иванова. А в промежутке В. В. решил устроить Якобсону и Кристине встречу с цветом молодой московской лингвистики, и возложил на меня почетную роль хозяина этого приема.

Летним днем — дата в принципе установима, но я ее не помню — у меня на Метростроевской улице (ныне опять Остоженке), 41, кв. 3, собрались В. В. Иванов, В. Ю. Розецвейг, И. И. Ревзин, А. А. Зализняк, Е. В. Падучева, И. А. Мельчук, Л. Н. Иорданская, Б. А. Успенский, В. А. Успенский, В. М. Иллич-Свитыч (вскоре погибший), В. А. Дыбо, Г. Чикоидзе и другие, всего человек двадцать. Встреча была очень оживленная.

Те из наших лингвистов, которые за три года до этого побывали на Международном Конгрессе лингвистов в Софии, вспоминали о встречах там. В частности, Мельчук, который до свержения Хрущева, дела Синявского и Даниэля и «подписанства» еще был «выездным», описывал, как они с Кристиной отправились осматривать какой-то монастырь, за что ему в дальнейшем влетело от руководителя делегации и институтского начальства как за нежелательную связь (!) с женой Якобсона и тем самым с империалистической агентурой. Мельчука даже вызывали в КГБ и допытывались, почему Якобсон выдвигал его кандидатуру в пред-

седательствующие одного из заседаний и пригласил на ужин с американской делегацией.

Якобсон рассказывал о событиях большей (а Впрочем, всего лишь двадцатисемилетней) давности — о своем бегстве через Данию, Норвегию и Швецию из оккупированной Гитлером Европы. Что-то совершенно экзотическое, особенно для живших за железным занавесом, он сообщил о том, как болезненно он переносит частые поездки с лекциями из одного конца света в другой — из-за разного набора микробов в пище, воде и воздухе разных континентов. Это было опять нечто великое — непрерывный globe-trotting, но в то же время сугубо человеческое — болезнь. Не ручаюсь за свою память, но, кажется, тут же (или на банкете в «Арагви», который ему в тот же день устроили грузины — Тамаз Гамкредидзе, Гурам Рамишвили и другие) он продемонстрировал, как пьется «матросский тост»: водка наливается в узкую рюмку, рюмка захватывается губами, голова запрокидывается, рюмка осушается и тем же манером — без рук — возвращается на стол.

Так я, наконец, познакомился с недостижимым кумиром и даже получил в подарок два оттиска с надписями: «Новейшую русскую поэзию» (1921) со словами: ... *на память о детском труде посвящает автор*, и «Поэзию грамматики и грамматику поэзии» (1961) — ... *на память о московских встречах*. Якобсон, которого я теперь мог разглядеть вблизи, был более или менее лыс и сед, но рыжина проглядывала в цвете лица и глаз. Он запомнился

своей необычайной для семидесятилетнего человека энергией. Роста он был чуть выше среднего, с большой головой, большим носом, крупными, слегка навывкате глазами (один косил) и огромным лбом. Он был элегантно одет и держался то слегка согбенно, то неестественно прямо — кажется, ему приходилось носить корсет. (Снова посмотрев недавно фильм Годара «Презрение», 1963, с Фрицем Лангом в роли самого себя, я отметил их поразительное внешнее сходство; Ланг, 1890-1976, еврей по матери, родился в Вене, бежал в Париж в 1933 году и переехал в Штаты в 1935-м.)

В августе 1968 года я правдами и неправдами оказался в Варшаве (Польша тогда была нашим окном в Европу) и на полуптичьих, с советской точки зрения, правах участвовал в очередном Симпозиуме по Семиотике. На него съехались многие звезды семиотического и лингвистического небосклона — Эмиль Бенвенист, Умберто Эко, Юлия Кристева, Кристиан Метц, Освальд Дюкро, Ферруччо Росси-Ланди, Калверт Уоткинс и другие. Среди гостеприимных хозяев выделялись Стефан Жулкевский, Мария-Рената Майенова, Ежи Курилович, Анна Вежбицка.

Ждали Якобсона. Кристина, будучи полькой, воспользовалась случаем и приехала «домой» заранее. Он же должен был со дня на день прибыть из Чехословакии, где читал лекции.

Людам, знающим — а тем более пережившим — историю тех лет, слов «август 1968» и «Чехословакия» достаточно, чтобы понять, на сколь роковые

минуты пришлось открытие симпозиума, назначенное на 24-е августа. Р. О. позвонил Кристине из Праги и сказал, что не едет. Выглянув утром 22-го из окна гостиницы, он испытал чувство гротескного *déjà vu*: повторилось случившееся в 1938-м — с той небольшой разницей, что тогда танки были немецкие. Следующий звонок был уже из Парижа.

В течение полутора десятков лет после встречи в Москве мое знакомство с Якобсоном было заочным и косвенным. Для сборника статей по лингвистической типологии (1972) я перевел давно боготворимую в структурных кругах статью Якобсона о шифтерах, причем отстоял именно такой перевод английского термина (*shifters*), тем самым причастившись роли нарицателя имен. Переводы работ Якобсона пробивались в печать с трудом; большим энтузиастом этого дела была Муза Александровна Оборина, редактор из «Прогресса». Отдельные статьи появлялись — благодаря ее помощи и усилиям Иванова, Мельчука и других — то там, то сям, но до основательных сборников («Избранные работы», 1985; «Работы по поэтике», 1987) было еще далеко. Целый сборник (подготовленный и отредактированный Мельчуком) был загроблен в 1970-м году Н. С. Чемодановым и М. М. Гухман; Якобсону был выплачен договорный гонорар в сумме 840 рублей (примерно равной трем месячным зарплатам старшего научного сотрудника со степенью). И это при том, что на Западе в издательстве Mouton тем временем выходили его семитомные «*Selected Writings*».

Якобсон очень дорожил каждой публикацией на родине. Однажды он передал, что хотел бы получить экземпляр сборника «Структурализм: «за» и «против»» (1975), где, наконец, была напечатана в России (в переводе Мельчука) его программная статья «Лингвистика и поэтика», а в заглавии сборника слышался отзвук его полемики со Шкловским. Помню, как счастливы мы с Мельчуком были послать ему в подарок «что-то, чего — редкий случай! — у Вас нет, а у нас есть». В ответ он прислал изданный им и его учениками том писем Трубецкого.

Работы Якобсона в области как лингвистики, так и поэтики оказали на меня сильнейшее действие. В частности — идея (усвоенная мной через призму мельчуковской интерпретации), что наборы значащих грамматических категорий, различные в разных языках, образуют сетки значений, обязательных к выражению независимо от интенций носителей этих языков. Этот принцип я взял на вооружение как лингвистический аналог концепции поэтического мира (совместной со Щеголовым), согласно которой поэтический мир есть система идиосинкратических для автора инвариантных мотивов, реализующая его центральный инвариант — единую тему его творчества. С запозданием прочитав классическую ныне статью Якобсона о пушкинском мотиве статуи, я обнаружил там многие из «своих» идей чеканно сформулированными еще в год моего рождения: статья была впервые опубликована по-чешски в юбилейном

пушкинском 1937 году и лишь в 1970-е годы вышла во французском и английском переводе; русского издания ей пришлось ждать до 1987 г.!

Особенно захватила меня задача осмыслить с точки зрения инвариантов подаренный мне разбор «Я вас любил», знаменитый своим вызывающим формальным ригоризмом, рассмотрев его, в частности, на фоне полемического контрразбора Шкловского (1969). Один из черновых вариантов своей работы я послал в Гарвард К. Ф. Тарановскому, с просьбой, если можно, показать Якобсону. Тарановскому статья не понравилась, о чем он со свойственной ему прямоотой мне и написал (отметив, что хороши в ней главным образом цитаты из Пушкина, «перечитать которого всегда приятно»); о Якобсоне же упомянул как-то глухо.

В 1976 году Тарановский проводил саббатикал (и отмечал свое 60-летие) в Москве. Он регулярно участвовал в Семинаре по поэтике, собиравшемся у меня дома, а всего через четыре года, осенью 1980-го, я в качестве новоиспеченного иммигранта оказался его гостем в Арлингтоне (рядом с Кембриджем, где расположен Гарвардский университет). Тарановский организовал мое выступление в Гарварде, и среди слушателей своей лекции — о поэтическом мире Пастернака, обильно уснащенной ссылками на Якобсона, — я с радостью, переходящей в смятение, увидел Р. О. и Кристину. Надо сказать, что их присутствие не было само собой разумеющимся (к этому времени Якобсон был уже на пенсии и находился в сложных отно-

шениях со своей бывшей кафедрой, Кристина же вообще работала не в Гарварде, а в МИТ) и потому было особенно лестным. А после доклада, имевшего смешанный успех (не исключая, что отчасти из-за его проякобсоновского направления), Кристина пригласила меня, вместе с Тарановским, к ним на ланч в один из ближайших дней.

Тарановский реагировал на приглашение с какой-то преувеличенной радостью и смущением. В ответ на мои расспросы он в конце концов признался, что он этого не ожидал и что, значит, Якобсон меня «простил». Я был изумлен, ибо не знал за собой ни малейшей вины. Тарановский сказал, что теперь, наверно, он вправе открыть мне, что Р. О. был сердит на меня за попытку совместить в моей статье о «Я вас любил...» положения его анализа с конъюнктурными возражениями Шкловского. Как я понял, к этому времени само имя Шкловского стало в якобсоновском окружении своего рода табу, а уж упоминание о нем и о Якобсоне в одной и той же фразе было совершеннейшим кощунством. Тем драгоценнее становилось каким-то образом (благодаря эмиграции? добрым отзывам Иванова, Мельчука, Тарановского? установкам доклада?) заслуженное прощение.

Когда в назначенное время, к 12-ти часам дня, мы приехали в Кэмбридж, на Скотт стрит, 8, нас встретила Кристина. Самого Р. О. дома не было — рано утром он уехал выступать на какую-то конференцию (кажется, по проблемам языка, мозга и афазии) в одном из многочисленных соседних уни-

верситетов. Вскоре он появился, веселый, восьмидесятичетырехлетний. За столом я стеснялся и помалкивал, а они с Тарановским перебрасывались полушутливыми рассуждениями о том, кто более повинен в присуждении докторской степени и, значит, выдаче путевки в жизнь, одному из их общих учеников (*nomina sunt odiosa*), оказавшемуся большим — и очень занудным — якобсонианцем, чем сам Якобсон.

Постепенно осмелев (хотя дискуссия, свидетелем которой я только что оказался, должна была бы послужить мне предупреждением), я спросил Р. О., почему он по отдельности разрабатывает идею смысловых инвариантов, например, в статье о статuae, и идею грамматики поэзии, например, в статье о «Я вас любил...», но не сводит их в единую теорию инвариантных мотивов, предметных и стилистических. Он по-авгурски ответил в том смысле, что не все же делать самому, надо что-то оставить и другим. Я молча кивал, но про себя всерьез принял это как своего рода завещание. В дальнейшем я попытался развить соответствующую аргументацию в статье о пастернаковском «Ветре», писавшуюся с посвящением Якобсону, а вышедшую в 1983 году с посвящением памяти обоих — поэта и одного из его проницательнейших исследователей.

Больше я Якобсона не видел, но перед смертью он меня «благословил». Как мне рассказывали, его закулисный положительный отзыв («Надеюсь, в Корнелле на этот раз не упустят удачной

возможности», — повидимому, с намеком на неудачу со взятием туда Мельчука тремя годами раньше) сыграл свою роль в получении мною заветной tenure.

Закончу одним эпизодом слегка вне хронологии, относящимся, впрочем, к собственно американской жизни Якобсона и к посмертной судьбе его наследия. В 1975-м году в Америке вышла книга молодого постструктуралиста Дж. Каллера — критический обзор основных идей, направлений и фигур структурной поэтики (Jonathan Culler, «Structuralist Poetics», Cornell UP). Якобсону в ней была отведена целая глава, в которой сначала излагались, а затем подвергались деконструкции важнейшие положения его литературоведческой концепции. Главная мысль Каллера состояла в том, что научность яacobсоновской теории, — как и всякой гуманитарной модели, претендующей на объективную истину по естественно-научному образцу, — остается проблематичной. Налицо якобы жесткая схема, подкрепляемая, однако, не доказательствами, а силой все той же интуиции, то убедительной, а то и не очень. Аспирантка из Корнелла, привезшая мне в подарок книгу Каллера, рассказала свежую академическую сплетню. Будто бы Якобсон позвонил Каллеру по междугородному телефону и целый час раздраженно выговаривал ему за непонимание его работ и некорректность аргументации. Меня в этой истории — при всех поправках на неизбежный шум в канале многократной изустной передачи — пора-

зило, что великому Якобсону, находившемуся в зените международной славы, оказалось столь важным мнение малоизвестного оппонента.

Телефон и впрямь оказался испорченным довольно сильно. Запрошенный недавно по электронной почте, Каллер сообщил мне, что история со звонком — апокриф. По его мнению, она явилась искаженным отражением уязвленно-язвительной полемики Якобсона с рядом его критиков-постструктуралистов, в том числе с ранним, журнальным вариантом его, Каллера, главы. В 20-страничном *Postscriptum*'е к французскому изданию своих работ по поэтике Якобсон обрушился на оппонентов, обвиняя их в эстетической глухоте, но ни одного из них не удостоил называния по имени.

Так или иначе, к середине 70-х годов в издательстве Мутон вышло уже три огромных тома «Избранных трудов» Якобсона. Его слова оказалось достаточно, чтобы на европейские языки была переведена пропповская «Морфология сказки», дожидавшаяся этого три десятка лет и вот теперь, благодаря Якобсону, наконец, обретшая новую жизнь. Известность Якобсона перешагнула далеко за рамки русской филологии (едва ли не во все отделы которой он внес свой вклад), да и общей лингвистики, поэтики и семиотики. К нему прислушивались инженеры-акустики, психологи, физиологи и антропологи, в том числе ставший его соавтором Леви-Стросс. Американские коллеги и аспиранты научились не коверкать его фамилию, и вместо напрашивающегося «Джейкобсон», ши-

карно, с сознанием причастности к таинствам европейской культуры, произносили ее с начальным «Йаа-» (правда, ударным на английский манер). Почему же его так сильно задела критика Каллера и других?

Оставляя в стороне разговоры о по-русийски авторитарном темпераменте Р. О., я хочу предложить несколько иное, отчасти интроспективное понимание ситуации. По целому ряду причин, признание — публикации, переводы, издания, собственная школа, высокая цитируемость — пришло к Якобсону сравнительно поздно. Свою роль тут сыграли и двукратная эмиграция (из России в Европу, из Европы в Штаты), и периферийность славистики на мировой лингвистической арене, и долгая борьба как с традиционной филологией, так и с другими ветвями структурализма (копенгагенской, американской), и непринятность в американском университетском истеблишменте, особенно тогдашнем, междисциплинарной ориентации, трактуемой как дилетантизм.

Усугубляли положение его происхождение и специальность. Как эмигрант из Советской России, он был лишен возможности опереться на поддержку покинутой родины и даже бывших соратников — отсюда, возможно, и острота реакции на трусливые маневры Шкловского. А как русист и славист, свою борьбу за переворот в науке Якобсон вынужден был вести на одном из самых ее рутинных участков. Особенно это касается Америки, где преподавание русского языка и литературы было

делом разного рода полупрофессиональных выходцев из России (вспомним многочисленные набобовские шаржи на эту тему).

В результате, достигнутый, наконец, успех (в какой-то мере даже и на советском фронте) мог восприниматься им не только как заслуженный и завоеванный в упорной борьбе, но и как новаторский, дерзкий, ранний — «первый». Увенчанный лаврами мэтр (профессор Гарвардского университета, автор многотомного собрания сочинений, и прочая, и прочая) сочетался в Якобсоне с полным молодежного задора футуристом-революционером. Если угодно, в этом можно усмотреть еще одно проявление характерного для русской культуры отставания-ускорения, сделавшего, например, Пушкина классицистом, романтиком и реалистом в одном лице.

Такое совмещение этапов и самосознание борца с консервативной традицией оставляли Якобсона неподготовленным к критике, так сказать, слева, от представителей новой научной парадигмы, как бы из будущего, — критике, продиктованной не оборонительным рефлексом дремучего непонимания, а изощренной, усвоившей и релятивизировавшей уроки структурализма постструктурной рефлексией. Этому вторило, делая удар особенно чувствительным, то, что наносился он из области не отсталой славистики, а новейшей общей теории литературы, причем как раз тогда (в условиях достаточной опубликованности и распространенности основных трудов) и там (в книге

«постороннего» наблюдателя, озаглавленной «Структурная поэтика»), когда и где следовало, казалось бы, ожидать желанной, законной и окончательной канонизации структурализма, в частности, якобсоновского. Открытым для пересмотра вдруг оказалось не только содержание, так сказать, семантика, его работ, но и их прагматика — ставшая уже привычной роль новатора в науке. Это могло болезненно подействовать на самый обнаженный экзистенциальный нерв его незаурядной личности.

После смерти Якобсона (1982 г.) задача опубликования и популяризации его наследия легла на учеников во главе с Кристиной. Они справились с этим прекрасно. Но хранение огня уже ввиду своей по определению консервирующей природы редко бывает свободно от оборонительных тенденций к фракционности и мумификации. Впрочем, сегодня помнится не столько это, сколько часовой телефонный разговор (осенью 1986 года) через весь континент с Кристиной, уже знавшей о близости своей смерти и потому говорившей — о Якобсоне, Маяковском, науке, себе, мне и наших спорах — с поистине последней прямоотой.

Глава, вписанная Р. О. Якобсоном в историю науки, была оригинальной, многогранной, значительной, но — не последней. Еще при его жизни началось неожиданное переосмысление его наследия, причем не только в критически-негативном духе, но и в творчески-позитивном. Так, на первый план среди его работ по поэтике внезапно

выдвинулась работа о мотиве статуи в жизни и творчестве Пушкина, оказавшаяся созвучной постструктурному выходу из имманентного текста в разнообразные — психологические, биографические, мифологические, социальные — аспекты прагматики дискурса. Можно ожидать, что карта обследованных Якобсоном территорий будет еще долго уточняться и перекраиваться, как под знаком его монологических предначертаний, так и под действием очередных волн непредсказуемой диалогизации, склонных тревожить вечный сон великих деятелей — ради продолжения разговора.

Якобсон против этого, возможно, не возражал бы. Недаром среди его любимых произведений были «Медный всадник» и «Кроткая».

Мой первый real estate

Эмиграция из СССР, месяц в Вене, семестр в Амстердаме, переезд в Штаты — сначала в Итаку, а потом в ЛосАнджелес — все это порядком поиздержало мою готовность к переменам. Пословицная мудрость «Лучше два пожара, чем один переезд» не только советская. Российскому человеку трудно даются transitions. Я-то уж точно вышел из гоголевской «Шинели» — из того пассажа, где «при слове *новую* у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться».

Поэтому, например, на покупку недвижимости я за свои 20 лет в Америке был подвигнут толь-

ко дважды. Первая из них была облегчена той атмосферой почти соборной заботы, которой мы, новоприбывшие из-за железного занавеса, были окружены в тесно сплоченной Итаке. Получив в Корнелле *tenure* и подталкиваемый домовитой женой, я нехотя, но все же решился, а все остальное взяла на себя популярная среди корнелльской профессуры агентша по торговле недвижимостью Кит Лэмберт.

Покупка дома в штате Нью-Йорк — не фунт изюма, тем более на новенького; это массивная операция, вроде высадки в Нормандии. Но постепенно дело завертелось, и через какое-то время мы остановили выбор на очень нам понравившемся, хотя и великоватом доме, после чего пошли всевозможные переговоры с агентшей, владельцами, их юристом, нашим юристом, работниками банка, различными инспекторами и т. п., а также хождение в гости ко многим из названных персонажей и к принявшим в нашем деле заботливое участие коллегам и знакомым.

Из людей, с которыми я столкнулся в этом светско-коммерческом водовороте, мне запомнился юрист по фамилии Буюкас — коренастый седой грек с выразительным профилем. Я с ходу, пользуясь остатками своих познаний в турецком языке, поддел его, спросив, почему же он, грек, носит фамилию турецкого происхождения (*biyyük* — по-турецки «большой»). Он охотно отпарировал, сказав, что его предок так успешно боролся с турками, что заслужил у них уважительное прозвище Большака.

Но вот подошел день подписания сделки, обозначаемого почти тем же престижным в американской культуре словом (*closing*, букв. «заккрытие»), что и развязка литературного сюжета, снятие психологической травмы и разрешение социального конфликта (*closure*). Как водится в развязке настоящей драмы (а что может быть реальнее *real estate*?), *closing* вывел на сцену всех действующих лиц, полный состав. Во вместительном зале в нижнем этаже банка вокруг гигантского стола собралось человек сорок причастных к операции, услуги которых оплачивались, естественно, из кармана покупателя. Был там и Буюкас, оказавшийся, к моему удивлению, юристом противной стороны.

Процедура была для меня внове, но я не особенно беспокоился. Все было согласовано-пересогласовано, с нами были Кит (которой, как агентше, предстояло заработать на этой сделке 6% стоимости дома) и наш юрист, да и вообще, как мне объяснили, предстояла чистая формальность, хотя и в торжественном исполнении. Но вдруг из речей Буюкаса я с тревогой уловил, что в плавное течение пьесы вплелся новый и вовсе не формальный мотив: какая-то очередная инспекция потребовала уплаты покупателем дополнительной страховки на сумму в две с лишним тысячи долларов ввиду несоответствия дома новейшим государственным инструкциям по антиасбестовой профилактике. Наш юрист попытался отклонить это требование, в дискуссию включилась Кит, кто-то предложил

разделить сумму поровну между сторонами, словом, каша заварилась.

Сумма, сравнительно с ценой дома, была не так уж велика. Но сама ее новизна задела меня за живое. Как я уже говорил, я не люблю нового. Не люблю я также отдавать деньги, сидеть на заседаниях и выполнять неведомые государственные инструкции. Нет у меня и привычки покупать дома. И уж совершенно не терплю я нарушения договоренностей. Я почувствовал, что меня охватывает праведный гнев, и решил дать ему сценически эффектный выход.

Я встал и сказал, что не заплачу ни цента свыше условленной цены. Раздался хор возражений. В одно ухо Кит зашептала мне что-то об этике американского бизнеса, а в другое Таня стала оплакивать утрату уже мысленно обставлявшегося ею дома.

— Что же вы предлагаете? — спросил Буюкас.

— Всем присутствующим в этой комнате, — услышал я свой голос, — плачу я. Поэтому я предлагаю устроить перерыв, во время которого ими, я уверен, будет найдено приемлемое для них решение. В противном случае покупка не состоится.

Перерыв был сделан, и мы с Таней вышли на улицу подышать воздухом. Таня волновалась, и не без оснований. С моей стороны это был отчаянный блеф. В случае расторжения сделки мы теряли, а владельцы получали, залог (escrow), заранее внесенный нами в банк в качестве гарантии серьезности наших намерений, — больший, чем спор-

ная сумма (но, разумеется, несравнимо меньший, чем цена дома.)

Антракт оказался коротким. Нас позвали обратно в зал, и было объявлено, что достигнут компромисс: хозяйева, агентша и юристы согласились поделить между собой уплату требуемой суммы.

Дом — в девять комнат! — мы купили и некоторое время им наслаждались; в нем гостили то Соколов, то Лимонов, устраивались parties, все как полагается. Буюкас, встреченный в гостях, пожал мне руку, сказав, что я достойный противник — здорово его тогда переиграл. Да, великодушно отвечал я, но вообще-то говорят, что где греки, там евреям делать нечего.

Через год мы с Таней разошлись, я переехал в Калифорнию, и Таня дом продала. А потом вместе с новым мужем купила другой, но вскоре пожалела о проданном. Он был, действительно, первый — и по порядку, и по размеру, и по красоте, а главное — по инициационной остроте переживаний.

Кому — кабельность, а кому — некабельность

В Корнелле я вел интенсивную академическую жизнь, посещал многочисленные общественные мероприятия и parties, «всех» знал и достиг высокого уровня visibility. В дальнейшем, при переходе в Университет Южной Калифорнии, я отказался от этой стороны своего имиджа и даже честно предупредил своих нанимателей, что второй раз театрализовать себя таким образом не намерен,

имея в виду попросту «cash in» (отоварить) уже имеющуюся репутацию: Корнелла — как более классного, Ivy League, университета и собственную — как его авантажного представителя.

Кампусные университеты (каковым является Корнелл) часто сочетают варку в собственном соку (добрая половина населения Итаки — студенты, профессора, сотрудники и деловые партнеры университета) с истерической нацеленностью на внешние контакты (командировки, прием знатных иностранцев, устройство конференций и т. д.). Активная светская жизнь в таком университете имеет свои преимущества. В Корнелле я за короткое время познакомился с Дерридой, Полем де Маном и Дмитрием Набоковым, слушал Башевиса Зингера и Борхеса, принимал своих давних знакомых Эко и Лимонова, подружился с лауреатом Нобелевской премии по химии — любителем русской литературы и сам чуть было не стал телевизионной персонэлитой.

Своеобразным проявлением корнелльской смеси самодостаточности с клаустрофобией стала введенная на моей памяти программа Professors at Large. Знаменитость в той или иной области культуры за огромные деньги приглашалась в Корнелл на одну-две недели, в течение которых выступала с публичной лекцией, проводила специальный семинар, встречалась со студентами и коллегами и, разумеется, включалась в светскую жизнь, ежевечерне подвергаясь операции wine and dine (*прибл.* «хлеб-соль», *букв.* «поить вином и кормить

обедом»). В году восемьдесят, если не ошибаюсь, втором в роли такого «вольного профессора» Корнелл посетил Микельанджело Антониони.

Он тогда только что снял свой новаторский в плане использования цвета фильм «Тайна Обервальда» (1980), который и привез показать. Фильма я скорее не понял (а из его отсутствия в новейших американских справочниках по видео явствует, что он так и не получил коммерческого признания), но это нисколько не уменьшило моего почтения к создателю «Blowup»'а и «Пассажира» (он же «Профессия: репортер»). И, конечно, я был польщен приглашением на обед в честь Антониони в дом к руководителю программы Professors at Large, видному корнелльскому физику Винаю Амбегаокару, представительному красавцу-индусу.

Антониони, которому тогда было 70 лет, оказался изящным седым джентльменом, державшимся со скромным достоинством, без какого-либо киношного или итальянского апломба. Это не значит, что он молчал и стеснялся. Начал он с того, что тихим голосом, но вполне по-светски, на уверенном английском, спросил:

— So, you all teach? («Значит, все вы преподаете?»)

За столом сидел десяток профессоров с разных кафедр, так что утвердительный ответ подразумевался. Гости закивали, ожидая продолжения, которое не замедлило последовать, опять-таки очень любезное, но содержавшее уже некоторый вызов:

— Как это вам удастся? Я бы не мог.

Следует сказать, что английское *teach* совмещает значения бюрократически отчужденного русского «преподавать» и житейски непосредственного, но и амбициозного «учить», и Антониони явно имел в виду второе. В ответ посыпались резонные объяснения — каждый отрекомендовался профессором, преподающим определенные знания и умения и не усматривающим в подобном занятии почвы для экзистенциального беспокойства. Но Антониони оставался при своем недоумении относительно возможности — по крайней мере, для него самого — учить кого-либо чему-либо. Во мне, еще не вышедшем из воинствующе структуралистского периода, его слова задели полемическую струну, и я решил перенести бой на его территорию.

— Но предположим, у вас есть ученик, почитатель, который хочет у вас поучиться и спрашивает совета, как снимать?

— Что же я ему посоветую? Ведь это его фильм, а не мой.

— Но, допустим, — тут я мысленно призвал на помощь дух Эйзенштейна-профессора ВГИКа, — он спрашивает вас конкретно, с какой точки, сверху или снизу, ему лучше снимать сцену, замысел которой он вам тут же объясняет? Неужели вы не подскажете ему, как лучше поставить камеру?

— Как я могу что-то сказать? Это его фильм, его жизнь...

Разговор продолжался еще некоторое время, но Антониони в полной мере оправдал свое рено-

ме апостола некоммуникабельности. Свое «не» он отстаивал ненавязчиво, но непреклонно.

Потерпев полное поражение — и впервые, может быть, почувствовав серьезность дотоле совершенно чуждой мне позиции, — я попытался взять реванш на другом участке. По поводу всем памятного вентилятора в комнате с трупом из фильма «Профессия: репортер» я спросил, нельзя ли понять его как вариацию на отмеченный многими кинокритиками мотив ветра, шевелящего листву в каждом из его фильмов, — как своего рода «ветер в помещении».

— Вы, наверно, никогда не бывали в пустыне, где это снималось. Без вентилятора там просто невозможно находиться.

Чему другому, а некоммуникабельности у него поучиться было можно.

Обед был долгий, сначала все сидели за столом, потом беседовали за кофе в гостиной и прогуливаясь по веранде, опоясывавшей весь дом, расположенный в живописном ущелье. (Известная корнелльская формула гласит: «Ithaca is gorges» — каламбур на gorge, «ущелье», и gorgeous, «великолепный».) Помню, как разговаривал с ним на этой веранде, наслаждаясь красотой антуража, неброской харизмой моего собеседника и сознанием причастности к моменту.

Последнее обострялось одной деталью события, выше пропущенной. В тот день к нам приехал погостить Саша Соколов, двумя романами которого я восхищался (это было до еще более бли-

стательной «Палисандрии») и с которым познакомился во время его выступления в Корнелле. Мне показалось заманчивым свести Соколова с Антониони и, набравшись наглости, я позвонил к Амбегаокарам. Они, однако, отнеслись к предложению привести Сашу прохладно, указав на очевидное и, с американской точки зрения, совершенно беспардонное short notice (предупреждение в последнюю минуту). Мои настояния, подкрепляемые заверениями о Сашином величии, они отвели ссылкой на ограниченное число мест за столом. Таня предложила было остаться дома, уступив свой прибор Саше, но это уже пахло Достоевским, и мы отступились.

Так не состоялся еще один потенциальный акт некоммуникации. А было бы интересно при нем присутствовать. Саша ведь тоже не умеет преподавать, изъясняется на серьезные темы в основном письменно и в некой палисандровой маске, а последние полтора десятка лет вообще молчит, скрывается и таит. Хочется думать, что они поняли бы друг друга без слов, для чего, впрочем, не нужно встречаться. К этому в конце концов пришел и я — уже после Корнеллы.

Процесс исследования

Однажды, когда у нас с Таней в Итаке гостил мятежный писатель Э., писавшая о нем коллега-американка пригласила нас всех к себе на ужин. Еда, питье и беседа у жаровни под открытым небом

разворачивались неторопливо, но постепенно набирали градус, отчасти обостряясь ввиду супружеских трений между мной и Таней, неизбежных в этой заключительной стадии нашего брака, но скорее излишних для дружеского литературного застолья. В остальном мы вроде бы «сидели хорошо», когда хозяйка, наклонившись ко мне, вдруг вполголоса сказала по-английски:

— Алик, почему бы Вам не поехать домой?

— Я не против, но вы же знаете, я не вожу машину. Надо спросить Таню.

— Таня, почему бы вам не поехать домой?

Таня сказала, что она готова в любой момент, но надо спросить Э.

— Вы поезжайте, — отвечала хозяйка, — а Э. пусть еще останется, я потом привезу его сама.

— Э., так что, мы поедem? Она тебя потом привезет.

Но Э. проявил неожиданную для него приверженность коллективу:

— Да нет, куда вы заторопились, посидите еще, скоро все поедem.

При таком раскладе долго сидеть, естественно, не пришлось, и вскоре мы трое откланялись. В машине я спросил Э., что же он, вопреки своей шумной репутации, не остался. В чем дело — хозяйка не в его вкусе?

— Главное, — отвечал писатель, — не хотелось бы помешать процессу исследования.

Несмотря на деликатность и даже металитературность этого ответа, Таня, видимо, почувство-

вав себя невольной свидетельницей разговора в мужской бане, а может быть, и в развитие своих претензий ко мне в частности и мужчинам вообще, сдавленно пробормотала что-то вроде «Ах, вы черти!» и отчаянно погнала машину. Э., автор крутых сюжетов со стрельбой и мордобоем, несколько напрягся, отдавая должное происходящему, и головой показал мне на Таню, дескать, утихомирь свою бабу. Я произнес какие-то увещевания, но Таню они еще больше распалили. Было ясно, что я не только не вожу машину, но и не имею власти над водительницей.

Доехали мы, тем не менее, благополучно, и вообще ничего, как говорится, не случилось. Пережив несколько острых, в духе писательской манеры Э., моментов, все вернулись каждый в свою колею. Впрочем, не совсем. Мы с Таней вскоре разошлись, катализатором чего послужил если не этот эпизод, то само присутствие Э., безжалостно обнажающего, в литературе и в жизни, реальную подоплеку экзистенса. По той же причине оборвался, увы, и драгоценный процесс исследования, которому Э., хотя привычке милой и не дал ходу, все-таки, видимо, помешал.

Безнадёга

Свою работу в Корнелле я начал на птичьих правах. Сначала — в престижной, но очень временной роли старшего стипендиата (Senior Fellow) Общества гуманитарных наук (Society for the Humanities),

затем — во временной же должности на русской кафедре, замещая ушедшего в отпуск преподавателя. Превращение этих внештатных позиций в постоянную профессорскую ставку (*tenure*) было делом непростым, при всем расположении ко мне декана колледжа Алена Сезнека (*Alain Seznec*), заведующего кафедрой русской литературы Джорджа Гибиана и других коллег. Впрочем, я был полон оптимизма, подкреплявшегося по-русийски гипертрофированным представлением о собственной ценности, и увлечен перспективой проведения семинара по все еще полузапретному на родине Пастернаку. Советские цепи были мною успешно потеряны, предстояло обретение всего мира. На этом фоне американская озабоченность получением *tenure* казалась мне удручающе мелкой. (Не забуду слов одного корнелльского коллеги: «Вот решается мое продвижение из доцентов в профессора [*from Associate to Full Professorship*]. Если повысят — ну что ж, так и надо, но если *не* повысят — какое унижение!» Повысили.)

Джордж меня, кажется, понимал, но не упускал из виду и административного аспекта моих первых шагов. Он заботливо справлялся о том, как идет семинар, кто его посещает, доволен ли я, довольны ли слушатели. Я рапортовал, что слушателей много (9?): практически все аспиранты русской кафедры плюс один очень сильный студент выпускного курса (*senior*), да еще два профессора: один — англичанин с английской кафедры, а другой — какой-то технарь. Англист русского языка

не знает, но вместе с коллегой-русистом переводит стихи Пастернака и в семинаре очень активен.

— Это, наверно, Джон Столуорти (John Stallworthy), — угадал Джордж. — Он известный поэт и уважаемый профессор. Надо будет, чтобы он написал официальный отзыв о семинаре.

— Я думаю, он напишет. Он симпатичный, мы часто ходим вместе на ланч в Стэттлер Инн, и он консультируется со мной по поводу своих переводов. Ему очень хочется выпрямить Пастернака, ибо «по-английски так сказать нельзя», а я все твержу ему, что в том-то и фокус, что по-русски тоже нет*.

— Акто этот профессор с технического факультета?

— Точно не знаю. Такой незаметный, маленький. Он подошел ко мне перед началом, представился на ломаном русском языке и попросил разрешения ходить. Но умный — сообщает неплохо...

— Узнайте фамилию. Надо будет и у него взять отзыв.

После очередного занятия я, извинившись, переспросил имя, фамилию и профессию «технаря» и затем доложил Джорджу:

— Он химик. Его фамилия Хофман (Hoffmann).

— Хофман? Неужели Роальд Хофман?!

* Книжка переводов вышла в 1983 году: *Boris Pasternak. Selected Poems*. Trans. Peter France and John Stallworthy; наши беседы помянуты там добрым словом.

— Да-да, Роальд, я еще подумал — одно из викингских имен, захваченных евреями: Гарольд Блум, Роальд Хофман.

— О, это выдающийся ученый. И он любит помогать диссидентам.

— Да, он сказал, что он из Польши. Кстати, он лучше всех в классе понимает мои структурные схемы, иногда и меня поправляет.

— Его отзыв был бы очень кстати.

С Роальдом Хофманом мы подружились. Его интересы далеко не ограничивались химией. Пользуясь возможностями, предоставляемыми университетом, и знанием нескольких европейских языков, он иногда «брал» тот или иной гуманитарный курс. Так, на следующий год после Пастернака он посещал семинар по «Фаусту» у видного корнелльского гётеведа Блэколла.

Между тем, заготовка бумаг шла своим чередом, и вскоре под чутким руководством Джорджа, а также благодаря собранным мной приглашениям на работу в другие университеты — доказательствам моей конкурентоспособности, заветная *tenure* была получена, а в придачу к ней еще и должность заведующего довольно склочной кафедрой.

Но не об этом речь. Однажды в неурочное время меня вызвали на кампус. Машину я тогда еще не водил и потому спросил, насколько это срочно.

— Приезжайте скорей. Роальд Хофман получил Нобелевскую премию!

Я вскочил на велосипед и к Бейкер Лэб — зданию химического факультета — подъехал уже с готовой поздравительной формулой.

Огромный зал был полон. Сверкали юпитеры — снимали для телевидения. Была расстелена красная дорожка. Среди группы деканов и другого начальства выделялся тучный седой старик, физик-атомщик Ганс Бете (Hans Bethe), до тех пор единственный корнелльский нобелевец. Откуда-то издалека (из Австралии?) были привезены сестра и мать Роальда. Сам он стоял посередине всего этого гала-спектакля и, смущенно улыбаясь, принимал поздравления. Премию он получил вместе с каким-то японцем, но пополам делилась лишь сумма, лауреатом же он был полным. Подошла моя очередь.

— Роальд, я поздравляю вас, а главное — себя, ибо теперь я всегда смогу говорить, что преподавал (taught, букв. «обучал») одного Нобелевского лауреата другому.

Наша дружба на этом не прекратилась — Роальд не загордился. А во время одной из поездок в Москву, еще до перестройки, он даже отвез что-то моему папе, порадовав его высоким уровнем моих знакомств, но встревожив сообщением, что внизу его ждет черная «Волга».

Продолжалось наше общение и после моего переезда в Лос-Анджелес. Джордж и некоторые другие коллеги жалели о моем отъезде; кое-кто, насколько я понимаю, даже обиделся. А Роальд, в книжке стихов, изданной после получения пре-

мии, обратился ко мне целый стихотворный призыв вернуться из пошловато-солнечной Калифорнии «домой» в Итаку.

Я не вернулся, но во время своих визитов в Южную Калифорнию Роальд звонил, мы встречались, он приходил к нам с Ольгой на parties... Кроме того, он присылал свои статьи, то самостоятельные, то соавторские, на темы, пограничные между химией, культурологией и Талмудом. И — напряженно ожидал их обсуждения. Я, как мог, проявлял интерес, похваливал, но явно недостаточно. Я вчуже понимал его, ибо и сам жажду внимания к своим работам. Однако в человеке, достигшем, казалось бы, уже всего, такая неутоленная потребность в одобрении поражала и настораживала.

После его очередного визита в Санта-Монику с настойчивой демонстрацией очередного опуса до меня вдруг дошло:

— Надеяться абсолютно не на что, — сказал я Ольге. — Смотри, даже Нобелевка не помогает.

Ars poetica

Одновременно со мной старшим стипендиатом Общества Гуманитарных Наук в мой первый корнелльский год был моложавый, но уже известный английский литературовед модного марксистско-бахтинского толка Терри Иглтон (Eagleton). Ритуал Общества требовал, чтобы «старшие» выступали перед «младшими», в противном случае жаловавшимся на невнимание. Иглтон снизо-

шел, но вместо доклада по теории литературы предложил спеть балладу собственного сочинения на ту же тему, — что и сделал. Он носил длинные волосы, расшитые ковбойские сапоги и какую-то по-битловски длиннополую шинель, так что гитара в его руках выглядела вполне к месту. Я, все еще исповедовавший вывезенную со структурно-семиотической родины веру в торжество Науки, с одной стороны, и в священную недостижимость Поэзии, с другой, слушал с молчаливым отвращением. Слов у меня, как и у остальных слушателей, действительно, не было — не отвечать же презренной прозой!

Сознаюсь, что, несмотря на выработанную, хочется думать, за последние пару десятков лет терпимость, меня и сегодня коробит при воспоминании. Если подумать, среди классических образцов литературного теоретизирования были и стихотворные — Горация, Буало, Верлена, и все же, для того ли формалисты рассохлые топтали сапоги и выясняли, как сделана «Шинель»?!

Профессиональная кухня

На заметный скачок в зарплате американский профессор может рассчитывать в основном в переходные моменты: при поступлении на работу, при повышении в ранге, при переходе из одного университета в другой, а также при *ни*переходе — в обмен на отказ от выгодного предложения со стороны, настоящего или умело организованного.

Нормальные ежегодные прибавки, как правило, незначительны, зависят от экономического положения страны, штата и университета, иногда сводятся к поправке на инфляцию и в любом случае практически съедаются пропорциональным, а то и прогрессивным возрастанием налога. В эти рутинные периоды я теряю интерес к происходящему, но на переломах мое внимание обостряется.

На Западе первый такой опыт был связан у меня с переездом из Голландии в Штаты. (Мотивы этого переезда — тема особая: я исходил из общей идеи, что эмигрировать нужно в страну эмигрантов — Америку.). В Амстердаме я получал солидную по тем временам зарплату, в Корнелле же мне предлагалась несколько меньшая, но зато престижная стипендия на полгода, а затем временная же и еще более скромная должность Assistant Professor'a с перспективами на повышение в будущем. Я написал устраивавшему все это Джорджу Гибиану, что получать немного меньше денег я некоторое время согласен, но начинать американскую академическую карьеру с ассистентской должности считаю неправильным. Он ответил, что разделяет мою самооценку, и мы сошлись на оформлении меня в качестве Visiting профессора. По приезде в Итаку превращение этой более звучной должности в постоянную и полную профессорскую потребовало некоторых усилий, в частности, добывания конкурентных приглашений из других мест, но прочная основа была заложена именно

такой чисто терминологической, казалось бы, работой с номенклатурной семантикой.

Переход из Корнелла в USC — Университет Южной Калифорнии (происходивший по сугубо личным причинам) был сопряжен со значительным повышением зарплаты, необходимым ввиду большей дороговизны жизни и возможным благодаря более скромному рейтингу USC, вынужденного подкупать сманиваемых профессоров. Мне, однако, удалось внести в эту музыку сфер оригинальную собственную ноту.

Перед показательным выступлением на кафедре меня повели на ланч в Faculty Center — профессорский клуб. Мне все было внове, начиная с калифорнийского климата (была первая половина января, но градусник показывал 108° по Фаренгейту — более 40° по Цельсию) и кончая общим видом и архитектурой кампуса и клуба. Я глазел по сторонам, рассеянно улыбался и, как мог, поддерживал беседу.

Вел ее декан Колледжа Литературы, Искусств и Наук, профессор сравнительного литературоведения Дэвид Мэлоун. Усадив вокруг меня приглашенных на ланч ведущих коллег, он с предупредительностью гостеприимного хозяина-гурмана стал объяснять мне, что кухня у них в клубе преимущественно мексиканская — с тех пор, как в должность вступил новый шеф-повар.

— Ну как же, — включился я, — Оскар Мендоса.

— Так вы уже знаете? Каким образом?

— Ну, во-первых, я имею обыкновение быть хорошо информированным о том, с чем имею дело, — так, я знаю названия книг всех присутствующих. А во-вторых... я прочел его фамилию на медной дощечке, вывешенной в коридоре. Я бывший лингвист, и вообще у меня хорошая оперативная память.

Я был вознагражден общим смехом, однако для его перевода в долларový эквивалент потребовалось время и дальнейшее везение.

Еда оказалась приличной, но не более того; я не был, да так и не стал любителем мексиканской кухни. Мое выступление прошло успешно, и я уехал; переговоры о приглашении на работу постепенно продвигались, предстояла решающая встреча с деканом. Он как раз объезжал восточные штаты и предложил заехать в Итаку, чтобы встретиться со мной. Я заказал ему номер в корнелльском Стэтлер Инн и обед на 6 вечера. Он должен был прилететь еще днем, но позвонил сказать, что из-за зимней непогоды рейс задержался.

Я пришел в ресторан вовремя, объяснил, что гость запаздывает, ходил справляться в администрацию отеля, но его все не было. В какой-то момент, кажется, в 9, ресторан начинает закрываться, новых заказов уже не принимают, и я стал нервничать. Но где-то в половине девятого Мэлоун, наконец, появился, прямо с мороза, и рассказал, что самолет так и не вылетел, но он взял напрокат машину, несколько часов ехал сквозь пургу,

и вот он здесь. Я подозвал отчаявшегося было уже официанта, и мы стали заказывать.

Следует сказать, что Корнелл славится многими достижениями, но едва ли не более всего своим Гостиничным факультетом (Hotel School), входящим в первую десятку в мире. А Стэтлер является для этого факультета своего рода опытной базой. Студенты, подрабатывая там, получают профессиональные навыки, аспиранты проходят практику, профессора руководят гастрономическими проектами. Поэтому молодой человек, подошедший принять у нас заказ, был не простым официантом, а аспирантом, работавшим над темой, которая была одновременно и темой ресторанного меню на этот вечер, а именно, местной кухней какого-то южного штата в начале века.

Какого — не помню, но невозможно забыть того потрясающего совпадения, что это был тот самый штат и даже тот самый город, где родился мой будущий декан, человек, как мы помним, внимательный к вопросам кулинарии. Между ним и официантом завязалась эзотерическая беседа знатоков, и о близившемся закрытии ресторана было забыто. Выбор блюд продолжался неимоверно долго, несколько раз уточнения вносил сам профессор — научный руководитель нашего официанта, дежуривший в этот вечер по ресторану. Заказанная еда тщательно готовилась, торжественно приносилась, детально дегустировалась и обсуждалась...

На разговоры о работе и зарплате времени практически не осталось. Декан назвал некую сум-

му, я потупился, он прибавил пять тысяч, я упомянул о калифорнийском real estate, он напомнил об итакских снегопадах, и тогда я зашел с козырной карты. Переведя взгляд со стола на аспиранта и профессора, я сказал:

— Но вы же видите, чего я лишаяюсь?! Это вам не Оскар Мендоса.

Он накинул еще пять, и я стал калифорнийцем.

Unfortunately, бля

Стихи Коржавина я знал со времен «Тарусских страниц», а с ним самим познакомился только в Калифорнии, году в 83-м или 84-м, когда он гостил у Паперных в Санта-Монике. Ольга же подружилась с ним еще раньше, в ходе организованной ею конференции по литературе «третьей волны» в Лос-Анджелесе (1980).

Коржавину было приятно, что я помню наизусть его стихи, и он объявил меня своим парнем; мы даже перешли на «ты». Но с моим структурализмом он примириться не мог. Полагаю, что дело не только в конкретных разногласиях, каковые действительно имеются. (Так, Коржавин вообще не жалуется славистов, литературоведов и прочих паразитов на теле литературы; на дух не принимает он и моей любви к поэзии Лимонова: «Чего уж там, персонажи пишут», — припечатал он однажды.) Задним числом я пришел к мысли, что тут работает некая общая стратегия: предъявляя собеседнику тот или иной идейно-политический

счет и тем самым вызывая у него чувство вины, Коржавин как бы обращает его в моральное рабство, позволяющее далее потребовать от него, выражаясь словами Остапа Бендера, множество мелких услуг. Поэтому поддержание обвинения носит принципиальный характер, требуя от Коржавина быть постоянно начеку.

— Эма, — говорил я ему, улучив момент, когда он находился в добром расположении духа, — давай я у тебя буду на роли хорошего структуралиста. Знаешь, как у антисемита может быть жена-еврейка, у расиста — друг-негр?

— Нет, — бдитительно спохватывался Коржавин. — Хорошего структуралиста быть не может. Человек ты неплохой, но добро и структурализм — две вещи несовместные.

Коржавин уехал, а потом через какое-то время позвонил Ольге с просьбой о помощи. Его жена (тогда главный источник доходов в семье) теряла работу в Гарварде (ее ставка преподавателя языка не допускала продления), и он спрашивал Ольгу, нет ли где-нибудь в американской славистике преподавательского места. На нашей кафедре как раз проходил конкурс на замещение такой должности, и Ольга предложила жене Коржавина подать документы, что и было сделано. Последовал рутинный процесс поиска кандидатов, которым занималась уже не Ольга — завкафедрой, а специально созданный комитет. Но ни один из кандидатов не удовлетворил членов комитета, и никто принят на работу не был, о чем всем и были разос-

ланы корректные письма с комплиментами и сожалениями.

Прошло еще некоторое время, и Вадик Паперный позвонил сказать, что только что говорил по телефону с Коржавиным, который очень сердит на нас с Ольгой, и нам следует немедленно с ним связаться. Он дал бостонский номер Коржавина, мы позвонили и услышали знакомый брюзжащий захлеб:

— Ну, что такое, понимаешь? Ну, не вышло, ну, позвоните, как люди, скажите, не вышло. А это что? Сначала приглашают, а потом? Письмо, понимаешь, на бланке, понимаешь, по-английски... Unfortunately, бя... Разве это по-нашему?..

Пришлось долго неискренне каяться по телефону, а потом долго нести фальшивое бремя вины. Но все это с лихвой окупалось обретением могучей формулы, вышедшей из творческой лаборатории мастера.

Кстати, упор Коржавина на «нашенские» ценности слышится и в органично сросшемся с ним псевдониме. Взят он был, конечно, в годы, когда поэту с фамилией Мандель рассчитывать было бы не на что. Но это не просто первая попавшаяся русская фамилия. В ней видна марка той же поэтической мастерской: и непритязательные *корж* и *ржаная корка*, и мужественный налет *ржавчины*, и фонетическая рецептура Маяковского (*Есть еще хорошие буквы: Эр, Ша, Ща*), и некое *державинское* эхо. (Интересно, не в Коржавина-Державина ли метит фамилия Марамзин?)

Мафазм + Карамзин — это даже посильнее Кармазинова Достоевского.)

В общем, старик Коржавин нас заметил и, в гроб сходя, обматерил. Ну, насчет гроба это так, к слову. Только что в Питере, на двухсотлетних пушкинских торжествах, он был в добром здравии и читал под аплодисменты зала.

Чайная церемония

Году в 84-м в Стенфорде проходила конференция по славистике, на которой я выступил в новой для себя роли феминиста. Мой доклад (ранняя версия «Прогулок по Маяковскому», акцентировавшая его женоненавистничество) имел определенный успех, но не с ним оказался связан самый для меня интересный — и самый загадочный — эпизод конференции.

В перерыве ко мне подошел лысоватый с бородкой человек российско-еврейского вида. Он назвал меня по имени-отчеству, представился и предложил зайти к нему в кабинет, расположенный в том же здании. Его фамилия показалась мне смутно знакомой, немного времени у меня было, отказ мог бы прозвучать высокомерно, и я согласился, про себя любопытствуя, зачем я мог ему понадобиться.

Мы зашли в его офис, он предложил чаю, я поблагодарил, но отказался. Он стал называть общих знакомых — все диссидентского толка, я поддерживал разговор, как мог, по-прежнему не понимая, куда он клонится.

Хозяин упомянул Александра Гинзбурга, мою первую жену — «мисс Арину» Гинзбург, Солженицына (и его вторую жену, с которой я был когда-то знаком в Москве) и вновь предложил поставить чайник. Я сказал «спасибо, не надо» и спросил его о его работе, немного беспокоясь, что может последовать какая-нибудь бестактная или невыполнимая просьба, но сознавая, что чему быть, того не миновать.

Он оказался математическим экономистом, изучающим советский демографический кризис. Ставку в Гуверовском институте, как он дал понять, он получил благодаря поддержке Солженицына. Таким образом, о потребности в помощи со стороны моей скромной персоны дело, скорее всего, не шло. Но тем более интригующим становился тайный смысл происходящего.

За упоминанием о Солженицыне опять неукоснительно последовало предложение чая. Но я извинился, сказав, что мне пора бежать на заседание, попрощался, и на этом мы расстались.

Загадка странной чайной церемонии занимала меня еще долго. Время от времени я рассказывал о ней коллегам, но никто не мог пролить на нее свет, — пока я, наконец, не поставил эту проблему перед П. Она тогда все дальше уходила от чистого литературоведения в его психиатрические и социологические ответвления, и я, кажется, поддразнил ее, сказав, что, мол, вот вам test case для применения ваших методов.

К тому времени я уже забыл фамилию демографа, но она легко ее восстановила:

— А-а, понятно, — сказала она. — Это был Б.?

— Да, теперь вспоминаю. Так чего же он от меня хотел?

— Он, как вы правильно заметили, хотел угостить вас чаем.

— Но зачем ему это было нужно?

— Дело в том, что из числа сотрудников Центра лишь немногие удостоены так называемых «чайных привилегий» — права, несмотря на строгости пожарной охраны, держать в офисе электрический чайник. Принадлежность к этой почетной категории требует непрерывной демонстрации, но, видимо, со всеми сколько-нибудь знакомыми коллегами он это уже проделал. Тут-то вы и подвернулись.

Возразить было нечего. Социопсихология кругом себя оправдала.

Полировка личности

С Майей Каганской я познакомился летом 1984 года в Иерусалиме, на Международном пастернаковском симпозиуме. Я заочно знал ее по блестящим эссе и книге «Мастер Гамбс и Маргарита» и вот увидел лично. В ней все было внушительно — фигура, нос, низкий голос, ядовитое красноречие.

Как-то мы оказались вместе в лифте, и я спросил, чем она занималась в России, где я о ней вроде бы не слышал.

— В России я исключительно полировала свою личность, — сказала она своим кокетливым ба-

сом. — И, отполировав, решила преподнести в дар Западу.

Присутствие в лифте славистов — представителей осчастливленного Запада — ее не смущало.

Поэтика недоверия

Виталик Гринберг, мой давний приятель по эмиграции — человек многих качеств: плебей, семьянин, делец, растратчик, спортсмен, весельчак, ипохондрик. Он чадолобив и остроумен, но, в отклонение от пушкинско-шекспировской формулы, не скуп, а, как бы это сказать, недоверчив. Если за всем этим разнообразием скрывается какая-то одна мания, то это недоверие к окружающему. Он постоянно ожидает, что его обьедут. Поэтому с ним хорошо идти к автомобильному дилеру, где он мастерски сбивает цену, но не в ресторан, где он долго портит вам аппетит подозрениями относительно свежести мяса и в конце концов устраивает скандал с требованием вернуть деньги — money back! А посещение общественной уборной он превращает в показательную гигиеническую пантомиму на тему о правильном порядке пользования туалетной бумагой и дверными ручками, сопровождаемую соответствующими нравочениями.

Но вот мы сидим в совершенно безопасной обстановке, за ланчем у общих знакомых. Я принес им в подарок свою книгу, и Виталик листает ее. Я скромно пытаюсь переменить разговор, дескать,

ну написал и написал, книга специальная, поговорим о чем-нибудь интересном для всех. Но Виталик не выпускает книги из рук. Я, конечно, втайне доволен и тем более могу позволить себе полное безразличие.

— Что ты там нашел?

— Эта книга мне нравится.

— Книга по литературоведению — схемы рифмовки, мотивы, интертексты... Тебе-то что?

— Ну, как же. Вот смотри: «На первый взгляд, по сюжету здесь имеет место обычная... Однако, если вдуматься...» Наебон! На первый взгляд, одно, а в натуре ничего подобного! Типичный наебон, и ты выводил их на чистую воду. Нет, эту книгу я хочу читать!

А ведь и правда: все подтексты и глубинные структуры, все подсознание и сублимация, весь семиотический проект, да чего там, вся Наука как таковая и все гносеологические метания между вещами в себе и для нас — все это, в конце концов, не что иное, как одна бесконечная попытка разоблачить мировой наебон, называемый *human condition* («человеческим состоянием»). Или все-таки прав Эйнштейн, и Бог изощрен (*raffiniert*), но не наебывает?

Сравнительное литературоведение

В середине 90-х годов я попал на ежемесячное заседание объединения славистов, живущих в Нью-Йорке и окрестностях. Доклад профессора Энто-

ни Энемони (*Anemone*), с сильным деконструктивным привкусом, посвященный толстовским «Казакам», привлёк внушительную аудиторию — человек пятьдесят литературоведов и историков из ведущих университетов.

Деконструкцию я недолюбливаю, наверно, потому что недопонимаю, а «Казаков» не читал, руки не дошли. Это не помешало мне включиться в дискуссию и оспорить какие-то из утверждений докладчика, произведя достойное впечатление как на него, так и на слушателей. После доклада вся компания по традиции отправилась в близлежащий китайский ресторан.

А наутро я улетел назад в Лос-Анджелес и через день уже присутствовал на заседании нашего кафедрального семинара, где выступал А. В. Лавров (ныне член-корр.) с анализом автобиографической подоплеки «Серебряного голубя» Белого. Этого романа, я тоже не читал, и мне показалось заманчивым не просто выступить в прениях, но и провести параллели между двумя текстами, к чему я был более чем подготовлен прослушанными докладами.

Эксперимент удался, напомнив мне сдачу экзамена по зарубежной литературе XX века на филофаке МГУ сорока годами раньше. Я тогда выгащил билет с датским соцреалистом Мартином Андерсеном-Нексё и, не читавши ни одного из его романов, развернул перед экзаменатором сопоставительный анализ сразу двух — «Пелле-Завоевателя» и «Мортена Красного». Преподавая сейчас рус-

скую литературу в Калифорнии, я иной раз ловлю на подобных трюках своих желторотых студентов и, прежде чем поставить кол (F), не забываю похвалить их за интеллектуальную инициативу, обличающую будущих литературоведов.

И в самом деле, успех этих провокаций вовсе не свидетельствует, как может показаться, о научной несолидности литературоведения. Напротив, если последнее чем и отличается от «настоящих» наук в невыгодную сторону, так это обязательностью знакомства с художественными текстами и вообще первоисточниками. Физики, химики, биологи, не говоря уже о математиках, спокойно работают с фактами и формулами, установленными их предшественниками, и лишь филологи считают делом чести вручную перелопатить как можно большую массу накопившегося за века сырья.

Расщепление личности

Одна коллега, И., занимавшаяся самоубийствами в литературе, поступила, для расширения психиатрического кругозора, волонтершей на hot line — службу телефонной помощи людям, находящимся в экстремальных ситуациях, в основном самоубийцам. Впрочем, дело не всегда шло о смерти, иногда и о любви. Все-таки Калифорния.

Как-то раз звонит взволнованная девушка. И. спрашивает:

- Что случилось? Чем могу помочь?
- Кажется, меня изнасиловали.

— Простите, не совсем поняла. Вас изнасиловали или вам кажется?

— Так вот я и звоню узнать, что́ это было. Вы же специалист...

Тут все на месте — телефонный сервис, дежурный консультант, бесстыдство «жертвы», юридический словарь-минимум. И полное отсутствие собственного мнения по самому, что называется, личному вопросу, а вместе с тем ясность, что ответ может быть получен из соответствующей профессиональной инстанции.

Сплошное «мы»/»они» и никакого «я». А ведь Калифорния, Запад — дальше не бывает.

Парадокс тем забавнее, что лейтмотивом всей постшестидесятнической культуры в Америке является установка на *being in touch with your feelings* — контакт со своими чувствами. Разумеется, провал заранее запрограммирован четким отделением «я» от «*feelings*».

Но оставим дежурный антиамериканизм. Отчуждение от собственных желаний, отправлений и даже частей тела — почтенная литературная универсалия. Возьмем классический лимерик:

*A young man from the banks of the Po/ Found
his cock had elongated so,/ That when he'd pee/ It
wasn't he,/ But only his neighbors who'd know*
(Молодой человек с берегов По/ Обнаружил, что его член удлинился настолько,/ Что, когда он мочился,/ То не он,/ А лишь его соседи знали об этом).

Этот гиперболический образ наглядно, так сказать, на пальцах, проясняет сходные построения более возвышенной лирики. Например – то отстранение лирического «я» от собственных интересов, которым пронизано «Я вас любил...» Пушкина: *Но пусть она [моя любовь] вас больше не тревожит; / Я не хочу печалить вас ничем.*

Хочется, однако, хэппи-энда. Пушкин начинает с контакта, а кончает амбивалентным самоотмежевaniem. Позитивный вариант, наоборот, начинался бы с тревожной неопределенности, а кончался счастливым воссоединением. Например:

На Екатерину II, прогуливающуюся по царскосельскому парку, сзади набрасывается пыльный гвардеец.

– Кажется, нас ебут?

– Преображенского полка поручик такой-то, Ваше Императорское Величество!

– Продолжайте, капитан, продолжайте.

Вот это, действительно, контакт with one's feelings, и нет нужды перегружать телефон.

Гальциона

Интертексты дошли до меня не сразу. В семиотическом истеблишменте о них заговорили еще в 60-е годы, когда нас со Щегловым занимало порождение отдельного текста (и системы мотивов) одного автора. Я долго не принимал Бахтина и недо-

оценивал интертекстуальные работы Тынянова. А над любителями цитатности посмеивался как над представителями особой «остзейской» школы, имея в виду прибалтийское расположение Тарту, где группировались Левинтон и Тименчик, а также рижское происхождение последнего и эстляндское — К. Ф. Тарановского (отец которого был до революции ректором Дерптского университета).

Прозрел я уже на Западе. В академическом плане сыграло роль знакомство с теориями Блума и Риффатерра — современными вариантами формалистского учения о пародии и литературной эволюции. А житейски сказались автомобильные поездки по Европе, пресловутые камни которой проинтертекстуализованы до предела.

Обратившись, я по-неофитски бросился в другую крайность — стал видеть подтексты повсюду и с энтузиазмом настаивать на их программности. (Недавно Щеглов передал мне слова М. Л. Гаспарова: «Если Александр Константинович решит что-нибудь связать, то можно не сомневаться, — свяжет».) Василия Аксенова я так замучил выявлением у него неизвестных ему самому подтекстов (в частности, из бабелевской виньетки о Казанцеве, знавшем все замки в Испании, ср. Дрожжинина с его Халигалией в «Затоваренной бочкотаре»), что однажды он не выдержал и дал мне сдачи. Он спросил, читал ли я «Ожог», и если да, то не оттуда ли почерпнул некоторые свои идеи о Зощенко. Заглянув в соответствующую главу романа, я обнаружил там обещанный подтекст, на который, как

честный офицер, и сослался при следующей okazji.

Но совершенно хрестоматийный урок такого рода преподнесла мне сама Жизнь — в своей роли Тотального Текста.

В сентябре 85-го года мы с Ольгой путешествовали по Испании. Маршрут был проложен на высоком культурном уровне: Барселона — Гранада — Толедо — Сан-Себастьян; в конце пути намечался Париж. Помимо очевидных Сервантеса, Эль Греко, Гауди, Дали, мавров, Карла V («римского императора», который столь металингвистически «говаривал» в учебнике родной речи) и проч., над автопробегом витали Ильф и Петров и Хемингуэй. Словом, в интертекстуальном фоне недостатка не было.

Но оставалось как будто место и для нехитрых речей практического ряда. В какой-то момент Ольга, теплолюбивая калифорнийка, стала с беспокойством приглядываться к появившемуся на горизонте облачку, опасаясь дождя и кутаясь в приготовленный на этот случай плащ. Решительно подавив в себе школьные реминисценции из «Капитанской дочки», я ответил, что это пустяки, здесь тепло и хорошо, но едем мы, действительно, на север, дело идет к осени, и неизвестно, какая погода в Париже, где нас могут ожидать холод, ветер и дождь.

Прошло, наверно, полчаса, прежде чем я сообразил, *что* я сказал. Почти слово в слово я подал знаменитую реплику Лауры из «Каменного гостя»:

*Приди – открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет [.....]
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»
А далеко, на севере – в Париже –
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует. –
А нам какое дело?..*

Надо сказать, я не только знал этот пассаж, но и читал разнообразные комментарии к нему пушкинистов и даже сам писал о нем. Так что особый российский кайф по поводу северности Парижа при взгляде из Испании был мной давно отрефлектирован. И хотя я мог поклясться, что говорил в простоте душевной, тут-то, как сказал бы Зощенко, он, интертекст, и подтвердился. (Как подтвердился и О. Бендер: «Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье...»... И только на рассвете... вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин!»)

Подавленный, но и польщенный пожатьем каменной десницы Гипертекста, я с ближайшей же бензоколонки отправил М. Л. Гаспарову (в холодную, еще не тронутую перестройкой Россию) короткий отчет о случившемся. В ответ я по истечении времени получил цветную открытку: изображение незнакомой большеголовой птицы с мощным клювом и пышным хохолком, как гласила подпись, — зимородка. Следовала приписка от руки: «За кораблем вилася Гальциона...»

Это была строчка из «Тени друга» Батюшкова, и таким образом я нарекался «другом», причем покойным, являющимся во сне. В этой посмертности не было, впрочем, ничего макабрического. В 85-м году все еще оставалась в силе формулировка того же Бендера: «Заграница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не возвращается», обыгрывающая известную гамлетовскую. Дополнительную связность диалогу придавали батюшковские упоминания о ночи, страже, севере и погодных условиях, воспринимаемых одновременно с южной, древнесредиземноморской, точки зрения (на Англию как на «туманный Альбион») и с русской, нордической (на север как на нечто «любезное»):

*Я берег покидал туманный Альбиона;
Казалось, он в волнах свинцовых утонул,
За кораблем виляла Гальциона,
И тихий глас ее певцов увеселял [...]
И кормчего на палубе зыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов, —
Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал...*

Батюшковский эпиграф из Проперция (о душах усопших, ускользающих от смерти, победив костер) являл сигнатуру Гаспарова как античника, но меня больше заинтересовала Гальциона. В примечаниях к одному изданию Батюшко-

ва она толковалась попросту как «чайка», а к другому — несколько богаче, но тоже уклончиво: «Здесь — чайка, по имени женщины, согласно мифу, превращенной в морскую птицу, чтоб сопровождать утонувшего мужа». Миф имелся в виду греческий и к тому же разработанный Овидием («Метаморфозы», XI, 410 — 748): об Алкионе, одной из нескольких в мифологическом репертуаре, а именно — дочери Эола и жене/вдове потерпевшего кораблекрушение Кеика. (Ее тезка, другая Алкиона/Ал(ь)циона, дочь Атланта и океаниды Плейоны, стала возлюбленной Посейдона, а потом вместе с сестрами образовала созвездие Плеяд).

Как далее выяснилось, дезориентирующее «Г» (латинское H) в начале ее имени, по-видимому, возникло (в духе тыняновского Кижэ) из смешения значков для разных типов придыхания (в моем греческо-английском словаре прямо сказано: «*halcyon* with h is a wrong form»). Оно проникло в латынь и европейские языки и присутствует как в названии соответствующей птицы (лат. *halcyon* = *alcyon* = *alcedo* = англ. *halcyon* = *kingfisher* = рус. зимородок), так и в выражении *halcyon days*, «безмятежные дни» (греч. *halcyonides*), связанном с античным же представлением, что штиль, устанавливающийся на море на две недели вокруг дня зимнего солнцестояния (то есть, как раз сейчас, когда я пишу это в солнечной предновогодней Санта-Монике и океан действительно тих), объясняется тем, что боги даруют его зимородку, который — в согласии

отсылать к статьям самого М. Л. о первом великом поэте-изгнаннике, в частности — к книге «Скорбные элегии. Письма с Понта» (М.: Литературные памятники, 1978) с его комментариями и переводами. Ее экземпляр он подарил мне перед моим отъездом в эмиграцию, снабдив посвящением в форме элегического дистиха:

*Знал над стихами Назон, что на Понте он
пишет для Рима;
Ныне где Понт и где Рим — сам не ответит
Эдип.*

(23/X – 78)

Сходится, однако, не все. Зимородок — не чайка (а реальный зимородок гнезд вообще не вьет: он кладет яйца в прибрежные ямки), Испания — не Альбион, Эдипу не было дела до Рима, Батюшков отплыл из Англии (в Швецию) не в конце декабря, а в июне (1814 г.), да и «Г» — лишнее... Кстати, от этого «Г» зависит толкование имени Гальционы/Алкионы в качестве то ли «морской гончей» (*hal-cyon*), ошибочное, то ли «охранительницы, стражницы» (*alcy-one*), правильное; между прочим, мотив «стражи» есть и в «Тени друга», и в реплике Лауры, а также в моем имени, означающем «охранитель мужей» (< *alexo* + *andr*-) и таким образом отчасти родственном Алкионе.

Что касается разницы между зимородком и чайкой, то у Овидия Кеик и Алкиона превращаются богами просто в неопределенных «птиц». Разли-

чие удобно смазывается также употреблением обобщенного единственного числа, одного на двоих: *ambo alite mutantur*, букв. «оба превращаются в птицу». По другим источникам, оба становятся зимородками. Наконец, согласно третьим, Алкиона обращается в зимородка, а Кеик — в чайку, что соответствует греческому значению его имени (*Сеух* = «морская чайка»; но заманчивая этимология *чайка* < *keyk-s*, к сожалению, некорректна: оба слова имеют звукоподражательное происхождение, но каждый свое; как сообщает запрошенный по электронной почте Старостин, греческому *keyk* соответствует в русском не *чайка*, а... *сова*). Союз чайки с зимородком создает серьезные проблемы межвидового скрещивания, каковые, впрочем, лишь контрастно оттеняют преодолевающую все преграды силу любви (ведь и наказаны-то богами Алкиона и Кеик были, по одной из версий, за переоценку своей любви — за то, что называли друг друга Герой и Зевсом), ну и, конечно, могущество богов.

Все это и многое другое обильно комментируется в литературе. И все вроде бы примиряется Пушкиным (инкогнито — так сказать, во сне — явившимся мне невядалеке от Гвадалквивира). «Пушкин, — сообщает комментатор Батюшкова, — заметил об этой элегии: «Прелесть и совершенство — какая гармония»».

Пушкиным же неожиданно гармонируется и один не вполне разрешенный в нашей с Ямпольским книге о Бабеле вопрос — о названии издатель-

ства («Альциона»), которым владел муж героини «Гюи де Мопассана» Бендерский. Бабель, по-видимому, пародировал, с утрированным еврейским налетом (*Аль-Цион* = др.-евр. «на Сион, в Иерусалим»), название символистского издательства «Алконост», принадлежавшего еврею Самуилу Алянскому. Это тем более вероятно, что слово *алконост* — не что иное, как искажение старинного русского речения «алкион есть птица», где *алкион* — все тот же зимородок. Но, метя в одну алкиону, Бабель вольно или невольно попал в другую. Подобно Бендеру (с его «Чудным мгновеньем»), Бендерский повторил уже бывшее в русской литературной традиции название альманаха, издававшегося в начале 1830-х годов бароном Розеном и названного по имени самой яркой звезды созвездия Плеяд, то есть, «другой» Алкионы. В «Альционе» печатались поэты пушкинского круга и сам Пушкин (в частности, там в 1832 году — ровно за сто лет до «Гюи де Мопассана» — появился «Пир во время чумы»), но не Батюшков, к тому времени замолкший. Впрочем, было издательство «Альциона» и в 1910-е годы, так что Бабель, возможно, вообще ничего не придумал, и вся проблема не стоит выеденного яйца.

А возможно, что М. Л. Гаспаров просто намекнул мне, что ездить надо меньше, а читать больше. (Еще в 88-м он писал мне, что отказался ехать на мандельштамовскую конференцию в Бари, ибо «слишком привык к железному занавесу и потому не ездок».) Или вообще спутал меня со Щегловым,

писавшим о «Метаморфозах» всерьез. Упомянул же он как-то в разговоре со мной о некоем мифическом «Щегловском». Не этому ли птицевидному гибриду был адресован назонистый зимородок на открытке?

Интертексты умеют много гитик.

«Мы»

Преподавая в 1987 году в Констанце, на юге Германии, я некоторое время жил в загородном доме отсутствовавшей коллеги (Ренаты Лахманн) и ездил в университет на ее машине. В первый же день за рулем я пришел в ужас от настырности немецких водителей. Этими впечатлениями я поделился с коллегами по кафедре.

— Наверно, — сказал я, стараясь держаться корректно, — я чего-то недопонимаю? Может, статистика катастроф не такая плохая?

— Статистика ужасная.

— Тогда в чем же дело? Или у вас агрессия в крови, и вам кажется, что вы на танке? Так все равно войну-то выиграли мы!

— Вы? А кто «вы»?

Вопрос был поставлен грамотно. Все-таки передо мной сидели не какие-то вообще «фрицы», а слависты, филологи, семиотики. Я нашелся:

— Кто «мы»? Мы, русские, мы, американцы, и мы, евреи!

Этим массивованным ударом в немецкий поддых я прекратил дискуссию, но вопрос о том, кто

«мы» такие, так просто, конечно, не решается. В моей западной жизни наболевшая российская проблема национальной идентичности возникала неоднократно и в разных поворотах, заряжаясь от трения об иностранную среду. Так что мой быстрый ответ был подготовлен давним осознанием того, что из России я уехал по еврейской линии, в Америке воспринимаюсь как русский, а в Европе схожу за американца.

Как-то в придорожном ресторане посреди английской глубинки я разговорился с остряком-барменом. Для разминки он спросил меня, откуда я. Я предложил догадаться по акценту. Он принял игру:

— Not from the colonies? («Неужели из колоний»?)

Это был образцово проинтонированный британский put-down («опускание»), но в нем крылась возможность интересного продолжения.

— Увы, наоборот, — из страны, которая не имела такого счастья.

Ему это ничего не сказало, и из словесного спарринга я вышел, если угодно, победителем.

Взгляд на нашу родину как на страну, не сподобившуюся побывать английской колонией, отражает определенный слой российского самочувствия. Raison d'être целой серии в свое время популярных у нас «английских» анекдотов («Робинзон Крузо: А вот это — другой клуб, в котором я принципиально никогда не бываю»; «Чем это здесь воняет, Джон? — Свежим воздухом, сэр»; и т. п.) — подспудное лордство российского интеллигента.

Лордство тайное, заемное, но тем более сладостное. И не исключительно российское, подтверждением чему — американский еврейский анекдот, похожий на наши «английские». Перескажу его, комментируя в скобках непереводимую игру акцентов, на которой он держится.

Сара идет по Нью-Йорку, видит элегантного джентльмена, подходит к нему и спрашивает:

— Мистех, где вы купили этот костюм, галстук, цилиндр, зонтик? В «Сэкс, 5-я Авеню»? [американский еврейский — бруклинский — акцент]

— Нет, мэм, в Лондоне, в «Хэрродз» [британский акцент].

Сара идет домой, описывает Абраму одежду англичанина («костюм, галстук...» [брукл.]), велит собираться, они едут в Лондон. В «Хэрродз» Сара требует для Абрама «костюм, галстук...» [брукл.], продавцы приносят, меряют, подгоняют. Наконец, Абрам — во всем английском, как вдруг Сара видит, что он плачет.

— Абхам! Что ты плачешь? Смотри, на тебе этот костюм, галстук и т. д., что ты плачешь? [брукл.].

Абрам, глядя в зеркало:

— Мы потеряли Индию [с британским акцентом, отличным не только от бруклинского, но и от любого американского, в произношении обоих ключевых слов: «по-

теряли» (lost, с очень закрытым «о») и «Индия» («Инджа»)].

Этот анекдот запал мне в душу, и однажды я рассказал его «настоящему англичанину». Им был мистер Филлипс, профессор английского языка в Байрейтском Институте Иностранных Языков, где немецкие друзья устроили мне, неимущему эмигранту (в первый мой европейский семестр, осенью 1979 г.), лекцию. Лекция изобиловала структурно-семиотической терминологией, и когда дело дошло до вопросов, мистер Филлипс, с изысканными до манерности интонациями оксфордского «дона», спросил:

— Do we really need a meta-language? («Действительно ли нам нужен метаязык?»)

Устав от сомнений в пользу науки еще в России, я обратился к мистеру Филлипсу накопившийся запас иронии, причем постарался облечь ее в «британские» тона.

— Это зависит от того, кто «мы». Если «мы» — рядовые читатели, то метаязык нам ни к чему. Если «мы» — специалисты в области литературы (критики, литературоведы, преподаватели), он может быть полезен, хотя «мы» этого, как правило, не подозреваем. Если же «мы» — теоретики литературы, метаязык совершенно необходим.

Мистер Филлипс не обиделся и вечером в ресторане (насколько помню, греческом) был со мной предупредителен, помогал выбирать блюда и учил различать сорта пива. Осмелев, я рассказал ему

анекдот про Абрама, потерявшего Индию, и выразил надежду, что его, мистера Филлипса, сердце не истекает по ней кровью. Ответ прозвучал столь идеально по-британски, что я так и не знаю, говорил ли мистер Филлипс всерьез или автопародийно играл в британского пост-империалиста:

— Our hearts don't bleed. Theirs do. («Наши сердца не кровоточат. Их — да»).

Кстати, индусы, сожалеющие о постепенной утрате британской культуры, действительно, есть. Ну, а «нам» остается оплакивать то, чего у нас никогда и не было.

Таксист и синтаксист

За годы научных занятий языком сомали и работы с ним на Московском радио, я в общем овладел его сложной грамматикой и приобрел довольно приличное произношение (по словам сомалийцев, я говорил с арабским акцентом, — и то хлеб). Что касается словарного запаса, то он у меня ограничивался лексическим минимумом бытовой разговорной речи плюс те две сотни газетных клише, с которыми Московское радио обращалось к адресатам своей пропаганды. В эмиграции, выбрав из своего по-советски ренессансного репертуара карьеру «слависта», я стал постепенно забывать как лингвистику, так и сомали, особенно его словарь.

Одна из ежегодных славистических конференций проходила в Вашингтоне, и так случилось, что

несколько человек с нашей кафедры возвращались в Лос-Анджелес одним и тем же рейсом. Мы решили взять одно такси, и поскольку занялся этим я, то я и сел на место рядом с водителем. Трое коллег расположились сзади, за стеклянной перегородкой, как в театре, точнее — как в немом кино.

Соседство с таксистом — мощный текстопорождающий топос. Таксисты многоопытны, философичны и разговорчивы; общение с ними четко обрамлено в пространстве и времени и спроецировано на фон меняющихся за окном декораций. Возникающие при этом дискурсивные сценарии часто непредсказуемы.

Один из лучших фильмов 90-х годов, «Ночь на земле» Джима Джармуша (Jarmusch), построен как серия из пяти новелл о поездках на такси в разных столицах мира. Замечательные «Записки таксиста» были несколько лет назад опубликованы в «Звезде». Первое смутное осознание близящегося крушения советской империи пришло ко мне где-то в конце 60-х годов, когда я удачно поймал такси, освобождавшееся прямо перед моим сквериком, а вместе с ним — реплику таксиста, обращенную вослед предыдущему пассажиру:

— Чего никто не хочет понять, это что в ближайшее время деньги будут платить только за непосредственные услуги. В стране есть ценные работники, но у правительства нет способов выловить их из общей массы, отличить от бездельников. Поэтому оплачиваться будут только прямые услуги.

Этот философ от баранки, носатый пожилой еврей, оказался инженером, окончившим несколько институтов, но сознательно переквалифицировавшимся в таксисты и частные водители. Он сказал, что зарабатывает таким способом большие деньги.

В разных хронотопах таксисты рекрутируются из разных групп населения: в Париже 20-х годов это были русские дворяне, в Нью-Йорке 70-80-х — бывшие советские евреи. В Вашингтоне 80-х годов, о котором идет речь, таксистами работали всевозможные выходцы из Африки.

Одного взгляда на нашего водителя мне было достаточно, чтобы узнать в нем сомалийца. Для проверки я тихим голосом произнес стандартное сомалийское приветствие (Ma nabad baa?). Он на это и бровью не повел, как будто ничего не было сказано. Я повторил те же слова громче; он понял, что я обращаюсь к нему, но явно недоумевал, с чем. Видимо, машина обработки языковой информации включается не раньше, чем человек осознает, что имеет место ситуация общения на известном ему языке. Лишь после моего третьего захода водитель, не знавший, чему верить — глазам или ушам, согласился наконец счесть меня за сказавшего что-то по-сомалийски и произнес ответную формулу (Waa nabad!).

Разговор постепенно завязался. Сразу же обнаружилось, что мне не хватает самых элементарных слов. (Эмигрировав, я вообще заметил, что, находясь в среде одного иностранного языка,

очень трудно активизировать словарный запас другого, пусть даже не особенно забытого.) Однако закон Ципфа сыграл свою роль — новых слов требовалось все меньше, уже употребленные повторялись все чаще, и я все увереннее пускал их в грамматический оборот.

Одновременно я наблюдал за растущим недомением собеседника, озадаченного разрывом между скудостью моего словаря и жонглерской ловкостью обращения с ним. На его глазах моя речь, начавшаяся в лексическом отношении почти с нуля, насыщаясь, как вампир, кровью его реплик, расправляла чем дальше, тем шире, свои грамматические крылья. Богатый потенциал сомалийского синтаксиса редко находит себе применение в устной речи, я же принялся выстраивать сложнейшие периоды из главных и придаточных предложений, личных и безличных конструкций, изъявительных, сослагательных и отрицательных (есть там и такие) форм, проецируя на сомали всю талмудо-греко-латинскую мощь европейской риторики и возводя целые готические соборы ажурных языковых структур, хотя и простейшей словесной кладки.

Пантомимический аспект диалога был, по-видимому, достаточно эффектен, ибо привлек внимание коллег. Они приоткрыли окошечко в перегородке и пытались понять, что происходит.

Увы, моим стрелчатым построениям суждено было остаться сугубо воздушными. Мой новый знакомец надавал мне телефонов своих соотече-

ственников в Лос-Анджелесе, но я так и не собрался им позвонить, и мой сомалийский словарь улетучился почти с такой же скоростью, с какой внезапно соткался из эфира на пути в аэропорт. Разве что коллеги, ставшие свидетелями неожиданного перформанса, были на некоторое время *duly impressed*.

Это я . . .

Стихи Ахмадулиной, особенно в ее исполнении, я любил смолodu (мы сверстники). Я слышал ее по радио, видел по телевизору и был на одном из ее выступлений (в Комаудитории старого МГУ, на Моховой), но знаком с ней не был. Хотя у нас, конечно, были общие приятели, включая одного моего многоречивого сокурсника (в дальнейшем видного политолога), утверждавшего, что в десятом классе у них был роман, а также одного зубного врача, тоже порядочного хвастуна. Личного знакомства с Ахмадулиной мне пришлось дожидаться до второй половины 80-х годов, когда она, вместе с мужем, Борисом Мессерером, одной из первых после прихода к власти Горбачева приехала в Америку и провела неделю в Лос-Анджелесе.

К этому времени ее облик, как литературный, так и физический, несколько поблек под действием Хроноса вообще и Бахуса в частности, но объектом восхищенного внимания, как литературоведческого, так и человеческого, она для меня оставалась.

Это было самое начало перестройки, в которую она, как, впрочем, и большинство эмигрантов, не желала верить, и я (вспоминаю это с гордостью) пытался защищать от нее Горбачева. Члены нашего небольшого интеллигентского кружка почти в одном и том же составе по очереди принимали ее у себя, так что я мог наблюдать ее довольно близко. А впереди ожидалось ее сольное выступление перед массовой русскоязычной аудиторией.

Первая встреча произошла в доме общей знакомой, у которой они с Борисом остановились. Это был то ли ранний ланч, то ли поздний завтрак, и Ахмадулина была уже слегка навеселе. Я отрекомендовался ее давним почитателем, преподающим в местном университете русскую литературу, то есть, подразумевалось, представителем ненавистной ей корпорации:

*[Я...] опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед [...]
жена литературоведа,
сама литературовед [...]
Ведь перед тем, как мною ведать,
Вам следует меня убить..*

Разговор зашел о появившемся накануне в лос-анджелесской «Панораме» целом подвале, специально присланном Аксеновым из Вашингтона. Газету принесли, Борис стал читать.

Статьи у меня нет под рукой. Помню, что в ней, среди прочего, рассказывалась легендарная исто-

рия с тувлей, которую на обеде в Тбилиси в честь делегации московских писателей Ахмадулина запустила в сказавшего какую-то совсем уж невыносимую советскую мерзость соотечественника (Фирсова?), когда увидела, что мужчины решили смолчать: грузины — из гостеприимства, собратья-москвичи — из осмотрительности. Особый шик аксеновского панегирика состоял в том, что он (не помню, целиком или только в кульминационном эпизоде) был написан ритмической прозой, вероятно, в контрапункт к известному ахмадулинскому фрагменту о встрече с Пастернаком, где в момент его появления — после строчки: *Норифмовать пред именем твоим?* — стих переходит в прозу.

Мессерер, однако, как ни в чем не бывало читал с обычной, монотонно-торопливой газетной интонацией, дескать, ну, ясное дело, хвалит тебя Вася, ну и что? Я вмешался:

— Вы не так читаете.

— Что значит не так? А как надо?

Я взял газету и стал читать, скандируя. Ахмадулина оживилась и сыграла роль вечно обижаемой:

— Вот, ты всегда все неправильно передаешь. Если бы не наш досточтимый гость, я бы и не узнала, что Вася мне стихи написау..

— Видите, Белла Ахатовна, — подал я приготовленную реплику, — и литературоведы на что-то годятся...

Через несколько дней принимать Ахмадулину была наша очередь. В какой-то момент я подsunул на подпись уже изрядно выпившей гостье экземп-

ляр ее «Снов о Грузии» (несколько скомканная дата под посвящением прочитывается как 19 марта 1987 года). А перед самым ее уходом осмелился, наконец, задать давно заготовленный провокационный вопрос.

— Как вы относитесь к Ходасевичу?

— Хорошо, хотя, наверно, не все знаю. А почему вы спрашиваете?

— А вот эти стихи вы знаете? — Я взял с полки и стал читать «Перед зеркалом»: *Я, я, я. Что за дикое слово!...*

Ахмадулина слушала внимательно, и, уж не знаю, вопреки ли или благодаря винным парам, эксперимент, поставленный по всем правилам полевой лингвистики, удался на славу. Без каких-либо уверток она сразу, самым трогательным и обезоруживающим образом, хотя и с искренним удивлением, приняла подразумевавшееся предположение о подтексте ее стихотворения «Это я...», написанного тем же размером.

— А что?! Знаете — может быть!..

На другой день было ее выступление, и так получилось, что ехала она в моей машине. Мы вспомнили ее вчерашнее признание, и я стал рассказывать ей, как впервые услышал «Это я...» году в 76-м, в Москве, по телевизору, когда передавался целый ее поэтический вечер. Я был один дома, «Это я...» (тогда еще не тронутое для меня влиянием Ходасевича) читалось, кажется, в самом конце и исторгло у меня слезы. Пришедшая вскоре Таня, обнаружив их следы на моих щеках, долго проха-

живалась на ту тему, что, вот, мол, оказывается, эта бездушная структуралистская личность может все-таки над чем-то плакать. Интересно, что через некоторое время телевизионный концерт был повторен, и те же стихи опять безотказно произвели свое слезоточивое действие.

Когда мы подъехали к огромному центру, снятому под концерт, вход осаждала толпа, спрашивавшая лишнего билетика, а внутри нарасхват раскупались сделанные какими-то предприимчивыми людьми ксерокопии десятка ахмадулинских стихотворений — под автограф.

В эффектном брючном костюме, на каблуках, подтянутая и очаровательная, Ахмадулина читала великолепно. Она начала с новых стихов, потом перешла к старым, которые аудитория знала. Я ждал, дойдет ли очередь до «Это я...», и внутренне любопытствовал, какое действие оно на меня окажет. Очередь, наконец, дошла, но, произнеся: *Это я — в два часа пополудни Повитухой добытый трофей...*, Ахмадулина запнулась, извинилась и начала с начала. Это повторилось и во второй раз, и лишь с третьего захода она прочла стихотворение до конца. Потому ли или по чему другому, но я прослушал его спокойно, не проронив ни слезинки.

На обратном пути она сказала:

— Я подумаю о вас и сбиуась.

Так литературоведение в моем лице вторично вторглось в ее творческую жизнь, на этот раз уже банальным — палаческим — образом.

Собственный Платонов

История получила неожиданное продолжение, когда вскоре в Лос-Анджелес приехал Юрий Нагибин, в свое время женатый на Ахмадулиной. По дороге на его выступление в нашем университете мы разговорились, и я рассказал ему историю с «Это я...». Он реагировал с неожиданной горячностью:

— Ходасевича Белла прочла в нашем доме! Раньше она его вообще не знала!

Про себя занеся это свидетельство в свои анналы, вслух я переменял тему. Впрочем, по сути она осталась той же, а вскоре вернулись и мотивы литературного дома и новооткрытого влияния запретных мастеров.

Я сказал Нагибину, что в связи с его приездом я перечел некоторые его вещи, в частности, давние, знакомые мне со студенческих лет, когда они были литературными новинками, и что впечатление оказалось во многом ностальгическим повторением старого, но в одном парадоксальном отношении новым. В его текстах 50-х годов я вдруг отчетливо почувствовал присутствие Платонова, в свое время незримое — ввиду тогдашнего моего незнания с первоисточником.

Нагибин охотно подтвердил мое наблюдение. Он сказал, что Платонов был кумиром его юности, причем кумиром, знакомым ему лично, поскольку часто бывал в гостях у его отчима — писателя Я. С. Рыкачева. Обнаружение платоновского

субстрата не только не задело Нагибина, но даже обрадовало.

Вообще, он показался мне широким человеком. Так, он сказал, что с удовольствием прочел «Палисандрию» Саши Соколова. Я спросил, готов ли он напечатать положительный отзыв о ней в эмигрантской «Панораме», и он согласился, хотя времена были еще довольно неопределенные.

В Лос-Анджелесе он гостил у Андрея Кончаловского, который пригласил его работать над сценарием планировавшегося фильма о Рахманинове. Но из этого проекта, кажется, ничего не вышло.

ПОСВЯЩАЕТСЯ С.

Профессор З. читал Борхеса. Он читал его в самолетной полудреме между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, и многообразная пограничность его состояний, надо полагать, была неслучайной. Не говоря о таких банальных двойственностях, как движение из точки А в точку Б, подвешенность между небом и землей и зыбкость переходов от сна к яви и обратно, усугубляемая чехардой часовых поясов, навсегда, казалось бы, остановившей время где-то посередине между полуднем и полуночью, сомнительным было все вообще.

Прежде всего, профессор З. не был настоящим профессором и лишь играл роль полного профессора славистики по принципу наименьшего сопротивления обстоятельствам, в которых оказался в эмиг-

рации. Не был он, собственно говоря, и профессором З.: этот инициал, используемый здесь для поддержания иллюзии художественного вымысла, был продуктом обратного перевода с языка новой родины на его родной, — еще одной защитной пленкой, или если угодно, тефлоновым покрытием, позволявшим сочетать эффекты присутствия и отсутствия. Так что кто читал Борхеса в панаме-риканских сумерках, оставалось под вопросом.

И что значит «читал»? Во-первых, уже сама форма этого глагола позволяет догадываться, что читал, но вряд ли дочитал. (Так оно, по сути, и было, хотя, с другой стороны, сколько требуется прочесть, чтобы оправдать употребление совершенного вида?) Тем более, что Борхес автор, как говорится, трудный. Превосходя по лаконизму рассказы Хемингуэя и Бабеля, по повествовательной и интеллектуальной насыщенности его тексты напоминают книги Пруста или сочинения современных пост-структуралистов. Дочитать короткий рассказ Борхеса не легче, чем отменно длинный модернистский роман. Профессор З. прочитал один рассказ целиком, в середине второго погрузился в дремоту, вынырнув из которой с ангельской кротостью начал третий, но тоже отложил. Впрочем, все три оставили одинаково сильное впечатление, освобождая от необходимости доканчивать и тем самым оспаривая самый принцип замыкания, столь дорогой структуралистам, к которым обычно причисляли и профессора З., и столь же ненавистный сменившим их разрушителям.

Поскольку речь упорно заходит о литературоведческих школах, уместным будет сказать, что профессор З. должен был отдавать себе отчет и в проблематичности самого понятия чтения. Согласно теоретикам читательской реакции, чтение наполовину состоит из сочинения, читатель становится как бы соавтором писателя, по-своему заполняя оставленные для него пустоты и истолковывая недоговоренности, — и только потому так охотно, хотя и на определенных договорных началах, отождествляет себя с текстом. Профессор З., еще недавно практически незнакомый с Борхесом, немедленно начал превращаться в него и в то же время наблюдать за этой метаморфозой. Право не столько читать Борхеса, сколько писать его, подтверждалось самим Борхесом, в одном из неоконченных (профессором З.) рассказов которого ставился вопрос, «не являются ли страстные поклонники Шекспира, посвящающие себя какой-нибудь одной шекспировской строчке, в буквальном смысле слова, Шекспиром?» Профессор З. с удовольствием присоединился к намечавшемуся триумвиату («Гомер, Мильтон и Паниковский — тоже мне теплая компания», предостерегающе прозвучало где-то на заднем плане, напомнив о той бездне относительности, которой окружены у Борхеса подобные абсолютные пики — ориентиры горного полета ангелов).

Действительно, как мог читать и писать Борхеса, а, значит, и быть им, какой-то лже-профессор псевдо-З., когда и сам без пяти минут нобелевс-

кий лауреат на вопрос, он ли является знаменитым Борхесом, отвечал «Иногда», и в каждом из трех полуосиленных профессором З. рассказов нашел повод подчеркнуть, что писавший их Борхес это не совсем тот Борхес, который в них фигурирует? Тут профессор З. вспомнил, что в свое время он видел настоящего живого Борхеса, когда тот выступал на набоковском симпозиуме, проходившем в университете, где, в свою очередь, в свое (собственное, с нашей точки зрения, плюсквамперфектное), время профессорствовал Набоков, а тогда, то есть, одновременно с симпозиумом, преподавал профессор З., в некотором роде играя таким образом роль квази-Набокова. Сенильный, полу-слепой, но сыпавший бодрыми парадоксами в ответ на вопросы из рекордно переполненного зала Борхес, был, разумеется, не только не тем Борхесом, которого теперь с таким запозданием пытался читать профессор З. (а тогда еще не читал вовсе), но, в сущности, и не тем, на которого рассчитывали организаторы симпозиума, ибо он то ли не читал, то ли делал вид, что не читал ни строчки Набокова, и уж во всяком случае ни разу о нем не обмолвился в своей двухчасовой беседе с аудиторией. С другой стороны, он в каком-то смысле, конечно, был Набоковым, отчасти потому, что многим походил на него и его книги, а главное, потому, что родился в 1899 году, том же, что и Набоков, что позволяло последнему с помощью относительно несложных (по понятиям, скажем, Пьера Безухова или Велимира Хлебникова)

арифметических выкладок отождествлять себя со своим великим предшественником, тоже не дожившим до получения Нобелевской премии. Кстати, этому предшественнику принадлежала известная мысль, что в свободное от творческой работы время писатель представляет собой совершенно другую личность, нежели в момент вдохновенного служения музам. Иными словами, как мог бы, вторя Борхесу, но с особым, ему одному присущим энергическим лаконизмом и какой-то суворовской, что ли, выправкой в голосе, выразиться любимый герой и alter ego писателя С., иногда!

Наглядной иллюстрацией этого принципа поэтической неопределенности как раз и служил профессору З. его частичный, а точнее, уменьшительный (и общий с великим предшественником) тезка писатель С., у которого он гостил незадолго до своего столь творческого полета из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Писатель С., часто признаваемый продолжателем, а иногда (!?) и — и абсолютно безосновательно — эпигоном Набокова (главным образом, потому, что за свой первый роман он удостоился предсмертного благословения мэтра), был одним из немногих доступных прямому наблюдению профессора объектов его исследований. Однако настойчивые попытки интервьюирования — у себя дома и у него в гостях, наедине и при посторонних, за столом, на лыжне, в сауне, где угодно — несомненно свидетельствовали, что допрашиваемый С., начисто отрицающий знакомство с многочисленными, по мысли профессора З., родствен-

ными писателю С. произведениями русской и мировой классики и то ли прикидывающийся в своем запирательстве этаким дурачком-второгодником, то ли уж и впрямь неспособный без бумажки связать двух слов о литературе, и загадочный С. — автор трех, наверное, самых красноречивых за всю историю отечественной словесности романов, никак не могли являться одним и тем же лицом, разве что очень и очень иногда.

Так или иначе, предупрежденный профессором З., что каждое его литературное показание может быть использовано против него, и потому (но не исключено, что при всем при том по всей правде) старательно открещивавшийся от связей с Набоковым, писатель С. неожиданно обронил имя Борхеса, с которым, как мы понимаем, а он вряд ли подозревал, его роднило общее у обоих незнакомство с Набоковым. Это было тем пикантнее, что Борхес, только что купленный, но еще ни в каком смысле не открытый профессором З., был у него с собой и, значит, незримо присутствовал при разговоре — на манер Григория Сковороды, завернутого в оренбургскую шаль (тогда еще тефлоново непроницаемым для пекла западной действительности, ибо героически державшимся национальных рамок) Лимоновым и в таком виде фланировавшего, внимая тому, что о нем говорилось, по на деле лишь предстоявшему им обоим, а пока что сугубо текстуальному Парижу. Покупка этой книги произошла при следующих обстоятельствах.

Оказавшись в Нью-Йорке и на литературном вечере увидав издали своего знаменитого соотечественника поэта Б. (тоже иногда служившего объектом его научных изысканий), профессор З. решил купить недавно вышедшую книгу эссе, написанных Б. прямо на языке «Ромео» и «Лолиты», но попытки найти ее в трех больших магазинах в центре Манхэттена не увенчались успехом. Профессора посылали из отдела в отдел — новинок, классики, беллетристики, биографий, документальной прозы — книги нигде не было. Продавцы разных оттенков кожи уверяли, что хорошо знают ее, и описывали ее то как солидный том в твердой обложке, то как пейпербэк большого формата, а один даже принес якобы искомый фолиант («Меньше нуля» какого-то, кажется, Эллиса), но книга оправдала свое название — ни одного экземпляра обнаружить не удалось. Зато по сходству фамилий, а значит, и по смежности на книжной полке, профессор З. наткнулся на Борхеса. Наткнулся, разумеется, по ошибке, ибо эссе поэта Б. следовало искать среди non-fiction, тогда как Борхес писал рассказы и соседствовать с Б. был никак не должен. Впрочем, всякий хоть немного знакомый с Борхесом (в частности, профессор З., каким мы застаем его над штатом Колорадо), согласится, что его тексты, выше для простоты именовавшиеся рассказами, а им самим определявшиеся как *ficciones*, образуют совершенно особый промежуточный жанр, и потому, скорее всего, не случайно попали в руки профессору З., раз уж ему

суждено было стать героем трактата о пограничных состояниях. Когда же писатель С. поделился с ним собственными планами работы в области короткой невымышленной прозы («Прозы», — переходя с единственного числа на множественное, подумал профессор З., — вот будущий эквивалент всех этих *ficciones* и *non-fictions*, дайте только прозе сделаться исчисляемым существительным, благо начало уже положено «Четвертой прозой»), профессор окончательно утвердился в намерении прочесть или хотя бы почитать Борхеса.

Именно это и происходило сейчас в утробе гигантской стальной птицы компании «Пэнэм», с той очевидной оговоркой, что к испаноязычному Борхесу профессор З. обращался по-английски, а мысленно протоколировал этот диалог на совершенно уже, так сказать, экзотическом языке родных осин. Правда, переводчик, некто Энтони Керриген, английские инициалы которого узнающе подмигивали готовившемуся принять его в круг соавторов профессору, заверял в своем предисловии, что его переводы представляют собой «complete versions» испанских оригиналов, однако профессор З. (несколько инкарнаций тому назад принадлежавший к далеким, казалось бы, от его теперешних кругам специалистов по машинному переводу, где паролем служило эзотерическое «Мы-то с вами знаем, что перевод невозможен») позволил себе усомниться в полноборхесности керригеновского извода. Впрочем, ничего порочного в замене неуловимого Борхеса, этой блуждающей точки,

целым кругом авторов, пожалуй, не было. Круг Бахтина, круг Борхеса... Между прочим, идея круга присутствовала и в состоявшем всего из двух слов, но мучительно непереводаемом заглавии рассказа, ставшего предметом особенно активного сотворчества со стороны профессора З. и в результате дочитанного им до конца. Прилагательное, взятое определением к игравшим в рассказе центральную роль циркоподобным развалинам, собирало воедино форму этих развалин, безвыходность логического круга, разрушительное кольцо огня, идеальную замкнутость и в то же время дурную бесконечность сделавшего полный оборот сюжета, а возможно даже и, так сказать, циркулярный характер сновидений. Профессор З. решил отложить работу над заголовком и углубился в текст.

Итак, несмотря на фундаментальную относительность всех компонентов предлагаемого утверждения, профессор З. читал рассказ Борхеса. Дело касалось персонажа, пытавшегося сознательно управлять своими сновидениями, с тем чтобы, скажем так, выгрезить реального человека и перевести его из царства снов в действительный мир. Своей сновидческой деятельностью герой занимался у руин древнего храма, имея в виду поддерживать таким образом традицию служения богу огня; для аналогичной роли предназначал он и своего вымышляемого наследника. После долгих молитв и трудов затея его, наконец, удалась, и новый человек, ступив в жизнь из головы своего создателя, отправился по месту службы к соответ-

ствующим круглым развалинам. Он обладал всеми атрибутами реальности, ибо, в конце концов, не созданы ли мы из того же вещества, что и наши сны? — и никто из людей, ни тем более он сам, не догадывался о его субстанциальной эфемерности, известной лишь его создателю-сновидцу и, разумеется, богу огня, по соглашению с которым все и было устроено.

Предпринятое здесь резюме борхесовской фикции начинает затягиваться, а по сути дела и вообще немислимо, не только из-за принципиальной, отмеченной еще Толстым, невозможности пересказать художественный текст, например, «Анну Каренину», своими словами, но и в силу характерной для Борхеса особо сгущенной лапидарности изложения, о которой уже упоминалось. К тому же мы не вправе упускать из поля зрения и профессора З., с тем большим интересом соучаствующего в вымыслах Борхеса и его персонажей, что он как раз возвращается с конференции, где выступил с докладом о литературных снах. Профессор З. удовлетворенно распознает нарочито смазанную Борхесом (или А.К.?) цитату из «Бури», независимо, но, увы, с безнадежным хронологическим отставанием использованную профессором в качестве эпиграфа к докладу, ненадолго останавливает заветный миг своего тождества с Шекспиром, Борхесом, а заодно уж и Гёте, и погружается в сладостную дрему.

Строго говоря, спать в самолетном кресле, даже с максимально откинутой спинкой, не осо-

бенно удобно. Если что и поднимает сон профессора З. над действительностью и укрепляет будоражащее и в то же время убаюкивающее сознание сюрреальности цитатных *correspondances*, то это подспудное ощущение дуальности самого этого сна. Профессору З. мнится, что все это «ужебыло», что он уже прошел через подобный полулежачий полет по полуночному (полуночному? полу-ночному?) небу, в котором собственные попытки заснуть перемежались с мыслями о снах, безуспешно заказываемых несчастным монархистом Ильфа и Петрова. Дело в том, что спальный вагон, в котором профессор З. планировал ностальгическое ночное путешествие по снежному Вермонту, попал в железнодорожную катастрофу и был отцеплен, вследствие чего разгневанному профессору пришлось удовлетвориться сидячим местом. Ему, конечно, была возмещена разница в стоимости билетов, вернее, обещано такое возмещение, ибо билет профессора был куплен не непосредственно у железнодорожной компании (в каком случае компенсация выплачивается незамедлительно), а через транспортное агентство, которое, между прочим, как отметил понимавший в этих делах кондуктор, выдало его на авиабилетном бланке. Это последнее замечание, в финансовом отношении абсолютно несущественное и сделанное кондуктором совершенно, что называется, в скобках, неожиданно возымело на профессора З. самое благотворное действие. Его гнев на железнодорожную компанию, со всем своим предположительно

хваленным американским сервисом обрекшую его на бессонную ночь в общем вагоне, мгновенно улетучился при мысли о всесиии Текста: произошло, в конце концов, не более и не менее, как овеществление метафоры, и билет на авиабланке властно воплотился в жизнь, правда, к сожалению, в смысле не столько способа передвижения, сколько, так сказать, способа неподвижности.

Таким образом, теперешнее самолетное полу-сидение-полулежание было как бы повторным просмотром недавнего поездного и, переплетаясь с ним, отменяло время, о чем, то есть, об отмене времени, в частности, путем перечитывания, шла, кстати, речь во второй из проз Борхеса, начатых профессором З. (той, где говорилось о тождественности любителя Шекспира самому Потрясающему Копьем; то есть, собственно, там-то говорилось попросту о тождестве с Шекспиром, но профессор счел возможным помыслить об этом несколько более старинным и возвышенным, а главное, более интертекстуальным способом, для чего и пригодилось нечто полузабытое из, похоже, Томаса Манна), и еще где-то у Набокова, если верить одному из нью-йоркских докладчиков. А такое упразднение времени, помимо очевидной общей привлекательности, было особенно в интересах профессора З., ибо полностью снимало сугубо хронологический вопрос о приоритете в области теории управляемых снов и ряде других областей.

Интересный в мемуарном плане, но несколько тревожный для профессора З. разговор о высшем

даре состоялся у него незадолго перед тем с его другом писателем С. Начался он по инициативе С., который заговорил о внутреннем переживании гениальности и различных сопутствующих проблемах, включая в круг их действия, как сам собой разумеющийся, и случай профессора З. Профессор, естественно, отклонил такое расширительное толкование термина. «То есть, напрямую спросил его С. — ты не считаешь себя гениальным?» — «Нет, — твердо отвечал профессор З., но тут же смягчился и добавил, — разве что речь идет о какой-то такой гениальности, что ли ...», — он не находил слов. «Посредственного типа?» — подхватил его собеседник, мгновенно продемонстрировав, что иногда все-таки бывает писателем С.

Писатель С. интересовал профессора З. как в человеческом, так и в литературном своем обличье, однако ничего существенного о его творчестве профессор З. пока что сказать не имел. Мелькнувшая было идея о зашифрованном в названиях его трех книг имени писателя, вполне в стиле многого слышанного на конференции, как-то не вытанцовывалась. Ну, хорошо, в первом слове названия первого романа полупрочитывалась, правда, не без некоторого усилия, фамилия автора; в заглавие второго были вынесены названия двух животных, то есть, собственно, одного и того же, взятого в диком и домашнем варианте, что позволяло протянуть аналогию к той хищной птице, от которой образована была опять-таки фамилия С. и которая (разумеется, птица, а не фамилия) в дав-

ние времена приручалась для охоты и тем самым имела и домашнюю ипостась; наконец, в имени заглавного героя третьего романа содержалась часть авторского имени (уже косвенно затронутого в нашем повествовании). Однако все эти соображения, как говорится в подобных случаях, требовали дальнейшей разработки и в настоящем виде никак не могли идти в сравнение с открытой великим структуралистом пушкинской триадой «Медный всадник» — «Каменный гость» — «Золотой петушок».

Профессор З. заскучал, с лунатической покорностью принял было из кирпично загорелых рук стюардессы бумажный стаканчик с кофе по-американски, но с полдороги вернул его, поерзал в кресле и осмотрелся. Его взгляд упал на газетные заголовки — новости были на удивление утешительные. В Саудовской Аравии расширялось применение технологии регенерации мусора, опухоли прямой кишки и предстательной железы президента обещали оказаться доброкачественными, в нобелевской речи д-ра Э. Диппа, еще на университетской скамье разрешившего загадку сфинктера, содержался призыв к сотрудничеству ученых разных поколений, а взрыв в редакции журнала «Собачья моды», ответственность за который приняла на себя организация защиты прав гомосексуалистов (в продиктованном по телефону заявлении приносившая извинения за «семантические проблемы», приведшие к акции), обошелся без человеческих жертв. Клоака реальности, кокетли-

во кутаясь в свой самый радужный наряд и даже заигрывая с первородством Слова, явно пыталась завлечь профессора в свое лоно, но вызвала противоположную реакцию. По роду своих занятий привыкший не щадить жизни ради звуков, а звуков ради их структурного анализа, профессор З. вспомнил, что был несколько озадачен тем предпочтением, которое, правда, на известных условиях, вроде бы отдавалось у Борхеса яви перед сном. Разумеется, это были пока что всего лишь, выражаясь красиво, домыслы в тупик поставленного грека — сфинкс борхесовской фикции не мог отдать своей разгадки до рокового момента истины, и все же профессор не рискнул бы, так сказать, поставить свой соавторский гонорар на ирреальность. В его памяти всплыли сетования писателя С. на поклонников (из числа интеллигентных посетителей зимнего курорта, где С. работал инструктором по бегу на лыжах — вослед Набокову, аналогичным образом промышлявшему некогда теннисом), которые от похвал его стилю быстро перешли к советам написать о жизни и судьбе эмиграции по рецепту недавно напумевшего диссидентского grossбуха о сталинских временах. «Я сказал им, что реальность меня не интересует», — уязвленно отчеканил С. Готовый к любому исходу борьбы между поэзией и правдой, былым и думами, жизнью и сном, а на худой конец согласный удовольствоваться чисто академическим урожаем цитат и структурных эффектов, профессор З. вернулся к Борхесу.

«Неплохие интертексты к хворобьевским снам по заказу», — подумал он, подчеркивая в тексте фразы, от попыток перевода которых на свой родной язык, не располагавший активным глаголом со значением «сниться», он вынужден был отказаться с порога: «He willed to dream a man. He wanted to dream him... and then impose him upon reality... The next night, he deliberately did not dream...» («Усилием воли он постарался увидеть во сне человека. Он хотел увидеть его во сне... а затем внедрить его в реальность... На следующую ночь он нарочно не видел снов...») Профессор отметил, что пока он спал, герой получил известие о том, что его сын, выходец из его снов, служение которого у дальних руин он постоянно пытался себе вообразить, иногда совершает чудо прохождения сквозь огонь. Тем самым бог огня напоминал отцу, что его сын — не более чем фантом, и герой молился о том, чтобы сын навсегда остался в неведении относительно поддельности своей генеалогии. В остальном герой чувствовал свою миссию на этом свете завершённой. Перелив всего себя в наследника, он готовился к концу, приближение которого вскоре дало о себе знать. Гигантский пожар вновь, как и столетия назад, охватил местность, кольцом окружил развалины алтаря и окутал сновидца, лаская, но не сжигая его. «С облегчением, унижением, ужасом он понял, что он тоже был не более, чем кажимостью, снящейся кому-то еще».

Профессор З., просмотревший во время подготовки к докладу целые гипнотеки снов, был вы-

нужден признать, что подобное не снилось никому из известных ему авторов. Были вещие сны, сны, переплетающиеся с явью, сны во сне, общие сны, сны выдуманные, сны по заказу и насильно навязанные, сны о человеке, видящем во сне смерть сновидца... Были, с другой стороны, сны-новеллы, сны-главы романов, сны, символизирующие творчество... Были, далее, дремотствующие персонажи, сквозившие в иной мир и потому не погибшие с разрушением театральных декораций реальности... Были боги, в полном вооружении возникающие из головы друг друга, и образы, порождающие другие образы, которые, в свою очередь, порождали следующие образы, и т. д., подобно фантастическим (особенно в ту пору, когда это походя вымышлялось в болтовне о предметах божественно комедийных) самолетам, на полном ходу конструирующим и выпускающим из себя все новые и новые машины... Были, наконец, несгораемые рукописи... Но такого, как в этом рассказе с недоработанным названием, не было. Чужих певцов блуждающие сны были пересказаны с точки зрения снов, а не певцов. Метафора литературного процесса как особого интертекстуального способа продолжения рода, одновременно и менее, и более реального, чем действительность, завораживала.

«Ай да Борхес, ай да сукин сын!» — скромно приснилось профессору З., как водится в таких случаях, в третьем лице. Рассказ летел, пользуясь выражением мастера, к концу, и пора было серь-

езно заняться заглавием. Чтобы начать с чего-нибудь попроще, профессор З. мысленно вывел посвящение — оно напрашивалось, ибо отправной точкой повествования, как и путешествия, был, конечно, образ писателя С., год назад опубликовавшего некую мнимо-документальную прозу, где в посвящении и в самом тексте обильно фигурировали аббревиатуры, в том числе и непристойно намекавшая на нашего профессора. Посвящение естественно исключало эпиграф и, значит, вплотную ставило вопрос о заголовке. «На полпути к Борхесу»? «Борхесандрия»? «Борхес в стакане воды»? «Приглашение на Борхеса»? «Это З. — Борхес»? «Полеты с Борхесом»? «Руины забвения»? «Меньше, чем сон»? «Имя эха»? «С./З.»?

Что-то во всем этом было и в то же время не клеилось, подобно недоброй памяти чисто умозрительному обмозговыванию заглавий писателя С. Профессор помнил о предостережении поэта против головизны вымыслов, но рассудил, что теперь идет другая драма, и что только на такие церебральные вокабулы ему и остается рассчитывать в его витийственных попытках приблизиться к изголовью Борхеса и вторгнуться в область его видений и снов. Эта мысль вновь разожгла интерес профессора З., голова его запылала, пальцы потянулись к перу и бумаге, и ясно продиктованное заглавие легло на страницу. Профессор замер, боясь нарушить очарование этой минуты. «Иногда», — подумалось ему, но что именно иногда он так и не узнал, ибо язык неизвестно откуда

взявшегося пламени мгновенно слизнул рукопись вместе с заголовком, оставив лишь немного пепла и легкую струйку дыма.

От неожиданности и унижения профессор З. проснулся. День тоже догорал. По все еще наполовину ночному небу стальной сокол, несший в своем чреве безжалостно возвращенного к скучным звукам земли профессора З., кругами снижался над Городом Ангелов.

Можем уронить

На самой заре перестройки в Америку приехал известный поэт-переводчик З. Тщательно разработанный маршрут постоев у знакомых-эмигрантов должен был своим чередом привести его в Лос-Анджелес, но он внезапно переменял рейс, сообщил об этом своим сантамоникским хозяевам в последний момент, и они не могли его встретить. Они попросили меня съездить за ним в аэропорт и «поддержать» его у нас с Ольгой до вечера.

В аэропорту я легко выделил его из толпы не советских пассажиров и вскоре понял, с каким человеком имею дело.

— Я вас не знаю. Почему не приехали такие-то? Они обещали меня встретить!

— Они ждали вас вечером...

— Я решил прилететь поскорее. В Чикаго холодно. Как вы меня узнали? По фотографии в книгах?

— Нет, но у нас есть свои методы...

По дороге я изложил ему план действий: он побудет у нас, поест; мы, к сожалению, должны сделать кое-какие дела, но он может отдохнуть на веранде или погулять вдоль океана; а вечером, когда его знакомые вернутся с работы, мы как раз поедem на некий вечерний семинар и по дороге забросим его к ним. Но столь скромный церемониал приема не удовлетворил З., который требовал поминутного внимания.

Он начал с того, что придрался к поданной еде — его жена готовит иначе, лучше. Он не отпустил Ольгу готовиться к предстоящему докладу — неужели ей не интереснее с ним? Он стал проситься на семинар — все-таки, он имеет некоторое отношение к русской литературе?! Он требовал звонить к его знакомым на работу, чтобы поторопить их... Я, как мог, парировал его претензии.

— Нет, — сказал он обиженным тоном. — Я вижу, меня здесь плохо принимают. А ведь я могу в любой момент улететь в Сан-Франциско, где друзья будут носить меня на руках.

Мое терпение начало иссякать.

— Вы знаете, — я назвал его по имени отчеству, — мы тоже посильно стараемся вас качать, но если вы будете брыкаться, можем нечаянно уронить.

Не помню в точности, что он ответил, но предупреждения он явно не услышал. Между тем, я решил, что оно будет последним.

Поскольку Ольга, извинившись, все-таки ушла готовиться, он вцепился в меня.

— А вы чем занимаетесь?

— Преподаю русскую литературу в университете.

— И поэзию тоже?

— Случается.

— Ну, а вот такие стихи вы знаете?

Захлебываясь, он прочел несколько строф.

— Не знаю.

— Как же так, профессор русской литературы, специалист, а стихов не знаете?

Не брыкаться он просто не мог. Это становилось забавно.

— Ну, у вас несколько наивные представления о нашей профессии. Специалист не может, да и не стремится, знать всего написанного. Но он, разумеется, должен уметь разобраться в любом предложенном ему тексте, даже если не знает его наперед, — датировать его, атрибутировать и т. д.

— И что же вы, как специалист, можете сказать об услышанном стихотворении?

Драма неотвратимо близилась к развязке, и тем приятнее было растянуть удовольствие.

— Прочтите, если не трудно, еще раз.

Он не заставил себя просить — стихи ему явно нравились.

— Что же скажет специалист?

— Ну, что можно сказать? Стихи в гражданском, оттепельном духе, грамотные, прогрессивные, но вполне стандартные; написаны где-то между 57-м и 63-м годом. Размер и рифмовка традиционные.

Что касается авторства, то однозначная атрибуция невозможна, ввиду неоригинальности стиля. Это, конечно, могли бы быть какие-нибудь из менее удачных стихов К., но его я знаю довольно хорошо, это не его. Значит, так. Если мы согласимся, что К. — поэт второго ряда, то это стихи третьестепенного поэта — эпигона К., типичные для рубежа 60-х годов, незнакомство с которыми простиительно.

К его чести, до него дошло. Остаток дня он был молчалив, а назавтра даже извинился перед Ольгой.

Пригов и авокадо

Когда рухнул железный занавес и бывшие подпольные литераторы стали ездить на Запад, на нашем горизонте появился Пригов. В Лос-Анджелесе он остановился у нас, и в первое же утро мы решили поразить его одним из чудес американской природы. На стол, среди прочего, мы подали авокадо.

— Дмитрий Александрович, Вы наверно не знаете, что это?

— Вот это... такое... генитальное?..

— Если вам угодно так выразиться. Это плод авокадо.

— Авокадо? Какое интересное название! Откуда оно?

— Честно говоря, сам не знаю. Посмотрим в словарь.

Я открыл недавно вышедший огромный «Random House Dictionary», в котором было даже слово *glasnost*, и прочел там примерно следующее:

«*Avocado* — от испанского *abogado*, «адвокат», искаженного контаминацией с мексиканско-испанским *aguacate*, в свою очередь, восходящим к *ahuacatl*, что на языке индейцев Nahuatl означает «авокадо», а также «testiculum»».

Почти матерное *crescendo*: *абогато* – *агуакате* – *ахуакатль* – *нахуатль*, разрешившееся мужским яйцом, неоспоримо свидетельствовало, что холодный концептуалист Дмитрий Александрович Пригов отнюдь не чужд «живейшему принятию впечатлений и быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных», как Пушкин определял вдохновение.

Честняга

Вслед за Приговым в наших краях стали появляться и другие российские постмодернисты, в том числе Евгений Попов. Он оказался милейшим человеком, с которым я вскоре перешел на «ты» и, вопреки обычаю, был готов проводить сколько угодно времени.

Остановился он у Виталика Гринберга, который им и занимался — кормил, поил, возил по гостям. Я ограничился устройством выступления

Попова на нашей кафедре, где он за умеренную плату очень живо рассказал историю «Метрополя», своего и Виктора Ерофеева исключения из Союза писателей и недавнего поспешного восстановления в нем. Его постмодернизм сказался и тут — в том свойском, почти циничном и уж во всяком случае без претензий на героизм тоне, которым он в лицах представил эту эпопею.

Визит Попова пришелся на семестр, когда в другой лос-анджелесский университет (UCLA) приехал преподавать мой старый друг и соавтор Игорь Мельчук. Он был с женой (Л. Н. Иорданской), и мы виделись почти ежедневно, обычно по вечерам, во время прогулок в горах, которые оглашали своими спорами. Наблюдаемый после долгого перерыва вблизи, Игорь поражал своей идеологической узостью еще больше. Загадочный эффект, как и прежде, состоял в контрасте между обаянием его благородной личности и отталкивающим фанатизмом его дискурса.

Анафемой для него были мои новые литературоведческие взгляды, литературоведение вообще и все гуманитарные науки в целом. Его раздражали мои похвалы Бахтину, а заодно и Достоевскому. «Записки из подполья», которых мы, учась в школе в сталинские времена, не проходили и которые я стал ему рекомендовать, он читать отказался. Тогда я подсунул ему лишь недавно открытую мной «Этику нигилизма» С. Л. Франка, сказав, что это обо всех нас, в частности — о нем. Он прочел, плевался, но на свой счет не принял. Гумани-

тарной болтовне он, как и встарь, ставил в пример точные науки. Несмотря на эти потоки негативизма, общение с ним было удовольствием. Старый друг лучше новых двух.

Мне, естественно, захотелось устроить встречу Мельчука и Попова. Оказалось, что Игорь и Лида читали Попова и рады были бы с ним познакомиться. Тем более, кроме литературных и расхваленных мной человеческих достоинств, в пользу Попова говорило его диссидентское прошлое. И вот однажды вечером мы с Виталиком и Женей заехали к Мельчукам. За вином, тортом и чаем беседа пошла о том, о сем, о перестройке, литературе, любимых писателях. Я опять (как двадцатью годами раньше, когда у меня дома Мельчук случайно встретился с Аксеновым) с удивлением отметил, что Игорь способен поносить Достоевского, но при встрече с живым писателем обнаруживает мальчишескую робость.

Своим чередом разговор добрался до одного из литературных кумиров Мельчука, да и всего нашего поколения. Оказалось, что Попов с ним знаком. Игорь принялся о нем расспрашивать, и на моих глазах его благоговейный тон стал сменяться прокурорским. К сожалению, я не помню, какое именно обвинение, из ряда возможных, было предъявлено нашему кумиру (ныне покойному). Какой-то случай, когда тот то ли не поддержал какого-то оппозиционного начинания, то ли сдал какую-то сначала занятую диссидентскую позицию, то ли официально отмежевался от какой-то

своей зарубежной публикации, а, может быть, даже и слегка отрекся от кого-то из товарищей по оружию.

Разговор начал принимать неприятный оборот. Игорь стал с почти одинаковой неистовостью наседать на обоих — отсутствующего кумира и присутствующего Попова. С первого он строго спрашивал за его моральную нестойкость, со второго не менее строго требовал объяснений за первого.

— Как он мог? Как вы это объясняете? Что же, значит, и он тоже сукин сын?!..

Попов с присущими ему мягкостью и заиканием пытался отвести от себя ответственность, говоря, что поведение другого человека — его собственное дело. Но Игорь, забуксовав в своей бескомпромиссной колее, распалялся все больше, распалялся и одновременно расстраивался — за кумира, за Попова, за себя самого...

Неловкость была как-то замята, и расстались они мирно. Когда мы вышли к машине, я стал лепетать извинения. Но Попов и не чувствовал себя задетым. Он лишь добросовестно пытался осмыслить полученное впечатление:

— Подумать, что человек перенесся сюда, в современный Лос-Анджелес, совершенно нетронутым прямо из шестидесятых годов, в штормовке, палатке и с комсомольскими идеалами! Этаким честняга!..

Выражение «Честняга!», употребленное по сходному поводу, я потом встретил у кого-то из классиков, кажется, у Лескова или Достоевского.

К своему сугубому стыду, я не записал, у кого, и теперь не помню.

Все на выборы

Хотя в идейном плане советский диссидент по-солженицынски тяготеет к правому краю американского политического спектра, ввиду обломовского склада своей натуры он не склонен голосовать вообще. А при соответствующем стечении обстоятельств в нем может проснуться и подпольный человек Достоевского.

Когда Рейгана выбирали в первый раз (1980 г.), я еще не был американским гражданином, и вопрос о выборах носил для меня чисто академический характер. Помню, однако, тогдашний разговор с одним из моих первых американских менторов Джорджем Гибианом. Джордж, чешский эмигрант образца 1938 года, успел в составе американской армии освободить Чехословакию, а теперь уже много лет заведовал корнелльской кафедрой русской литературы. Давно оставив первую жену, он жил с более молодой и очень активной коллегой.

— Мне придется вместе с Карен голосовать за Картера, — сказал он с извиняющейся улыбкой. — Но я надеюсь, что выберут Рейгана.

Так и случилось. А когда через четыре года Рейгана выбирали на второй срок, я уже смог отдать ему свой голос. Чувство исполненного долга смазывалось, однако, тем, что Ольга, с которой мы

пошли голосовать, была, как и большинство университетских коллег, сторонницей демократов, и наши голоса взаимно уничтожились, так что с тем же успехом мы могли остаться дома. Все же меня еще долго согревала мысль, что я повел себя принципиальнее Джорджа и внес посильный вклад в разрушение «империи зла».

Следующие президентские выборы (1988 г.) мы с Ольгой по указанным арифметическим соображениям благополучно пропустили, а в 1990-м у меня был саббатикал. Я проводил его на стипендии в Национальном Центре гуманитарных исследований в Северной Каролине и потому чувствовал себя свободным от голосования — тем более, что выборы были не президентские, а парламентские и местные.

Квартиру я снимал в городке Чэпел Хилл, у супружеской пары, из года в год сдававшей ее стипендиатам Центра. Хозяйку звали Мэрилин. Это была седеющая, но моложавая и общительная дама, работавшая в администрации Дюкского университета. Ее муж владел небольшим транспортным агентством, а также возглавлял местное филармоническое общество, но в быту был человеком незаметным. Отношения у нас сложились легкие, ненавязчивые, и все шло гладко, пока на горизонте не замаячили выборы.

В тот год прогрессивная общественность Северной Каролины решила вытряхнуть матерого реакционера Джесси Хелмса из его сенатского кресла, начинавшего казаться пожизненным. В

противовес ему демократы выдвинули интеллигентного молодого негра, по фамилии, кажется, Гэнн. Полагая себя совершенно непричастным к избирательной кампании, я следил за ней вполуха — исключительно по радио в машине. Однако как-то раз Мэрилин, встреченная около дома, заговорила о том, что и мне следует включиться в священное дело борьбы против Хелмса, и пустила в ход модную в тот год формулу: «Shit happens, but is it art?» («Дерьмо случается, но искусство ли это?»). На мои слова, что меня как калифорнийца это не касается, она отвечала, что это касается всех, что открепиться от Калифорнии и зарегистрироваться для голосования в их штате дело двух минут, и она завтра же отведет меня к соседке, занимающейся предвыборной регистрацией. В ее речи не было ни малейшего перерыва, просвета, зазора — допущения, что я могу держаться каких-то иных воззрений или намерений, например, не голосовать вовсе. И хотя я всего лишь вежливо кивал, получилось, что я как бы согласился.

Разумеется, ни к какой соседке я назавтра не пошел, но мои надежды по-русийски замотать это дело оказались напрасными. Мэрилин в конце концов заставила меня посетить знакомую активистку, и я был внесен в список избирателей. Свобода моя была таким образом несколько урезана, но решающая ее часть оставалась все же при мне — я мог попросту не пойти голосовать.

В день выборов, возвращаясь на машине из Центра, я оказался около клуба при церкви, пре-

вращенного в избирательный участок, и неожиданно для себя завернул туда. Почему? Я представил себе, как я подъезжаю к дому и Мэрилин спрашивает, проголосовал ли я, и я либо честно говорю: «Нет», и тогда она предлагает отправиться вместе, либо говорю: «Да», и, значит, вру, как если бы все еще жил в Советском Союзе. Причем, в точности, как там, агитаторшу интересует именно проголосовал ли я, а не за кого я отдал свой голос, — подобный вопрос ей не приходит в голову. Это решило дело. Получив бюллетени (кажется, их было два — один по выборам в конгресс, другой местный), я хотел было из республиканцев проголосовать за одного только Хелмса, а в остальном поддержать демократов (предпочтительных в том, что касается местного самоуправления), но потом махнул рукой, назло Мэрилин вычеркнул их всех и испытал чувство глубокого удовлетворения.

Мэрилин действительно спросила меня, проголосовал ли я, и я с чистой совестью сказал, что да; дальнейших вопросов не последовало.

Не рассказал я о своем гражданском подвиге и вскоре приехавшей навестить меня Ольге. Это меня немного смущало, несмотря на мысленное оправдание, что у нас с ней и без того проблем хватает. По крайней мере, говорил я себе, я оказался свободнее Джорджа, да и голосование-то, в конце концов, тайное.

В тот раз Джесси Хелмс прошел в сенат небольшим числом голосов. Побеждал он — уже без моей

помощи — и на последующих выборах и некоторое время в составе республиканского большинства возглавлял сенатскую комиссию по иностранным делам. Когда я вижу его на экране, я исполняюсь законной гордости. Не то чтобы он мне нравился, но это один из тех случаев, где я, как говорится, *made a difference* («сыграл роль», *букв.* «сделал разницу»). Ну, и каприз свой оказал.

ТАМИТУТ

Цыганская виньетка

(И. П. Смирнову к 60-летию)

*Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...
С детства памятный напев,
Старый друг мой – ты ли?*

(Ап. Григорьев, «Цыганская венгерка»)

*— Василий Иванович, ты польку можешь?
— Могу. — А венгерку? — Могу. — А летку-
енку? — Не, Петька, двух сразу не могу.*

(Анекдот)

Фильм «Чапаев» я любил всегда. Не помню, впрочем, с детства ли (возможно, мама умело изолировала меня от него), но в эстетически сознательном возрасте, уже из рук Эйзенштейна, я смотрел его неоднократно, забредая на специальные утренние сеансы, где чувствовал себя белой вороной среди шумного мальчишеского табора. Это было задолго до анекдотов о Василии Ивановиче — в окружении их будущих сочинителей.

Новая встреча с «Чапаевым» произошла уже в Калифорнии, в USC, когда по очередному творческому наитию нашей завкафедрой Ольги Матич (теперь она в Беркли) был организован совместный с Cinema School курс ранней истории русского кино. Вел его уникальный знаток и коллекцио-

нер мировой кинематографии Дэвид Шепард (так и не озаботившийся защитить диссертацию и потому в дальнейшем вынужденный покинуть USC), я же был откомандирован поставлять информацию о литературных источниках фильмов и их российском контексте. Слушали нас человек двадцать аспирантов-киношников, очень сильная группа.

Я, конечно, всячески подчеркивал свою киноведческую приبلудность и лоббировал приглашение в USC Цивьяна, к чему после перестройки дело и пришло — Юра потом много лет наезжал к нам из Риги на один семестр в год, пока не перебрался в Чикаго. Но речь идет о первой половине 80-х, поре глухой эмиграции.

Готовясь к занятиям, я сначала просматривал каждый фильм в учебном кабинете на малюсеньком аппарате типа телевизора; потом мы с Дэвидом смотрели вместе, на подвесном экране в просмотровой комнате, и намечали, кто что о чем скажет; и наконец, на самом занятии фильм показывался в огромном кинозале. После просмотра мы выступали с краткими пояснениями.

Одной из кульминаций «Чапаева» является томительная пауза, выдерживаемая режиссерами и Анкой перед тем, как она откроет, наконец, пулеметную стрельбу по каппелевцам. Я это помнил и с исследовательским интересом готовился за протоколировать свою реакцию, первую после долгого кочевого перерыва.

Профессиональный расчет режиссеров опять сработал безупречно: я трижды испытал нараста-

ющее волнение, радостное облегчение, подкатывание слез к горлу и наворачивание на глаза. Не помешали ни миниатюрность экрана в первый раз, ни рабочая атмосфера во второй, ни неизбежная, казалось бы, скука третьего просмотра.

Отчетом о проведенном интроспективном наблюдении я украсил свой лекторский комментарий. «И это при том, — закончил я, — что я люблю скорее белых, чем красных».

... То есть, как бы двух сразу, Игорь. Работа у нас такая.

Поэзия и правда

В год 100-летия Пастернака и день 30-летия его смерти, я оказался в Москве и присутствовал при открытии мемориальной доски на доме, где он родился, — около площади Маяковского. Перед домом собралась небольшая интеллигентная толпа, человек сто; с импровизированной трибуны выступали представляемые Андреем Вознесенским поэты и культурные деятели, среди которых помню Зиновия Гердта. Все они говорили о том, как много значила для них поэзия Пастернака, все читали наизусть его стихи, свои самые любимые, и все рано или поздно перевирали текст. Это становилось интересным, потому что с каждым новым оратором возрастала вероятность исключения, но исключений все не было.

Кульминация наступила, когда знаменитый, ранее самиздатовский, поэт Р., примерно моих лет

и мне лично знакомый, стал читать «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...». Он читал своим низким, громким, мрачно монотонным, почти угрожающим — «пиитическим» — голосом, и я, забыв о своей издевательски-экзаaminаторской роли (уж у него-то я не мог рассчитывать на ошибку), задумался о давно занимавшем меня противоречии между бравурной мужественностью пастернаковского стиха и его гораздо более двусмысленной, женственной, что ли, подоплекой. Сам я тоже декламировал его в тяжелоозвонком ключе, пока не услышал поразившую меня запись его собственного чтения «Ночи» («Идет без проволочек...») — на высоком, неуверенном, слегка капризном, как бы гомосексуальном распеве.

Между тем, Р., продолжая гудеть в своей чеканно-вызывающей — хочется сказать, маяковской, но, пожалуй, более ровной, ибо неоклассической, петербургской, скорее, гумилевской — манере, приближался к концу и тут, дойдя, так сказать, до «пузырей земли», сделал мне бесценный подарок. *Звезды медленно горлом текут в пищевод...*, — по-пруски печатая шаг, промаршировал он по потрясающей именно своим ритмическим сбоем строчке, где вместо регулярного *медленно* у Пастернака проходит синкопированное, хромающее на недостающий слог *долго...*

Такое смазывание тонкостей оригинала показательно, ибо, возвращая структуру назад к ее преодоленным банальным источникам, наглядно демонстрирует, в чем именно состоял острабяющий

творческий ход. Помню, как в занятиях Окуджавой мне помогало различие между причудливой мягкостью его собственного исполнения и той то по-туристски бодрой, то по-солдатски обреченной, но неизменно ровной, дисциплинированной, кованной маршеобразности, с которой его пели — хором, в ногу — мои друзья диссиденты-походники. *Вы слышите, грохочут сапоги...* пелось, шагалось и судилось с точки зрения сапог, хотя, видит Бог, вся соль Окуджавы именно в христианизирующей смене военно-патриотической героики тихой любовью, грохочущих сапог — старым пиджаком.

Непростительно это, конечно, только профессионалам — поэтам, литературоведам, переводчикам. Потому что массовое потребление всегда склонно стащить новое, да и вообще особенное, с его котурнов и вернуть в общую колею. Сплошь и рядом это происходит при переводе на иностранные языки. Подбирая переводы цитат из русских классиков для своей англоязычной книги, я был поражен, сколь редко тот эффект, ради которого привлекалась цитата, наличествовал в переводе. Получалось, что в отношении стиля зарубежный читатель имеет дело, как правило, не с Лермонтовым, Гоголем и Чеховым, а, так сказать, с Марлинским, Одоевским и Потапенко.

В «Поэзии и правде» Гёте посвящает несколько горьких страниц тому, как успех «Вертера» был отравлен для него настоя-

тельным желанием восхищенных друзей, знакомых и широкой публики допытаться, «как же все обстояло в действительности? Я злился и по большей части давал весьма неучтивые ответы. Ведь для того, чтобы удовлетворить их любопытство, я бы должен был растерзать свое творенье, над которым я столько времени размышлял, стремясь придать поэтическое единство разноречивым его элементам [...] Впрочем, если вдуматься хорошенько, публике нельзя было ставить в вину это требование [...] Если я, преобразовав действительность в поэзию, отныне чувствовал себя свободным и просветленным, то мои друзья, напротив, ошибочно полагали, что следует поэзию преобразовать в действительность, разыграть такой роман в жизни и, пожалуй, еще и застрелиться». (Книга 13-я)

Эти страницы запомнились мне не только потому, что так задолго предвосхитили русских формалистов. Был у меня и самолюбивый личный интерес. Однажды мне тоже довелось подвергнуться расспросам (разумеется, не столь массивным) о том, кто есть кто в моих рассказах и как там было на самом деле. Это было очень обидно — мне явно отказывали в претензии на искусство, а никаким таким особым успехом я прикрыться не мог. Слабое утешение пришло лишь, когда перечитывая Гёте, я понял, что и успех ничего не гарантирует. Ни успех, ни авторитет, ни столетняя годовщина

и мемориальная доска, — против нивелирующего лома нет приема.

Хотя, вроде бы, раз уж «Вертер» написан, неплохо бы научиться его читать.

Ординарный профессор

Году в 1991-м в Москве проходил один из семинаров совместной российско-американской группы по изучению советской культуры. Тогда такие контакты были сравнительно внове, и семинар собрал сильных докладчиков и активную молодую аудиторию. Там я познакомился с совсем еще молодым, только-только из провинции Курицыным и некоторыми другими будущими знаменитостями. Но больше всего мне запомнились выступления одного коллеги из эмигрантов. Он высказывался очень часто, каждый раз начиная свою речь приблизительно так:

— Возьмем простой житейский пример. Вот, например, я, ординарный профессор N-ского университета, хочу...

Случаи приводились действительно обыденные — с покупкой продуктов, посещением библиотеки, заказом билетов и т. п., но над ними, как стяг, реяло имя престижного американского университета.

Университета и коллеги не называю — *nomina sunt odiosa*. В глоссе нуждается, боюсь, слово «ординарный». Так в дореволюционной номенклатуре именовался штатный профессор, т. е., по-тепе-

решному, полный, постоянный, *tenured*; экстраординарным же назывался, наоборот, внештатный.

«С Гомером долго ты беседовал один...»

Изучая, в ходе работы над книгой о Бабеле, бабелеведческую литературу, особенно высоко я оценил двадцатилетней давности книгу Джеймса Фейлена (*Falen*). При этом я обратил внимание, что за полтора десятка лет жизни в Америке и исправного посещения конференций мне ни разу не пришлось столкнуться с ним лично.

Наша с Ямпольским книжка вышла осенью 1994 года, и я захватил несколько экземпляров на славистическую конференцию, проходившую в Сан-Диего (благо, недалеко) в самом конце года. Один я подарил Наталии Первухиной, с которой там познакомился. Разговорившись с ней, я узнал, что она работает на одной кафедре с Фейленом.

— О, это автор самой лучшей книги о Бабеле, — восторженно воскликнул я. — И, надо же, я никогда его не видел. Он что, на конференции не ездит?

— Почему? Он здесь.

— Но его нет в программе!

— Он приехал без доклада — мы целыми днями интервьюируем кандидатов на работу.

— Познакомьте меня.

— Обещать не могу. Он ни с кем не общается.

— Скажите ему, что я его прекрасно понимаю — у меня даже был такой соавтор (Юра Щеглов).

Много времени я у него не отниму. Мне бы только пожать его руку и преподнести книгу.

— Я передам, но, честно говоря, не знаю.

На другой день, в условленное время Наташа появилась в условленном месте с ожидаемым ответом.

— Ну, что?

— Знакомиться он не будет, но книгу примет.

— Нет уж, книгу он купит...

Кажется, он воздержался и от этого, но по Наташиному экземпляру с книгой ознакомился и в дальнейшем вернул комплимент, передав, что ставит ее выше всего написанного о Бабеле.

А еще через пару лет вышел его английский перевод «Евгения Онегина», который, по мнению большинства рецензентов, превзошел все предыдущие (их около десятка).

Name dropping

Как-то потребовалось объяснить смысл этого отсутствующего в русском языке оборота. В качестве хрестоматийного примера я привел стилистику недавно (в 1995 г.) опубликованных мемуаров. Собеседник попросил меня быть конкретнее. Тогда я вспомнил фразу из этих воспоминаний, являющую поистине квинтэссенцию щеголяния короткостью с великими: «Когда ехали по шоссе хоронить Ахматову, Бродский показал мне место, где погребен Зощенко». Текст эталонный, небываемый. Тут ни убавить, ни прибавить, все мес-

та заняты кем надо, и даже заранее — Бродский был еще жив.

Казалось бы, такую несложную вещь, как сведения о могиле Зоценко, можно доверить и шоферу, — у Пушкина ямщик просто указал бы кнутом на восток, но, как говорится, ноблесс оближ. Правда, питерские знакомые говорят мне, что Зоценко лежит не по дороге к Ахматовой, но ради такого дела и десять верст не крюк. Хоронить, так с музыкой!

Хум хау

Все зависит от точки зрения.

В «Лос-Анджелес Таймс» недавно был забавный обмен репликами. По поводу материала о владельце петуха, будившего соседей, одна читательница пишет, что она спит как раз крепко и, будучи глуховата, даже не реагирует на будильник. Поэтому она спрашивает, где можно купить петуха. Дамочка избирает роль мучителя столь невинным образом, что закрадывается сомнение в подлинности сюжета: очень уж ловко моральная глухота корреспондентки мотивирована физической. Вспоминается ворошиловский стрелок, недоумевавший на Пушкинской площади, почему памятник поставлен не тому, который попал.

Подоплека подобных ракурсов может быть самая серьезная. У Окуджавы есть стихотворение «Храмули», про «серую рыбку с белым брюшком». Сначала она изображается «счастливой подков-

кой», которая «шевелится... в движении чистой струи», но в конце концов ее съедают. Вот как это подано:

*Представьте, она понимает призывъ свое/
.../ ей клятвы смешны,/ с позолотую вилки
смешны,/ ей теплые пальцы и тихие губы нуж-
ны,/ ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,/
как будто беседуют с ней о спасенье души.*

Рыбке вменяется полное понимание ее ритуальной роли в «нашем» спасении.

В рамках христоподобной трактовки Пушкина Дантес играет ту же роль, что Иуда в евангельской истории по Леониду Андрееву. Призвание Пушкина/Иисуса — быть принесенным в жертву, а Дантеса/Иуды — ему это устроить. «Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец, и раздробил бедро, и обеспечил бессмертие!..»

Христос, кстати, не всегда выступает в страдательной роли. Разъясняя американским первокурсникам заглавие «Бесов», я начинаю с пересказа его евангельского источника:

«[В]стретил Его человек, одержимый бесами... и в одежду не одевавшийся... [М]ного бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось... стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы... вошли в свиней; и бросилось стадо с кру-

тизны в озеро и потонуло... Пастухи... нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме» (Лук. 8: 27-36).

Тут все хорошо — и забота о пациенте, вплоть до его туалета, и доброжелательность к бесам, хотя не совсем ясна разница между непосредственным низвержением в бездну и отправкой туда в свином обличии. Беспокойство в американской аудитории вызывает неспровоцированная жестокость по отношению к свиньям. Отвечать приходится в том смысле, что, согласно иудаизму (а Иисус, напоминая я, был иудеем, «время было такое»), свиньи — твари некошерные, так что туда им и дорога. Тем более, Иисус лишь идет навстречу пожеланиям бесов. Еще лучше было бы, конечно, если бы просьба исходила от свиней...

Американцам с детства прививается априорная любовь ко всему живому, в том числе к вредителям, даже крысам; исключение составляют тараканы и киношные злодеи, the bad guys. Сознание неприкосновенности животных сочетается с неосведомленностью о Библии — ввиду тщательного отделения церкви от государства и, значит, от школьного образования. Нести слово Господне в класс выпадает мне, советскому иммигранту, атеисту и выходцу из на редкость жестокой культурной среды.

Жестокостью была пропитана вся советская культура, включая нон- и полу-конформистскую,

например, любимые мной кинематограф Эйзенштейна и дискурс структурной лингвистики. Я осознал это не сразу, ибо горячо разделял экзистенциальный пафос структурализма — желание именем Науки жестко перечеркнуть пошлости официального гуманизма. В обстановке противостояния трудно было отдать себе отчет в глубинном сходстве структуралистской «железности» с марксистско-ленинской. Вообще, семена жестокости легко перелетали с одного цветка на другой.

Среди культовых текстов послесталинской эпохи был французский фильм «Фанфан-Тюльпан», с Жераром Филиппом и Джиной Лоллобриджидой (1952; к нам он дошел несколько позже). В одной особенно запомнившейся сцене

Фанфан-Тюльпан с приятелем пробираются в королевский дворец и оказываются под столом, на котором главнокомандующий разворачивает перед Людовиком XV план сражения:

«Ваше Величество, правый фланг я расположил на левом фланге». — «Понятно. А... левый фланг — на правом?» — «Левый фланг я, с позволения Вашего Величества, поместил в центре». — «А-га. А центр, значит, на правом фланге?» — «Совершенно верно, Ваше Величество». — «Ну, что ж, диспозиция довольно-таки коварная. А что... неприятель?» — «Неприятель не возражает. Обещаю вам не менее десяти тысяч убитых».

В это время в другом конце залы раздаётся шум и появляются стражники с алебардами. «Что вам нужно?» — «Ваше Величество, во дворец проникли двое неизвестных...» — «Вот и прекрасно. Найдите их, поймайте, повесьте — и не смейте мне надоедать!»

Двое «неизвестных» под столом переглядываются.

Отзвук этого эпизода слышится мне в другом культовом фильме, уже советском, «Служили два товарища» (1968), где утомленная гражданской войной и, насколько помню, нанюханная комиссарша латышских стрелков (Алла Демидова), недолго думая, приказывает расстрелять приведенных к ней героев фильма (Ролана Быкова и Олега Янковского). От их объяснений она отмахивается: «Хотя бы умереть умейте, как мужчины». В обоих случаях безжалостность подается с иронией и под этой маской смакуется.

Формула «поймайте, повесьте и не смейте мне надоедать» надолго стала моим лозунгом в науке и жизни. Профессиональные результаты, вроде, ничего, житейские — так себе. Конечно, все зависит от точки зрения.

... «Хум хау» — из анекдота:

Двое эмигрантов разговаривают, как им кажется, по-английски: «Вич воч [Which watch=Который час]?» — «Сикс клокс [Six clocks=Шесть часов]». — «Сач мач [Such

much=Так много]?» — «Хум хау [Whom how
= Кому как]».

Сдвиг точки зрения не только назван впрямую («кому как»), но и спроецирован в ломаную — маргинальную — эмигрантскую речь. Анекдот же, в свою очередь, из кино — из «Касабланки» (1942) с Хамфри Богартом, которой у нас в прокате не было. Определенно, во всем большевики виноваты.

«Bist Du ein Zwerg?»

(А. Д. Синявский)

Некоторые из моих сокурсников по филфаку МГУ просто учились у него, но на романо-германском отделении русская литература не проходила. Его имя я впервые услышал, когда заговорили о его рецензии в «Новом мире» на один из первых оттепельных сборников Пастернака (1961). Начало было так далёко... Но в выходе пастернаковского тома Большой серии «Библиотеки поэта» с предисловием вскоре арестованного Синявского (1965) была уже видна рука истории, а задним числом узнается и его собственный двусмысленный почерк. Книгу покупали на черном рынке наполовину за стихи бывшего опального поэта, наполовину за предисловие бывшего советского критика.

Пастернаком я тогда не занимался, была пора структурного Sturm und Drang'a (книгу мне привезла из-за границы польская — тогда польская,

ныне австралийская — лингвистка Анна Вежбицка), и предисловие на меня впечатления не произвело. Но вскоре пошел процесс политической ферментации, катализатором которого стало дело Синявского и Даниэля, постепенно он вовлек и меня, и к 68-му году я созрел для подписания письма в защиту Гинзбурга и Галанскова, в свою очередь вступившихся уже непосредственно за сидящих «перевертышей».

Позже, обратившись со своими структурно-лингвистическими инструментами к поэтике и понаоткрывав Америк в области пастернаковских инвариантов, я вновь перечитал предисловие Синявского и обнаружил, что почти все это там уже было, только без помпы и парада. Когда потом в эмиграции, году в 80-м, Мельчук написал мне, что говорил о моих работах с Синявским и тот выразил готовность с ними ознакомиться, я тут же послал все, что было напечатанного, и прежде всего некий вывезенный из Москвы грязноватый препринт, кишевший нумерованными пунктами и подпунктами, буквенными сокращениями, и квази-математическими формулами.

Ответа не последовало, но в 1984 году, на пастернаковском симпозиуме в Иерусалиме я, наконец, увидел Синявского. Я подошел представиться, он тоже назвался; я сказал, что, конечно, знаю его по портретам, он как-то смущенно-издевательски ухмыльнулся и посмотрел на Марию Васильевну. Я расшаркался и отошел. Через некоторое время он сам подошел ко мне, сказал:

— Вот Марья говорит, я должен извиниться. Я прочел ваши работы, очень интересно.

— Мне приятно слышать, что они вам нравятся.

— Да, очень интересно. — Слово «нравятся» он не повторил. — Марья говорит, что я должен объяснить, почему я засмеялся. По работам я представлял себе какого-то очкарика с буковками и цифирьками, а вы...

— Понятно, эдакий здоровяк-волейболист...

Мой иерусалимский доклад Синявскому понравился на самом деле, и с его публикации в «Синтаксисе» (посвященной *Андрею Синявскому — посвященному отцу советского пастернаковедения*) начался наш роман с журналом. Все, что я в нем напечатал, было написано в синявском духе, часто под прямым впечатлением от разговоров и дискуссий с А. Д.

В освобождении — моем и целого поколения литературоведов — от структурализма и, шире, монологизма 60-х годов Синявский сыграл важнейшую роль, явив собой российских Барта и Дерриду в одном лице. У него самого это шло от Розанова, элементы постструктурной разомкнутости были у Лотмана, параллельно влиял воскрешенный Бахтин, в том же направлении действовало эмигрантское открытие Америки, да и Европы...

Синявский был звуковым лицом этих сдвигов. В значительной степени — в силу своего мученического ореола, столь показанного российскому мыслителю; впрочем, носил он его с тем же пол-

ным отсутствием щегольства, что и старые домашние туфли. Но в неменьшей степени — в силу своей тихой, но обескураживающей двоякости: способности сначала прожить, а затем и описать свои сложные игры с властью, оставаться диссидентом даже среди диссидентов, привечать Лимонова и т. д. и т. п. и в результате непрерывно состоять под судом и следствием российского общественного мнения, будь то эмигрантского или отечественного.

Недавним и совершенно неожиданным подтверждением живучести его деконструкторской репутации стала для меня переписка (по электронной почте) с моим давним московским другом, а в тот момент редактором некоего филологического издания. Он пытался цензурировать одну из моих, скажем так, прогулок по Ахматовой, и с особым напором требовал выбросить ссылки на работы Синявского о Пушкине и Гоголе. Читать это на экране компьютера в Лос-Анджелесе в середине 90-х годов было диковато. После напряженной борьбы я в конце концов победил, но победа Синявского была очевидна уже из того, что и через 20 с лишним лет после первых зарубежных публикаций, его книги принадлежат к самому живому литературному жанру — запретной классики.

Однажды он завел разговор о вере в Бога; я сказал что-то добросовестно агностическое. А. Д. не стал меня переубеждать, только спросил: «Но в домовых-то, в леших-то вы верите?» Я не засмеялся, потому что, помимо интеллектуальной нелов-

кости, это было бы просто бестактно. Он сам был немного домовым или лешим, со своей косоватой бородкой, разными глазами, полуавтобиографическими историями про крошку Цореса и Пхенца и проживанием под Парижем (в доме, когда-то принадлежавшем Гюисмансу) без французского языка.

Во время совместного посещения одного из замков-музеев в окрестностях Парижа, уже после осмотра, мы обедали в полупустом вестибюле, превращенном в ресторан. Пользуясь огромностью зала, по нему туда и сюда бегал маленький мальчик с мячом, на которого иногда по-немецки шикали родители. С момента, как мальчик заметил Синявского, мяч стал все ближе и ближе подкатываться к нашему столику. Наконец, окончательно осмелев, мальчик подошел к Синявскому вплотную.

— Bist Du ein Zwerg? («Ты гном?») — спросил он.

— Это слово я знаю, — сказал А. Д., и покраснев, кивнул мальчику. Счастливый невероятной встречей с гномом, тот побежал к родителям.

... Последний раз, после долгого перерыва, я видел А. Д. в начале декабря 1996 года. Сам того не зная, он уже побывал при смерти, но теперь находился в состоянии ремиссии. Он писал на компьютере, сделал для меня перерыв, был гостеприимен и бодр. Он стал расспрашивать, чем я занимаюсь, одобрительно выслушал мое рассуждение, что Зощенко — это великий «человек в футляре» (я приехал на конференцию по Чехову), а в ответ на мои реляции с ахматовского фронта со

смаком рассказал, как она придиралась к каждому слову писавшейся им хвалебной статьи о ней, величественно поворачивалась в профиль и довела его до того, что он ушел со словами: «Пусть о вас пишет Ермилов!..»

Он дожил до расцвета той фантазмагорической литературы, появление которой пророчил почти полвека назад (в статье «Что такое социалистический реализм») и пионерские образцы которой дал тогда же. Он всегда был жизнью полон в высшей мере, но одновременно немного сквозил, или косил, в мир домовых, русалок и виев, туда, где с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых. Там, наверно, он и прогуливается теперь, вместе с Пушкиным, в тени Гоголя, среди существ, подобных ему, опавших листьев, голосов из хора.

Спокойной ночи, Андрей Донатович!

Длинные руки

Кстати, об Ахматовой. Как-то я говорил по телефону с уважаемым мной коллегой-славистом, в свое время диссидентом, высланным из СССР и при первом послеперестроечном визите на родину лишь по оплошности КГБ не подвергшимся аресту, о чем мы и вспомнили в нашем разговоре. Потом речь перешла на наши последние работы, взаимную присылку книг и оттисков, и он продемонстрировал знакомство с моей ахматовской статьей в «Звезде», одобрительно о ней отозвавшись.

Я поблагодарил его за поддержку, ценную как по существу, так и прагматически — ввиду ее редкости.

— Хочу уточнить, — сказал он, — что поддержка эта, хотя и искренняя, является сугубо частной, публично высказать ее я бы не решился.

— Позвольте, но ведь это в точности, как с хрущевским докладом о Сталине: культ личности разоблачается, но доклад остается секретным.

— Да, это так, — охотно признал он.

— Как же вы с этим живете, Вы, не боявшийся КГБ?

— Видимо, Ахматова посильнее КГБ!

— Чем именно — тем, что любовь к ее стихам делает для вас нежелательным какое-либо обсуждение ее личности?

— Да нет, стихи дело особое... Дело именно в боязни открыто занять эту позицию. Вы, впрочем, можете опубликовать наш разговор, не называя моего имени, и хотя бы таким образом я послужу делу свободы совести.

— С вашего позволения, так и сделаю.

Страх моего американского коллеги — очередное подтверждение власти того, что я назвал «институтом ААА». В этой власти нет ничего мистического. Если мой коллега посмеет высказать свое мнение вслух, его, полного профессора престижного университета, с работы, конечно, не выгонят, но в русскоязычном истеблишменте могут перестать приглашать, печатать, признавать за своего...

У Ахматовой длинные руки.

Язык и речь

Когда в начале 90-х годов я впервые выступал в РГГУ, это было еще в новинку, и народу пришло много. Я старательно — с «американской деловитостью» — уложился в отведенные 45 минут, но первый же коллега, взявший слово в прениях, проговорил целый час, и публика стала таять. Содержание его полемики показалось мне хотя и вредным (он утверждал, что того, что я делаю, «делать нельзя»), но не столь страшным (ведь я, не дожидаясь разрешения, уже сделал, что хотел), как ее неумолкаемость.

Прагматика дискурса устроена так, что содержание, как правило, условно — оно всего лишь символизируется текстом, форма же реальна — она в буквальном смысле слова осуществляется, исполняется, так сказать, наносится слушателям. (В английском есть даже стандартная полупутливая формула академической вежливости: «I am not going to inflict the full version of my paper on you...»)

После ухода моего оппонента, известного ученого и либерала с почтенным диссидентским прошлым, организаторы, как могли, извинялись за него. Я, как мог, сохранял дипломатическую невозмутимость.

— Вы не обижайтесь. Он всегда говорит долго.

— Я не обижаюсь. Я вижу, что это человек, у которого единицей языка является речь. Соссюр бы меня понял...

Через пару лет я снова делал доклад в той же аудитории. Не успел я кончить, как на сцену решительно направился тот же оппонент. Столь полного дежа-вю я не ожидал (к тому же, народу было меньше, так что каждый слушатель был на счету), и у меня вырвалось что-то вроде:

— Как, вы опять будете говорить дольше меня? Нет, это немыслимо.

Я повернулся к задремавшему председателю (не знаю, что сказалось сильнее — прочитанный мной доклад или совершенный им накануне перелет из Южной Америки):

— Сколько у нас времени для выступающих в прениях? — и тут же огласил якобы услышанный ответ: — Десять минут.

Оппонент это проглотил и нашелся только сказать:

— Ну, тогда комплименты я опускаю...

— Да-да, переходите прямо к ругани. А за временем можете не следить, я вам сам скажу.

По истечении десяти минут он стал закругляться и последние слова проговорил уже пятясь на свое место. Дискуссия продолжалась с участием других коллег, мой оппонент еще несколько раз высказывался, так сказать, на общих основаниях и одно из своих полемических заявлений закончил словами:

— Зато я уложился в регламент.

— Не вы уложились, а я вас уложил.

Неумолкаемость моего оппонента давно стала в Москве притчей во языцех, но когда его пыта-

ются урезонить, он отвечает, что слишком долго молчал (понимай — при советской власти) и теперь имеет право выговориться.

Ссылка на «права» завершает картину. Программа у него запретительная (того-то думать «нельзя»), манера — монологическая (меня перебивать не смейте), мышление — блатное (я молчал, теперь вы помолчите), а самообраз при всем при том — демократический.

Очень характерен здесь элемент садистической сознательности. Еще ладно бы, ну заговорился, кто считает, что за занудство. Но нет, он в точности знает, что́ делает, и наслаждается этим.

Его подразумеваемый message состоит, как у толкающего пятиминутные речуги Фиделя Кастро, в том, что мы *хотим*, чтобы он продолжал, — рассказывай еще, тебя нам вечно мало... Ему, конечно, известна знаменитая формула, что способность долго не кончать — талант, нужный любовнику, но не оратору. Однако к себе он ее не относит. Другим хватит отведенного времени, но его — заслушаешься. Он любим, его чем больше, тем лучше. Логика, в общем, несложная: понасилю — стерпится — слюбится.

Он не уникален, разве что чересчур нагляден. Более утонченный вариант «желанного насилия» демонстрирует один мой видный, ныне американский, коллега (тоже бывший диссидент), который, несмотря на свое величие, всегда добросовестно укладывается в регламент. Он даже делает это несколько раз в течение конференции, ибо, воп-

реки цивилизованному порядку, одним докладом не ограничивается. Разумеется, он не при чем, — его «просили». В России, в годы застоя, будучи завсектором, он заставлял по два часа ждать себя и не начинать заседания с приглашенным докладчиком и специально собравшимися слушателями. И ждали. Чувствовали в этом некий кайф, причастность к чему-то такому, чего не жалко и подождать. Ведь лучшего применения, нежели ожидание великого человека, для времени и не придумаешь.

Другой мастер изнасилования в перчатках, по-прежнему и принципиально российский и к тому же активный демократ, еще более корректен: он выходит на трибуну со складным будильничком. Но это уже мало кого обманывает.

— Ну все, — прошептал мне в ухо на международном сипозиуме коллега-слушатель. — М. вышел с часами, это надолго.

Особый садистский шик выступлениям М. придает частое употребление по ходу доклада слова «регламент». Услышав его, истомившаяся аудитория вздрагивает в надежде, что избавление близко, но вскоре убеждается, что в идиолекте докладчика «регламент» является специальным термином — обозначением «режима в литературе», разумеется, репрессивного, сталинского.

Однажды мне пришлось прослушать его полтора-часовой заключительный доклад на конференции, где он был главным организатором и хозяином (а его жена — председателем данного за-

седания), — при регламенте 30 мин. Когда выступление перевалило за часовую отметку, я почувствовал, что начинаю корчиться на стуле и вот-вот не выдержу — заору «Регламент!» или чего похлеще. Я уже открыл было рот, когда услышал свое имя: докладчик заговорил о моих сочинениях. Теперь перебить его я уже не мог.

В кулуарах я все-таки прошелся на эту тему.

— Да-да, — сказал М. — Я рассчитал, когда ты можешь не вытерпеть...

В основе такого поведения «лучших людей» лежит, конечно, глубинное неприятие буржуазных ценностей — деления всего вообще и времени в частности на твое и мое. На Западе тебя уважают и ты себя уважаешь тем больше, чем большее уважение ты проявляешь к правам, территории и собственности другого. Но в России, с ее романтико-ницшеанским культом беспредела, попрежнему ценится пренебрежение к стеснительным и скучным нормам. Научное заседание мыслится не как упорядоченная процедура, в рамках которой председателю, докладчику, слушателям и участникам прений отводятся совершенно определенные роли и ограниченные отрезки времени, а как удобный плацдарм для прорыва, как возможность сказать, наконец, последнее, непререкаемое, пророческое Слово. Одним из неосознаваемых источников такого отношения к процедуре является, я подозреваю, со школьных лет засевшая в памяти формула из советского учебника истории о том, как Степан Халтурин (или Вера Засулич?) превра-

тил свой судебный процесс в суд над обвинителями.

Да был ли Освенцим-то?

Одна эмигрантка, живущая в Бостоне, очень страдала от наездов бесчисленных российских родственников ее мужа (оба евреи). Однажды она нашла, наконец, адекватное выражение для своих чувств:

— В чем дело с твоими родственниками?

— А что?

— Впечатление такое, будто ни Освенцима не было, ни Бабьего Яра...

Я долго восхищался этой фразой, полагая ее уникальной. Потом встретил нечто подобное у Шолома Алейхема. В «Блуждающих звездах» один персонаж говорит другому — настырному жулику: «Где вы были во время холеры?» Так что острота выдержана в классическом еврейском духе. Блеск же ее если и не уникален, то тем более эффектен, ибо садомазохистски инкорпорирует теорию о вымышленности Катастрофы.

Как ни садитесь...

Солженицынский заголовок «Как нам обустроить Россию» очень красноречив. О нем наверняка писалось, но за всем не уследишь.

Общая колодка — ленинская: «Как нам реорганизовать Рабкрин». (Солженицын 1918 года рож-

дения, ходил в советскую школу с середины 20-х до середины 30-х, потом учился в советских вузах, в том числе в ИФЛИ.) Но марксистское, административно-западническое «реорганизовать» ему, теперешнему, конечно, не в жилу, и он заменяет его исконным по духу «обустроить», а отталкивающую аббревиатуру «Рабкрин» — Россией.

Но, как и «Рабкрин», «обустроить» — несуществующее слово, неологизм (ни у Ушакова, ни у Даля, ни в 17-томном Академическом его нет), точнее — типичный солженицынский неоархаизм. Немного нескладный, самодельный, но, в общем, понятный. В нем слышится что-то бедняцкое, зэковское. Представляется какое-то затыкание дыр старой ветошью — «скромно, но просто» (Зощенко) и не дует.

Действительно, несмотря на двухэтажную приставку, «обустройство» явно имеет в виду обойтись минимальными наличными средствами, как само это слово обходится чисто русским языковым материалом, не прибегая к иностранному. Обернуться имеющимся — с той же нехитрой солдатской обстоятельностью, с какой нога обертывается портянкой.

Действительно, обустроить — не перестраивать. Обустройство предполагает, что обстановкой уже обзавелись, остается только обшить стены досками, обнести двор частоколом — и все образуется.

Я недаром нажимаю на приставку «об» — в ней (особенно рядом с «нам») отчетливо звучит общин-

ное, округлое, самодостаточное, каратаевское начало, желание огородиться от посторонних. Справить обутку, обиходить деток, в тесноте, да не в обиде, с миру по нитке — бедному рубашка, по одежке протягивай ножки.

Это та же нарочито русская утопия, что в ильфовском: «Съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное», только еще посконнее и безнадежнее. Перефразируя Радека: «Обустроить Россию можно, но жить в ней будет нельзя». Вспоминается также жванецко-черномырдинское «Хотели как лучше, а вышло как всегда», и гоголевско-пушкинское «Боже, как грустна наша Россия!..»

О РЕДАКТОРАХ

... а то, выходит, что я не столько писатель, сколько редактор — то есть околотеатурный человек.

К. Чуковский

Мои отношения с редакторами, в общем, всегда оставляли желать лучшего. Как шестидесятник, я был склонен винить Систему и тех, кто ей слишком соответствовал или недостаточно противостоял. Но как честный офицер, я самокритично старался обуздывать свое авторское и гражданское самолюбие и идти на конструктивные компромиссы. Неловко признаваться в затянувшейся наивно-

сти, но лишь в достаточно зрелом возрасте, напечатав около десятка тысяч страниц, я начал догадываться, что дело тут не столько в Системе и человеческих недостатках — редакторов и моих собственных, сколько в природе самих этих двух институтов, в дальнейшем именуемых Автор и Редактор. Ролевая структура последнего представляет собой нечто вроде трехглавой гидры из Младшего, Ответственного и Главного, соотносительные функции которых станут вскоре очевидны.

Хотя предполагается, что Автор и Редактор совместно делают общее дело, интересы их в общем случае различны, а часто противоположны. Это наглядно выявилось в моем зарубежном, а затем и российском постсоветском опыте, когда мне, по известной пророческой формуле, благодаря отсутствию советской власти, стало как-то легче, а проблема Редактора тем не менее не исчезла. Ибо при всех цивилизующих поправках суть дела не меняется — речь идет о власти. Правда, о власти всего лишь над текстом, но, во-первых, текст это вовсе не хухры-мухры, а как-никак Логос (особенно в России), и, во-вторых, власть, даже самая мелкая, по замечанию Рассела, «сладостна» («Power is sweet»).

Суть не меняется, но суть это еще не все, а, может быть, и не главное. Бог (и дьявол) — в деталях. Поскольку какая-то власть неизбежна, постольку особенно дороги «мелкие», «формальные», различия между способами ее реализации. Советская власть, в частности, власть советского Редактора,

поучительна тем, что являет самую идею Власти в заостренном до наглядности виде. Более цивилизованные формы власти, в частности редакторской и издательской, ценны своей процедурностью, узаконивающей и тем самым сглаживающей многие властные проблемы. Особенно же интересны постсоветские феномены, в которых родимые пятна социализма наскоро прикрыты новыми овечьими шкурами.

В одном фельетоне Ильфа и Петрова сказано, что некая статья начиналась, как водится, с академических нападок на царский режим. Я тоже начну со сценок из проклятого прошлого, но ими не ограничусь, а главное, постараюсь показать, что интерес их, увы, не академический. Писать буду без имен, ибо дело не в лицах (иногда, в целях конспирации, я даже меняю пол моих героев), но с датами (историческая привязка важна) и, как говорится, только правду. Все взято «с источника жизни».

... Год 1970-й, кто еще помнит, юбилейный. Готовится выйти книжкой моя диссертация — «Синтаксис сомали». В одном из разделов рассматривается предложное управление, в этом языке очень оригинальное. Примеры взяты из передач сомалийского отдела Московского Радио, где ради сбора языкового материала я работаю на полставки. Одну из конструкций иллюстрирует оборот «памятник Мао Цзе-Дуну», — явление, в то время в Китае и соответственно в мировой прессе актуальное, но в нашей печати неупоминабельное. Зво-

нит издательский Младший — еврей-фронтовик, член партии, человек скорее симпатичный (а ныне покойный). Обращается ко мне по-начальственно-му на «ты».

— Ну, что ты там пишешь?..

— Что я пишу?

— Ну, что это у тебя там за памятник?

— А-а...

— Ну, замени ты его.

— У меня записи подлинные, с Радио.

— Ну, что ты, ей-богу?..

— Кого же вы хотите?

— Ай, ей-богу..

— Ну хорошо, пусть будет памятник Сталину.

— Ай...

— Тогда Гитлеру?

— Ну, перестань...

— Кого же вам надо — Ким Ир Сена? Иди Амина?

— Ай, ей-богу..

— Ну, ладно, пишите кого хотели.

— Кого я хотел?

— Вы знаете и я знаю...

— Ну, ладно...

Книга вышла. На стр. 251 можно видеть разные сомалийские обороты на тему о памятнике — кому же еще? — Ленину. Но это, выражаясь по-современному, всего лишь мягкое порно. Да и Мао Цзе-Дуна не особенно жаль. А вот история пообиднее.

... Начало второй половины 60-х годов, то есть, уже после Синявского и Даниэля, но до Чехосло-

вакии. Печатается наша с соавтором статья, реабилитирующая русский формализм. На решающей стадии верстки доброжелательный Младший (отсидевший в свое время в Гулаге) приглашает нас к себе и показывает места, которые «не пойдут». Мы будем их исправлять, а он носить к Главному на утверждение. Самого же Главного (кажется, чуть ли не члена ЦК), подобно кантовской вещи в себе, нам видеть не дано.

Начинается челночный процесс доводки, этот раунд эзоповско-киссинджеровской дипломатии.

— Вот вы тут пишете: «... посмотрим, что было сделано в этом направлении русскими формалистами». Этого Он не пропустит.

— Но ведь в этом весь смысл статьи?! Почему вы нам раньше не сказали? Если этого нельзя, мы забираем статью.

— Забирать не надо, но писать об этом на первой странице тоже нельзя. Вы придете к этому где-нибудь в середине или в конце. Он читает в основном начало, а остальное так, пробегает.

— Ну, хорошо, тогда напишем: «... учеными ОПОЯЗа».

Младший уходит к Главному и вскоре возвращается с известием, что ОПОЯЗ, увы, не годится. Этот эвфемизм давно раскрыт, к тому же заглавные буквы так и лезут в глаза. Тогда мы предлагаем «науку 20-х годов». Но Главного не устраивает и это, ибо получается нежелательное выпячивание 20-х годов как некой идеальной эпохи в укор

современности; да и цифры торчат. Мы готовы дать числительное «двадцатых» прописью, но этого мало.

Тут кому-то из нас приходит в голову спасительная мысль — написать что-нибудь совсем неопределенное, например, «... в науке недавнего прошлого». Младший удаляется и — ура! — Главный дает «добро». Дальнейшее перефразирование продолжается уже без челночных операций и сосредотачивается на обеспечении эквивалентности числа печатных знаков в исходном и отредактированном тексте. Каким-то образом — каким, не помню — на этом этапе «наука» заменяется синонимичными ей «учеными». Мы подписываем верстку, где-то там, в мире ноуменов, ее подписывает Главный... Номер должен вскоре выйти в свет.

Первым о долгожданном выходе нам сообщает коллега-подписчик. Он вечером звонит по телефону со словами возмущения:

— Что вы наделали?

— А что?

— Вы назвали их «учеными недавнего прошлого». Эйхенбаум, Тынянов и Эйзенштейн, ладно, умерли, но Шкловский-то и Пропп живы и продолжают работать...

Я бросаюсь писать Проппу, у которого недавно побывал, а мой соавтор звонить Шкловскому, который его приветствует. К счастью, «старики» статьей остаются довольны, а на ляпсус смотрят снисходительно — в свое время они прошли и не через такое.

... В конце 1970-х годов ко мне неожиданно обратился вполне «свой» Редактор (Младший) из ведущего интеллектуального журнала с просьбой написать о книге знаменитого итальянского коллеги — тем более, что я был единственным ее владельцем в Москве. Я согласился, но заранее оговорил, что никакого марксизма-ленинизма у меня не будет. Младший сказал, что марксизма у них хватает в других разделах, а от меня требуется профессиональная рецензия, которую они спокойно опубликуют без купюр.

Ну, без купюр-то это положим. Статью прочитал Главный, и она ему даже понравилась. (Это впервые что-то мое понравилось Главному с простой крестьянской фамилией типа Дронов.) Но и он потребовал выкинуть множество сомнительных имен вроде Сталина и Троцкого, а также придрался к частоте упоминаний о Романе Якобсоне, разрешив употребить эту крамольную фамилию не более двух раз. Тогда я прибег к криптографии и насытил текст прозрачными отсылками к якобсоновским работам, в том числе к его анализу предвыборного лозунга «I like Ike» («Я люблю Айка»), протаскив таким образом еще и Эйзенхауэра.

Статья постепенно двигалась в печать, когда Младший позвонил мне и от имени уже не партийного Главного, а прогрессивного Ответственного (с, наоборот, незабываемой кавказской фамилией), сообщил, что статью надо будет сократить почти вдвое. Свое изумление я выразил — для передачи Ответственному — в столь язвительной

форме, что тот почел необходимым принять меня лично.

Выслушав его аргументы (не помню их, да они и не интересны — дело не в них, а в демонстрируемой ими власти, и отвечать на них можно тоже только силой), я сухо указал ему на историю нашей договоренности о рецензии (размер, содержание, сроки), договоренности, систематически журналом нарушаемой, вопреки его возвышенно-философскому названию и либеральной репутации. Спор затянулся, и Ответственный сказал что-то в том смысле, что он занят. Я немедленно парировал, подчеркнув, что я и сам человек занятой, профессионал (за какового они меня, собственно, и брали), и мне проще выбросить рецензию в корзину, чем продолжать эту дискуссию с людьми, не отвечающими за свои слова. Это был неотразимый ход, и рецензия вышла в заказанном размере.

Я люблю ее. В ней я первым предложил ввести в русский язык слово *privacy*. (Кажется, оно все еще не позаимствовано, хотя от маркетингов, дилеров и киллеров рябит в глазах.) Итальянец в дальнейшем приехал в Москву и обнаружил знакомство с моей рецензией, в частности — с критикой неточности его методов.

— Ты не обиделся? — спросил я его.

— Наоборот. Итальянские коммунисты любят обвинять меня в чрезмерном техницизме, а теперь я им говорю: *Guardate, Mosca!* («Смотрите — Москва!»).

Ответственный тоже в какой-то мере прославился, но потом умер. Младший стал уважаемым ученым. Итальянец тоже жив и знаменит донельзя. Главный возвысился было при перестройке, но с тех пор о нем не слышать. Автор уехал и приезжает ругаться с новыми Редакторами...

Полудиссидентство и ученость Ответственного кавказской, как говорится, национальности (дело, разумеется, не в ней) перебрасывают мостик в теперешние времена и нравы, когда диссидентская утопия оказалась у власти (по крайней мере, в СМИ). Вот еще одна аналогичная фигура. Опять-таки крупный ученый (ныне покойный), вождь научной школы, Главный Редактор целой престижной серии. Маринует статью года три, потом через Младшего мне удается узнать, что том двинулся, и даже добыть верстку. В ней я обнаруживаю критическую врезку от редакции и отсутствие дорогих мне эпиграфов, причем мой информант сообщает мне, что менять что-либо уже поздно. «Да ты позвони Ему, Он в Москве, у такого-то», — добавляет мой друг-блондин, явно предвкусывая назревающее столкновение.

Звоню, застаю с первого раза, требую восстановить эпиграфы.

— Да они вам не нужны. Зачем они вам?

— Во-первых, они кратко выражают суть, во-вторых, я считаю, что их автор незаслуженно забыт или замалчивается. (В частности, вами, — не говорю я.)

— К тому же у нас нет места.

— Позвольте, но моя статья не так уж длинна, лежит у вас давно, и вы ни разу не заикнулись о размере... Места вполне хватит, если вы снимете свою врезку, которая мне действительно не нужна.

— Я бы не выставял этих эпиграфов.

— Но вы их и не выставяете. Это моя статья, а не ваша.

— Знаете что, я спешу на лекцию и вынужден прервать разговор. До свидания.

— До свидания.

Свиданию, однако, не суждено было состояться, ибо, утомленный истеблишментом и антиистеблишментом почти в равной мере, я эмигрировал. Статья же через некоторое время вышла — с эпиграфами и без врезки. Вопреки официозу напечатать диссидента-отъезжанта было для этого Главного делом чести, доблести и геройства, тут уж не до тонких семиотических разногласий... Поведение, конечно, насквозь советское, и противостоять ему можно лишь более сильным оружием — непостижимой для Редактора-тоталитариста решимостью забрать статью, а то и вообще уехать.

Вот еще аналогичный эпизод, где в роли Главного выступает Проректор по научной работе моего Института (тоже уже покойный; читатель должен понять неизбежно эдиповский — по отношению к отцовским фигурам Редакторов — характер этих упоминаний о смерти). Готовится к печати сборник трудов нашего отдела, с моим пре-

дисловием. Год 1964-й, мы молоды, полны научно-го энтузиазма и вселенских претензий. Эпиграфом к своему предисловию о семантическом подходе к словарю я беру гамлетовское «Words, words, words» («Слова, слова, слова»). Мой непосредственный начальник (так сказать, Младший) сообщает мне, что Главный эпиграфа не пропускает. «В таком случае, — говорю я, — я снимаю Предисловие, а заодно и две другие свои статьи в сборнике.» Эпиграф остается.

Уверенность Редакторов советского закала, что это ИХ текст (а не Автора), имеет глубокие социальные корни, идеологические и культурные. С одной стороны, на Редактора была возложена роль партийного комиссара при политически незрелом Авторе-интеллигенте; с другой — ему приходилось «доводить» язык, стиль и интеллектуальный уровень полуграмотного Автора-выдвиженца. («Сирожь, — говорил своему ученому Редактору, моему знакомому, один такой Автор, — ти если найдошь у мэня какую-нибудь мисэл, ти ее нэ ви-черкивай, ти ее развэйй...» Акцента у него могло бы и не быть, а вот ситуация с отсутствием «мысли» была частой.) Со временем оба типа Автора смешались в сознании Редактора, и он счел себя полноправным хозяином как содержания, так и формы текста. Его абсолютная власть опиралась, помимо эксплуатации естественного авторского желания напечататься, на баснословные тиражи и гонорары официальной печати. (Помню, как ошеломлены были мы с соавтором статьи об «уче-

ных недавнего прошлого», когда получили гонорар из расчета 300 рублей за лист, то есть, трех месячных зарплат начинающего специалиста, — за то, что мы написали бы все равно, да еще приплатили бы, если б было чем; тут мы впервые почувствовали подлинную цену Слова.)

Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Вот история, происшедшая не со мной, а с почтенным ученым старшего поколения. Молодая женщина-Редактор, его бывшая ученица, решительно правит его статью. Он по возможности соглашается, но во многом отстаивает свой вариант, указывая на возникающие в результате правки несообразности. Она извиняется:

— Знаете, я спешила, исправляла на ходу.

— Простите, но почему же вы полагаете, что вы можете быстро, на ходу, исправить то, что я писал не на ходу, а тщательно обдумывая?..

Тут характерно полное отсутствие какой-либо личной злобы, интеллектуального неуважения или идеологической цензуры: Редактор безмятежно уверена, что делает полезное и доброе дело. Власть въелась в ее клетки и применяется автоматически.

... — В вашей статье надо заменить слово «педалирует», — говорит мне году в 1969-м молодой коллега, он же Младший в соответствующем журнале.

По идеологической линии статья, несмотря на отравленность «структурализмом», уже одобрена Главным (евреем, и потому членом не всесоюз-

ной Академии Наук, а, выражаясь по-современному, Академии Ближнего Зарубежья). Он начертил ленинского типа резолюцию: «Печатать, но дать оценку в комментарии от редакции», то есть, опять-таки врезке. (А вот еще курьез из тех же времен и в том же роде. Киевский коллега, занятый в качестве Младшего в некой украинской Энциклопедии, просит меня написать о работах нашей группы, — дескать, мне и карты в руки. Пишу. Печатают, но приятель для смеха присылает автограф-резолюцию Главного, известного официального поэта: «Треба вказати на небезпеку ідеалістичного потрактування природної мови».) Но вернемся к педалированию.

— А что, это слово внесено в какой-то запретный список?

— Нет, просто вы его употребляете не в том смысле.

— Тогда приведите мне, пожалуйста, пример его правильного употребления.

— Ну, может быть, вы и правы, но я бы его не употреблял.

— Но вы его и не употребляете. Его употребляю я. Скажите, Лева, вы как-то подспудно убеждены, что владеете русским языком лучше меня?

— Ну, вы просто не представляете себе, какую галиматью иногда приходится править?!..

В общем, слово «педалирует» удалось отстоять. О дальнейшей судьбе Младшего у меня сведений нет. Скорее всего, он жив, хотя жизнью это, конечно, не назовешь.

Переходя к постсоветской ситуации, можно начать с метаморфоз, претерпеваемых бывшими носителями официальной идеологии. В разгар перестройки некий Главный спрашивает, нет ли у меня статьи об одном воскрешенном писателе, которому вот-вот исполняется сто лет со дня рождения, а у журнала нет подходящего материала. Такая статья у меня как раз есть, я им ее даю, и она быстро продвигается к выходу. Младший препятствий не чинит, но на стадии верстки Ответственный (тогда еще партийный, в общем, не вредный, но удручающе ограниченный и, видимо, снедаемый каким-то внутренним недугом, отравляющим его взгляд на мир), сделав мне различные мелкие замечания (которые я, как всегда, принимаю), вдруг выдвигает содержательное — и какое!

— Вот вы тут пишете о соцреализме и его влиянии на этого писателя.

— Ну и...?

— Но ведь никакого соцреализма не было.

— ???

— Ну, бездарь всякую мы же не будем называть «-измом», да еще влиятельным. В общем, это надо убрать.

— Позвольте, мы с вами знакомы почти тридцать лет. То у вас нельзя без соцреализма, то надо без него. А где в вашем репертуаре «можно»? Оно было бы тем более уместно, что власти-то у вас прежней больше нет. И статью просите напечатать вы, а не я, и других журналов полно, и гонорар мой обесценится быстрее, чем номер выйдет.

Так что давайте-ка я впишу, что соцреализм понимается в смысле Андрея Синявского и Катерины Кларк.

Тогда это еще звучало провокационно...

Ослабление редакторской власти благодаря фактору рынка лишь очень медленно отлагается в сознании и навыках Редактора. Где-то в начале 90-х дружественный Младший в одном прогрессивном журнале вдруг сообщает мне, что лежащая у них статья (вполне актуальная) не пойдет. Почему? Начальство (Ответственный? Главный?) считает, что у них уже напечатано несколько моих материалов.

— Прекрасно, — говорю я, — не будем перегружать журнал моими опусами. Давайте я отдам статью куда-нибудь еще. Не можете ли Вы, уже как мой друг, посоветовать, куда именно лучше всего?

— Ладно, я попробую поговорить с начальством еще раз...

Статья выходит в следующем же номере.

Кстати, дальнейшее взаимодействие (мое и известных мне других Авторов) с тем же Редактором, но уже в роли Главного, вынуждено строиться по той же схеме. Возможно, он и ему подобные полагают, что овладели законами капиталистической конкуренции, не подозревая, что в западном издательском деле (как и на рынке вообще, за исключением разве наркобизнеса) конкуренция давно введена в цивилизованные рамки, избавляющие партнеров от постоянных силовых эксцессов.

Надо сказать, что само наличие у Редактора власти над Автором недостаточно для объяснения его установки на присвоение текста. Тут действует еще один фактор. Подобно тому, как Критик (= Автор) это, как правило, несостоявшийся Писатель (*écrivain manqué*), Редактор — это несостоявшийся Автор. Соответственно, его болезненно раздражает настырная плодовитость Авторков, вечно теребящих его по поводу скорейшего опубликования их сочинений. Поэтому, наряду с разнообразными внетекстовыми проявлениями власти (садистическими играми с Автором, вымогательством у него денег, борзых щенков, мелких услуг и т. п.), Редактор с особым упорством направляет ее на «авторизацию» чужого текста.

Некоторые типичные приемы такой авторизации нам уже встретились. Это замена отдельных слов, выбрасывание кусков текста, врезка. С последней мне вновь пришлось столкнуться, когда один уважаемый мной Ответственный, на которого в моей статье было несколько отдающих ему должное ссылок, разразился целым полемическим послесловием. Оно состояло на одну треть из фактографических придилок и поправок, которых он, манкируя собственно редакторскими обязанностями, не высказал мне за те два года, что статья лежала в журнале; на вторую — из аргументов в защиту чести мундира того деятеля советской культуры, о котором у меня шла речь (в старые времена его принято было то хвалить, то травить, то подходить к нему с одной стороны — с другой сто-

роны, но теперь он ненадолго вошел в пантеон новых святынь, и Ответственный, видимо, решил, что моему субверсивному анализу необходимо «дать отпор»); а на третью — из каких-то ревнивых полуприсоединений к моей точке зрения. Мысль, что Автор есть автономная пишущая личность, отдельная от журнала и Редактора и, значит, в отмежевании нет необходимости, как видно, все еще не пустила корней в постсоветском редакторском менталитете. Более того, не выступая более в роли проводника постыдного официоза, Редактор (часто бывший диссидент) тем увереннее и с совершенно чистой совестью вторгается в авторский текст.

Сравнительно недавно мой старый приятель, не замеченный ранее ни в чем таком советском, оказавшись вдруг Ответственным Редактором одного нового журнала, заявил мне по электронной почте, что его настолько «ранит» мое покушение на некие культурные святыни, что он этого в своем журнале не потерпит. Я стал разъяснять ему про принцип *Let us agree to disagree* («Давайте согласимся иметь разногласия») и т. п. и призывать не злоупотреблять своим служебным положением в личных целях, но проблема была разрешена только силой, — когда я на процедурных основаниях (они имелись) добился отстранения его от работы с данной группой материалов. Мы даже помирились, но понять, что соблюдение процессуальных норм важнее содержательных разногласий и что первая задача Редактора — отделить свою

личность от своей общественной функции, он так и не смог. Ведь современный российский человек полагает, что наступившая наконец свобода означает полный отказ от каких-либо правил и ответственности — настоящий беспредел. (Как сказала одна моя американская аспирантка, бывшая в Москве на стажировке, «они строят капитализм, а представляют его себе по Марксу — как всемерное ограбление и эксплуатацию кого и как можно». Победил, так сказать, не капитализм, а «Капитал» из семинара по марксизму-ленинизму.)

Кастрирующие ножницы Редактора (не забудем о его отцовской, по Фрейду, природе) безошибочно нацеливаются на самое новое, интересное, оригинальное, словом, живое в тексте. Так, еще в старое время некий Младший, похвалив конкретный разбор, содержащийся в поданной ему статье, обещал ее протолкнуть — при условии, что я выброшу из нее все свои «теории». «Спасибо, — ответил я, — но я не смогу воспользоваться вашим непочетным предложением. Мне дороги именно «теории», на которых, кстати, держится понравившийся вам разбор». Тут я понес почти полное поражение, которое смог лишь слегка компенсировать публикацией статьи в другом журнале с последующим преподнесением Младшему (ненавистнику «теорий», хотя и служившему в Отделе Теории) оттиска, где ему была высказана благодарность за ценные замечания.

В своих кастрационных действиях Редактор, особенно Младший, часто руководствуется спус-

каемыми ему «сверху» установками, воплощающими, в полном согласии с Фрейдом, цензуру «сверх-Я», то есть традиционной официальной культуры. Однако, для того чтобы служить ее идеальным проводником, недостаточно быть безразличным исполнителем директив. Страсть, чутье и глазомер, необходимые Редактору для ампутации самых живородящих органов текста, обеспечиваются его собственной, личной завистью-ненавистью ко всему тому новому и живому, что отличает Автора от него самого.

Теперешний Редактор, конечно, уже не так страстно лезет в текст, как прежний. У него меньше власти, средств, штата, ему некогда (он работает еще в трех местах и старается провести большую часть времени за границей или хотя бы на даче). Тем не менее, леопард не может перемнить свои пятна. Многое ему еще подвластно.

Так, Редактор ревниво отстаивает свою власть над важнейшей частью текста — его заглавием. Написав однажды по просьбе Младшего некие юбилейные воспоминания о нашем с ним общем друге, я вскоре увидел их в печати под заголовком, совершенно уникальным в моем списке публикаций: «Грани таланта». Это было в Нью-Йорке, в диссидентско-эмигрантском кругу, то есть, в совершенно, казалось бы, несоветском хронотопе (и решение, наверно, принадлежало Главному, а не моему знакомому Младшему), и тем не менее...

Еще одна подобная виньетка — невозможность (в начале 1980-х годов) получить в библиотеке

Корнелльского Университета роскошный альманах «Аполлон-77», изданный на собственные деньги Михаилом Шемякиным, сумевшим под одной обложкой собрать чуть ли не всю тогдашнюю литературную и художественную эмиграцию. Причина, как разъяснил мне один видный русский писатель макабрического направления, работавший в этой библиотеке на подноске книг (ныне он в полной славе), — нежелание двух русских женщин-библиотекарш предыдущей, так называемой второй, волны эмиграции выдавать этот «неприсвойный» том.

А много позднее, уже в начале 90-х, мне пришлось снять свой доклад на международной конференции, посвященной столетию очередного великого русского еврея, поскольку Ответственная за программу недавняя русская эмигрантка сочла недопустимыми мои вполне академические сопоставления этой ныне культовой фигуры с одним современным литератором, для нее и некоторых других одиозным. Дискриминация меня как Автора, а «одиозного» писателя как объекта исследования продолжилась и на собственно редакторской стадии издания трудов конференции. Мой давний знакомец-полудиссидент, выступивший в роли Главного Редактора этих трудов, разделил линию Ответственной. Человек он в высшей степени ученый, но плюрализм у него, скажем так, прихрамывает — его стандартный отзыв о многих писателях: «Он не существует!» (Осенью 1994 года в Лос-Анджелесе он же с пеной у рта отстаивал

передо мной прошлогоднюю тогда стрельбу по парламенту, в ответ на что я более или менее предсказал ему «первую» Чечню...) Подобное проникновение дремучих российских нравов в сферу западной культуры можно сравнить с происшедшим в последние годы выходом русской мафии на арену международной организованной преступности.

Но вернемся к собственно редакции. Власть над заглавием — лишь верхушка айсберга, не растаявшего и после всех оттепелей. Ту же природу имеет, например, понятие «тематического выпуска», в котором характерным образом сталкиваются интересы Автора и Редактора. Автор статьи, естественно, хочет увидеть ее напечатанной как можно скорее — чтобы, наконец, осчастливить мир своими новыми идеями, прославиться, увеличить список публикаций, продвинуться по службе, получить гонорар, наконец, просто забыть об этой статье и перейти к следующей. Статья, однако, не появляется. Ибо Редактору нужна не отдельная статья, пусть даже отличная, но чужая, а нечто свое. Это «свое» и есть тематический выпуск, составленный Редактором (часто с его предисловием) путем придерживания соответствующих статей. Вместо того чтобы печатать статьи Авторов по мере их поступления, как то приличествует периодическому органу (в буквальном переводе с французского, «журнал» значит «ежедневный», от слова *jour*, «день»), Редактор предпочитает издать нечто, по возможности приближающееся к собственной книге...

В рамках подготовки тематического выпуска Редактор получает дополнительное право требовать от Автора переработки статьи — подгонки ее к формату выпуска по содержанию, композиции, размеру и т. д. А в худшем случае, Главный может оттягивать публикацию выпуска и специально — с целью позаимствовать у Автора его идеи, «развить» их, применить их к другому материалу и, наконец, свысока рассмотреть их в своем предисловии или иным образом воспользоваться своей безраздельной властью над находящимся в его портфеле текстом.

Более слабой формой утверждения Редактором своей власти над текстом являются всевозможные эзотерические соображения: о «формировании номера», подразумевающие творческую непредсказуемость Редактора, иными словами, его моральное право на полный произвол; о системе рубрик, в которую статья Автора почему-то никогда не укладывается; о принятых размерах материалов — статья может оказаться как слишком длинной, так и слишком короткой; а также об ориентации на читателя, вкусы и потребности которого Редактору якобы точно известны. (Один писатель как-то сказал мне, что послушать некоего знакомого нам обоим Главного, — читатель сидит у него прямо в шкафу, и он в любую минуту может с ним проконсультроваться).

Еще одна вариация на ту же тему — ссылки на актуальность/неактуальность материала. Как-то уже в новые времена некая Младшая загорелась

идеей издать книгу моих статей у себя в общественно-литературном издательстве. Я подал примерный состав сборника, Младшая его одобрила и понесла к Ответственной. Та уверенно отмела несколько статей как неактуальные. Я отказался от дальнейших переговоров, самолюбиво заявив, что то, что актуально сегодня, станет неактуальным завтра, а мои статьи останутся, какими были. Разговор происходил в июле 1991 года, то есть, за месяц до путча и, значит, полного распада всего, что было так актуально, увы, так долго.

За якобы профессиональным редакторским дискурсом — тематический выпуск, формирование номера, рубрики, актуальность — отчетливо просматривается типичная для бюрократических структур установка на упрочение и расширение собственной паразитарной роли. Ведь с точки зрения здравого смысла очевидно, что всякий журнал интересен ровно настолько, насколько хороши и новы содержащиеся в нем материалы, независимо от их длины, рубрикации и тому подобных следов редакторской деятельности. Как и в случае с правительственными структурами, желательное минимальное и лишь сугубо служебное вмешательство Редактора в собственно производительную деятельность Автора. Редактору достаточно привлечь хороших Авторов и совсем не нужно лезть к ним в «соавторы». Как и в цивилизованной гражданской жизни вообще, разрешено должно быть все, что не запрещено, а не наоборот.

Наряду (и вместе) с подменой авторства, важнейшим орудием редакторской власти является сам тот временной плен, в который попадает Автор, обреченный на ожидание. Чем дольше журнал не печатает статью, тем большей оказывается моральная и эмоциональная «инвестиция» Автора, понимающего, что в другом месте ему опять придется становиться в конец длинной очереди (и хорошо еще, если речь идет не о Редакторе единственного журнала по данной специальности). Редактор, между тем, обнадеживает Автора, скобывая его волю и наращивая свою власть. Не поддаваться этому — целое ницшеанское искусство.

Давным-давно мой учитель (молодой, но уже знаменитый филолог) поразил меня, сказав, что ему надо срочно кончать какую-то статью, а на мой вопрос, что значит «срочно», ответив, что «срочно» — это когда верстка должна была уйти на прошлой неделе. Тогда я воспринял это как очередной ядовитый комментарий по поводу сумасшедшей (и по-сумасшедшему романтической) советской действительности. Но теперь, с высоты многолетнего опыта, я склонен усматривать в словах шефа формулировку хорошо отработанной технологии борьбы с властью Редактора. С некоторых пор я и сам стараюсь действовать так же: заранее подавать некую «рыбу», с тем чтобы в последний момент подменить ее чем-то новым; в ответ на срочный заказ всучивать именно то, что я в это время пишу; предлагать одну и ту же статью

сразу в несколько мест; и т. д.; то есть, в сущности, быть совершенно по-волчьи.

Несправедливо было бы кончить, не коснувшись западной ситуации. Первое, что следует сказать, это что высокая степень процедурной организованности взаимоотношений Автора с Редактором снимает значительную часть напряженки. Получив статью, Редактор сообщает Автору, в какой срок (обычно три месяца) он соберет необходимое число внутренних рецензий (обычно две) и, в случае благоприятных оценок, в какой срок (обычно за год-полтора) опубликует статью. Внутренние рецензии являются вдвойне закрытыми (*double blind*): Автор не знает, кто Рецензенты, Рецензенты не знают, кто Автор. Для этого Автор, а за ним, если надо, и Редактор, предельно «анонимизируют» статью; Автор знакомится с рецензией тоже в аналогичным образом обезличенном виде.

В современной российской аудитории, сколь угодно либеральной и просвещенной, рассказ о «двойной закрытости» неизменно вызывает недоверчивые смешки, да и вся картина внутреннего рецензирования принимается в штыки как типичный западный вздор. Никто не верит ни в анонимность процедуры («Все равно все всех знают и узнают!»), ни в объективность процесса («Все равно все делается по знакомству!»). Небезынтересны в этой связи два эпизода из моего американского опыта.

Как-то раз один из славистических журналов прислал мне на внутреннюю рецензию статью о

писателе, которым я как раз занимался. Мне, конечно, было любопытно, кто ее Автор, но по анонимному тексту я мог составить себе лишь его приблизительный научный портрет. Я решил, что это талантливый начинающий ученый, аспирант или молодой «доктор» (Ph. D., по-русски — кандидат). Я решил по-отечески (!) помочь ему и написал, что статья явно заслуживает опубликования, но Автору могут быть полезны следующие примерно двадцать замечаний и советов, каковые я старательно сформулировал. На стандартный вопрос (на бланке отзыва), требую ли я присылки мне переработанного варианта статьи, я ответил, что нет, ибо полностью доверяю Автору. Прошел, может быть, год, и, однажды, раскрыв очередной номер журнала, я увидел статью, которую рецензировал, а под ней — подпись... почтенного коллеги, автора многих книг. Мои замечания были по большей части учтены.

Это к вопросу о «все всех знают». А вот история на тему «по знакомству». Зная (в основном, издали) одного Главного, я предлагаю ему посвятить целую рубрику некой юбилейной теме. Он советуется со мной, кого еще пригласить, назначает сроки. Я подаю статью, она уходит на рецензирование, и в обусловленный срок Главный пересылает два анонимных и прямо противоположных отзыва. Согласно первому, статья никуда не годится, ее бесполезно дорабатывать, а потому Рецензент не дает конкретных советов: статью, по его мнению, надо просто выбросить и забыть.

Второй Рецензент, напротив, в восторге от содержания статьи (каковое он излагает с завидной четкостью) и ее стиля; он делает несколько мелких замечаний по композиции и рекомендует статью к немедленной публикации. Эти отзывы Главный сопровождает собственным письмом, где иронически комментирует положение дел в нашей профессии, сетует на трудность своих обязанностей и сообщает, что пользуясь своей ролью арбитра, решил статью опубликовать.

В двух последующих эпизодах картина американского редакторства предстанет менее идиллической.

Редактор одного из ведущих книжных издательств, в ранге, приблизительно так, Ответственного, по собственной инициативе находит меня и заключает со мной договор на книгу для его серии, мною ценимой. Года два я работаю над рукописью и с небольшим опозданием, осенью (эта деталь окажется важной) подаю ее. Получение издательством внутреннего отзыва (в высшей степени положительного) занимает почти всю зиму и весну, и как быстро я ни дорабатываю рукопись после этого, уже лето — год ушел. Далее рукопись поступает к нанятому со стороны Редактору по Стилю — вроде бы, то, что надо. Стилистическая правка приходит лишь весной и вызывает у меня множество сомнений, которые я, однако, подавляю, будучи все-таки иностранцем. (Игнорирую я лишь опасение Стилиста, что сравнение литературоведа с матадором может не понравиться фе-

министической общественности как проникнутое «мужским» духом.) Отсылаю исправленную рукопись и через какое-то время получаю от издательского Младшего невероятное письмо. Он, наконец, добрался до моей рукописи и ясно видит, что Стилист был в большинстве случаев неправ, и вот теперь ему, Младшему, приходится восстанавливать практически все, что я ранее скрепя сердце исправил. Я благодарю его, иронизирую по поводу того, что издательство умудрилось найти Стилиста, владеющего английским хуже иноязычного Автора, и обещаю когда-нибудь предать историю гласности. За этими делами опять наступает лето, а еще год с лишним книга проводит где-то между издательством и типографией (на стадии корректуры я окончательно перестаю разговаривать с Ответственным, но зато Младший работает толково) и выходит ровно через три года после сдачи рукописи.

Что тут можно сказать? Чем так редактировать, лучше вообще не редактировать. Если Рецензенту рукопись нравится, зачем тянуть с отзывом так долго (отрицательный отзыв — другое дело, его нужно аргументировать). Мало того, что Стилист никуда не годится, почему-то Младший заглядывает в его правку не до, а после Автора! У меня периодически возникало ощущение, что издание книг не является основным делом всех этих людей. Можно было бы заподозрить, что на самом деле они занимаются отмыванием каких-нибудь нарко-денег, но боюсь, что этого им бы никто не

доверил, — скорее всего, они просто предаются идеологически выдержанной тусовке... Я даже как-то сказал Ответственному, что они работают, как в России, — с той разницей, что россияне при этом испытывают острый комплекс неполноценности по отношению к своим, как они полагают, суперэффективным американским коллегам.

... Двое известных славистов устраивают международную конференцию по модной теме, под которую получают баснословный грант. Пообещав издать труды конференции, они (уже в роли будущих Редакторов) собирают у участников рукописи; на год забывают о них; кое-как составляют сборник, который к концу следующего года справедливо отвергается неким издательством; сидят на рукописях еще год; и, наконец, убеждают другое издательство (известное своей медлительностью) принять сборник. Детали опускаю, но на сегодня со времени конференции прошло пять лет, а корректур еще не было*.

За это время мой доклад был опубликован трижды — раз по-английски и два раза по-русски. Это естественно — Автор стремится печататься, у Редактора же какие-то другие задачи. В частности, если Редактор это бывший Организатор конференции, то все самое главное им уже достигнуто — престижный грант, конференционная тусовка,

* 2000: Том все-таки вышел.

огни рампы. Какая скука возиться после этого с чужими текстами!

Отличие от российской ситуации, конечно, налицо. Западный Редактор грешит не столько крутым вмешательством в текст Автора, сколько полным к нему равнодушием. Кроме того, бумага лучше...

P. S. Это было написано летом 1995 года и вскоре появилось в «Знамени» (1996, No. 2). Наличие печатного текста позволило отсылать к нему моих последующих Редакторов как к своего рода проекту договора. Один Младший даже сам доложил мне (по электронной почте), что вот, мол, прочел, проняло, и отныне он будет делать хорошо и не делать плохо. Я поздравил его с таким подходом, и в наших деловых взаимоотношениях наступил медовый месяц, но, будучи, увы, лишь Младшим, он, в конце гонцов, обнаружил свою институциональную природу.

Возникает вопрос (и мне его задавали): неужели на моем авторском веку не попадались и толковые редакторы? Попадались. Называть их поименно не буду, как не называл описанных выше, но искреннюю, хоть и запоздалую, им благодарность выразить рад, вместе с извинениями, что принес их в жертву риторически соблазнительной схеме классовой борьбы между Редактором и Автором. Надо бы написать о них во весь голос, — по-гоголевски отвести под это целый второй, да, пожалуй, и третий том.

Пришелец

Когда четверть века назад я заговорил об отъезде, один приятель-физик (еврей, но не дурак выпить) сказал: «Зато тут ты с полуслова понимаешь каждую пьяницу». — «А зачем мне его понимать», — холодно ответил я. Однако разговор этот разбередил-таки во мне тайный семиотический страх потери безусловного контакта с окружающими. За годы эмиграции волнения улеглись — не потому чтобы у меня прорезался, наконец, абсолютный слух, а потому что в разношерстной Америке хватает относительного.

Владея английским лучше половины местных жителей, знаюсь я в основном с российской публикой. Но у меня есть и набор американских масок, и среди них роль бухгалтера жилищного кооператива. Эту чуждую должность я взвалил на себя ради двух роскошно разросшихся деревьев, заслоняющих мою верхнюю веранду от улицы. Соседи периодически покушаются срубить их и заменить молодыми саженцами. Аргументация варьируется: стрижка крон дорожает, корни подтачивают фундамент и корежат асфальт, возможны иски, штрафы. Но я провижу за этим подспудную приверженность американцев типовому архитектурному эскизу: геометрически четкий фасад и на его фоне дерево — изящная вертикальная палочка с парящим над ней полукруглым росчерком. Я горячусь на собраниях, пишу полные риторического яда письма председателю кооператива, нако-

нец, угрожаю отставкой, — и понимание наступает.

В остальном жизнь кондоминиума лишена драматизма. Уровень преступности в Санта-Монике невысок: нет граффити, не слышно ограблений. Цена недвижимости растет. Беспокоят разве что бездомные, забредающие по своим нуждам в наш подземный гараж. На оборонительную автоматическую решетку кооператив скупится, а наступательные действия затруднены атмосферой святости, окружающей в Штатах все мыслимые меньшинства. Для бомжей издается даже специальный печатный орган под остроумным названием «Hard Times», сочетающим английскую газетную ономастику («The New York Times») с диккенсовскими коннотациями («Тяжелые времена»).

Когда перед нашей гаражной дверью (она ближе всех к улице и водоразборному крану) стали обнаруживаться следы ночных попоек, утренних омовений и повседневных оправок, Катя быстро вычислила виновника — недавно появившегося в квартале бомжа, облаченного в стандартное серо-черное тряпье, но примечательного своей странной позой. Припав на одну ногу и глядя куда-то вдаль, это приبلудное существо часами неподвижно стояло на углу напротив, и когда Катя убедила меня, что как член правления, квартировладелец, гражданин и мужчина я больше не могу уклоняться от вызова, я знал, где его найти.

Мобилизовав свои запасы праведного собственного гнева, с одной стороны, и по-

литкорректной выдержки, с другой, я пересек улицу, подошел к бродяге и подчеркнуто внятным, гипнотизерским тоном, каким говорят с детьми, больными и иностранцами, продекларировал:

— Вы не должны ходить туда. — Я пальцем указал на гараж. — Это частная собственность. Туда нельзя. Если вы будете туда ходить, вы знаете, что будет. Мне придется вызвать полицию. И вы знаете, что будет. Больше туда не ходите.

В продолжение этого монолога на Special English его адресат сохранял полную непроницаемость. Он не изменил позы, не перевел на меня своего потустороннего взора, вообще никак не удостоил меня вниманием. Я решил проиграть пластинку еще раз.

— Послушайте, — начал я. — Вы не должны ходить туда. Это частная территория...

Бомж повернулся ко мне, и я увидел его правильное, дочерна загорелое лицо, выразительные глаза и четко очерченные губы, которые произнесли:

— What are you, some kind of fucking alien?!.. («Кто ты такой — какой-то чужак ёбанный?!»)

Alien — богатое слово: оно значит и «чужеземец», и «иммигрант без гражданства», и «инопланетянин, пришелец». Крыть было нечем. Бормоча «Police, I will call the police...» («Полицию, я вызову полицию..»), я удалился на свою территорию — отчитываться в провале карательной операции и смаковать ее семиотические аспекты.

Семантика не даром уступила ведущую роль прагматике. Кое-как мы с настоящим американцем все-таки поняли друг друга — на другой день он исчез с нашего горизонта. Видимо, откочевал в какие-то более родные палестины, где не злоупотребляют словом «полиция» и хотя бы не коверкают его по-басурмански.

Смерть В. Ю. Розенцвейга

Он между нами жил... То есть, в сущности, жил за границей (родился он в Румынии, учился во Франции), хотя мы этого не понимали, настолько он был на месте. Он понимал — и нас от эмиграции отговаривал. Все же, в конце концов, он и сам эмигрировал еще раз, хотя куда, знал уже нетвердо; иногда ему казалось, что он в Бостоне, но как-то тоже и в Париже. (У Гоголя: «Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай».) Поэтому, когда он писал о теории перевода и интерференции, он владел материалом изнутри.

У него был акцент, которым окрашены многие из его запомнившихся фраз.

— Завтхха в шьесть! — Это он (всего лишь 48-летний, поверить трудно!) назначает мне встречу, чтобы взять меня, только что окончившего филфак МГУ с выговором в личном деле, на работу в Лабораторию.

— Йита, соедините меня с... этой... (имена и фамилии он забывал)... *с этой ду'ой!!!*. — Рита, ори-

ентируясь на интонацию, набирает нужный номер.

— Читал (с легким намеком на «цитал») статью К. Вот он как бы угова'ивает даму, ласкает, готовит, подогйевает, а в самый последний момент: Схъ! — и в сто'ону...». — Тыльной стороной ладони В. Ю. описывает дугу вбок. (Его «ср.», то есть, модное гуманитарное «сравни», транскрибирую, как могу.)

На шутки в свой адрес реагировал безупречно. В 1962 году мы со Щегловым, его молодые подчиненные, не спросив, вставили в программу организованного им заседания памяти Эйзенштейна его доклад, которому дали пародийно розенцвейговское название: «С. М. Эйзенштейн и теория перевода». Ознакомившись с этим капустническим документом, В. Ю. только понимающе улыбнулся (так что процитировать с акцентом нечего). Доклад сделал.

В общем, редкий пример отцовской фигуры, которую нет ни малейшей охоты деконструировать. Он сделал для нас и из нас, наверно, лучшее, что можно было сделать.

На галерах

Невеста была чуть ли не вдвое старше жениха — ей было за сорок, ему под тридцать. Она принадлежала к числу тех американок, которые говорят в точности так, как в commercials (причем непонятно, кто больше заслуживает премии за мастер-

ство имитации — актрисы рекламы или их жизненные подоби́я), и способны на пятом десятке надеть железки для выпрямления зубов. При всем при том она была неплохая тетка, здоровая, добрая, веселая. Разойдясь, после долгого сожительства, со своим лосанджелесским бойфрендом, она перебралась в Сан-Франциско, нашла там работу (по продаже чего-то художественно-сангигиенического), а затем и спутника жизни, на свадьбу с которым теперь приглашала приехать.

Свадьба устраивалась, как говорится, по всем правилам. Назначенной на 4-е июля — День Независимости, ей предстояло быть сыгранной в Сан-Францискском заливе, на специально зафрахтованном судне, под аккомпанемент праздничного фейерверка, в присутствии друзей, созданных из разных городов и штатов.

Институт брака давно не вызывает у меня энтузиазма, тяжело переносу я и parties. Но Катя не могла не поехать (это была ее подруга), и мы решили воспользоваться случаем прокатиться в Сан-Франциско. Мы приехали накануне, но едва не опоздали на посадку ввиду невозможности запарковаться где-либо по соседству с пристанью. Оставив машину в отдаленном гараже и торопливо продравшись сквозь веселящиеся толпы, мы с трудом отыскивали нужный причал и, предъявив пригласительные карточки, окунулись, наконец, в долгожданную атмосферу эксклюзивности — были направлены к специальным сходням и поднялись на борт.

С одной стороны, все было как на любом праздновании — вручение подарка, представление незнакомым гостям, легкая выпивка, ожидание гвоздя программы и серьезной еды. С другой стороны, дело происходило на корабле, из чего вытекали особые обстоятельства — как смягчающие, например, верхняя палуба с ее вечерним бризом, перспективой фейерверка и видом на залив и город, так и отягчающие, например, полная и абсолютная невозможность удалиться, осознанная, впрочем, не сразу.

Задержке осознания способствовала сценическая неожиданность: самый брак оказался не оформленным заранее, то есть, в данном случае, на суше, так сказать, на твердой муниципальной/церковной почве, а подлежащим заключению в открытом море, на колеблемом волнами плавсредстве, перед взорами пораженной публики. Когда же все собрались на верхней палубе, невеста в белой фате, жених во всем черном, последовал сюрприз номер два: церемонию стал проводить не обычный чиновник или священник, а обряженный в парадную белую с золотом форму морской капеллан, заказанный вместе с судном, фуршетом, барменом и прочей обслугой у все той же фирмы по организации свадебных и иных пикников. В подтверждение своих полномочий он сослался ни больше, ни меньше, как на традиции британского колониального флота.

Сюрпризы не кончились и на этом. Вместо того, чтобы, как водится, торжественно признать

над собой власть священных уз брака (for richer or poorer... till death do us part и т. д., «в богатстве и в бедности... пока не разлучит нас смерть...»), пусть обеспеченных всего лишь курсом акций паровой компании, сначала жених, а потом и невеста прочитали каждый свою собственную версию брачного обета — явные продукты creative writing. Не помню точно, в каких выражениях, но обе брачующиеся стороны объявили о своей полной готовности примириться практически с любыми неожиданностями в поведении друг друга и обоюдном согласии на расторжение брака по первому требованию и без каких-либо претензий, аннексий и контрибуций. Все это невеста продекламировала с тяжеловесными сентиментальными ужимками, так что ее контркультурные пассажи звучали до предела клишированно. Зато жених держался безупречно и свою партию провел с редким тактом. Как говорят американцы, he was a natural — был одарен от природы.

Вообще, присмотревшись к его полноватой фигуре, бархатым глазам, гладкому лицу и мягким артистичным манерам, я задался вопросом, не состоит ли он членом особенно многочисленной как раз в Сан-Франциско голубой прослойки — до поры до времени, может быть, тайно от себя самого. Ибо в таком случае разрешалась загадка столь театрализованной свадьбы, этой костюмированной theme party, участникам которой предложено было явиться в одежде брачующихся, шаферов, свидетелей, морского капеллана и гостей на

свадьбе. Все становилось на свои места. Невесте нужно было показать, что она еще не вышла из бракосочетательного возраста, жениху — что он не находится за пределами бракосочетательного пола.

Программа между тем продолжалась. Помимо еды, выпивки и фейерверка, она включала тщательно отрепетированный юмористический рассказ, силами ближайших друзей, об истории знакомства жениха и невесты, наглядно иллюстрировавший их взаимную суженость. Иногда на parties подобное ревю включает демонстрацию любительских фильмов, семейных и туристских фотографий, а также совершенно посторонних картинок, сопровождаемых шуточными комментариями, но на этот раз обошлось без видеоряда.

Я томился — деваться было в буквальном смысле некуда. Но вот, наконец, корабль завершил маневрирование по заливу и причалил к пирсу. Сразу уйти, конечно, нечего было и думать. Мы встали в длинную очередь на прощание с новобрачными. Она постепенно двигалась, и с каждым шагом я чувствовал приближение момента истины, неизбежно просившейся наружу. Подошел мой черед. Невесту я поздравил, поблагодарил и поцеловал стандартным образом, жениху же сказал:

— У вас отлично получается. Вам надо делать это почаще. (You are very good at it. You should do this more often.)

«Нам надо делать это почаще» — американская формула вежливости при прощании с участника-

ми совместного мероприятия. Катя, которой я не преминул похвастаться сказанным, только покачала головой. Жених же, как будто, не обиделся. Приехав через год в Лос-Анджелес, они посетили нас, и мы полдня премило общались. Из дому тоже не очень убежишь.

На фоне Пушкина...

Окуджаву я люблю скоро полвека, дивясь, что проигрываемое на компьютере *Извозчик стоит, Александр Сергееч прогуливается, / Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет* и сегодня вызывает слезы, хотя сотворение кумиров из Пушкина и Лермонтова противоречит не только моим просвещенным взглядам, но — невольно — и словам самой песни: *А все-таки жаль, что кумиры нам снятся попрежнему / И мы иногда все холопами числим себя*. Так или иначе, эзоповские полуобещания не обманули: «что-нибудь» произошло. А неполная выдавленность кумира из холопа, возможно, даже способствует ощущению близости.

Окуджава долго шел в связке с Галичем и Высоцким. Про полузабытого ныне Галича приходилось слышать, что он — единственный настоящий поэт после Пушкина. «Володя» все еще звучит сам и слышен в большей части того, что поется другими, но на бумаге безнадежно проигрывает.

Первую критику Окуджавы слева я услышал от Лимонова — году в 70-м. Задним числом она не удивительна, но тогда поразила решительным отвер-

жением шестидесятичной поэзии как прекрасной и безжизненной. В результате, я впервые задумался об Окуджаве как предмете исследования, но ни его, ни Ахмадулину (ей тоже попало) не разлюбил. В науке, которую я представляю, полагается равномерно любить ссорящихся между собой подзащитных

Как-то я чуть не месяц пролежал в постели с тяжелыми мигренями. Мигрени были от советской власти (и раз навсегда прошли 24 августа 1979 года с пересечением государственной границы), от нее же — возможность числиться на работе, лежа без движения в темной комнате с примочками на глазах. Впрочем, я не совсем бездельничал. Читать я не мог, но мог слушать, и Таня ставила мне в соседней комнате Окуджаву. Я и так знал почти все наизусть и уже пытался объяснять своим друзьям-лингвистам, бодро печатавшим под Окуджаву походный шаг, в чем состоят его далеко не маршеобразные инварианты. А тут тексты стали прокручиваться во мне с машинной регулярностью, буквально напрашиваясь на структурный анализ.

Идея изучать Окуджаву теми же методами, что Пастернака, Мандельштама и Пушкина, вызвала недоумение у нескольких ученых коллег, — но не у М. Л. Гаспарова, которому я на них пожаловался и который в ответ продекламировал отточенную (полагаю, заранее) формулу: «Только занимаясь второстепенными поэтами, мы смеем надеяться, что не забудут и нас, третьестепенных филологов».

Напечатать статью об Окуджаве тогда нечего было и думать, но доложить устно не составляло проблемы, и я сделал о нем два доклада, из числа самых удачных в моей жизни.

Первый — на странной семиотической конференции в «Информэлектро» (1978), собравшей элитарную компанию участников (помню Ю. М. Лотмана, В. В. Иванова, Л. Н. Гумилева, Б. М. Гаспарова...) и толпы слушателей со всей Москвы. Доклад был сырой, извиняющийся («Я думаю выявить то-то; может быть, дело в том-то...»). Непритворные пробелы сыграли магическую роль — каждому было что сказать, каждый мог почувствовать себя соавтором и все с легким сердцем кивали докладчику.

Окрыленный успехом и доделав работу, я вызвался выступить на семинаре в ВИНИТИ у Ю. А. Шрейдера и В. А. Успенского, и загорелся идеей пригласить самого Окуджаву. Я не был с ним знаком, но по цепочке (через Юру Левина) получил его телефон и разрешение позвонить. Бард был бархатно ласков, обещал придти, просил только напомнить поближе к делу. Но когда я позвонил накануне, он ласково извинился, что быть не сможет — болен, и ласково же спросил, когда следующий раз. Я со свойственной мне мерзкой находчивостью ответил, что следующего раза не будет — это не концерт.

Следующего раза, действительно, не было, но на концерт получилось подозрительно похоже. Огромный зал, вмещающий человек 500, был за-

полнен энтузиастами, с полуконспиративным возбуждением воспринимавшими применение полуопальных методов к полузапретному материалу. А какую-то из песен, кажется, даже прокрутили на магнитофоне в порядке иллюстрации.

Личное знакомство произошло лет через семь в Лос-Анджелесе, в эмигрантском кругу. Окуджава дружил с Олей (Матич), и через нее я знал, что он ценит мои статьи о нем. (На первую из них, посланную из Итаки, он откликнулся любезным письмом, но с годовой задержкой; я гадал — не понравилась? — но он извинился незнанием моего отчества, а без него какие же комплименты?) В один из приездов они с женой гостили в роскошной квартире в Марина-дель-Рей, с видом на океан; помню, как на велосипеде отвозил им какое-то лекарство из Олиных несметных запасов.

От Оли же я узнал о его недовольстве моим интервью с примирительной характеристикой Лимонова («плохой идеолог, но хороший писатель»): «Нельзя же хвалить Лимонова...». Однако, когда мы очередной раз увиделись в Москве (на праздновании третьей годовщины независимости «Знамени»), кумир был опять чарующе ласков; о претензиях не обмолвился.

Следующего раза не было — и отныне не будет, а жаль.

P. S. Только что сообразил, какой поэтически безупречный лейбл — *Булат Окуджава*. Ямб имени (у-А) и хорей фамилии (а-у-А-а) сцепляются в симметричный амфибрахий: у-А-а-у-А-а.

Голубой кит

Тележка нашего университетского почтальона пестрит разнообразными стикерами. Среди них такой: *GONUKEA GAYWHALE FOR JESUS**! Подрывом чуть ли не всех популярных клише — политически корректных и наоборот — дышит здесь каждое слово. Может, не все потеряно?

Народ книги

Я любил смотреть телевизор, Катя нет. Начитанная (как и приличествует «коэну» — потомку Аарона), она отказывалась смотреть даже образовательные программы.

Как-то вечером шла передача о легендарном escape artist начала века Гарри Гудини (Houdini).

— Катя, иди смотреть, тут документальная хроника, — кричу я сверху.

— Кончится, расскажешь.

— Катя, скорее, тут кое-что интересное выясняется!

— Ну, что там может выясниться? Что он еврей?...

— Как ты догадалась?

— А что еще может выясниться?! Все остальное и так известно.

* Букв.: «Пойди взорви ядерной бомбой гомосексуального кита во имя Христа!»

Оказалось, что Гудини — псевдоним Эриха Вайсса (Erich Weiss), еврейского эмигранта, с еврейской мамашей, позаимствовавшего свое звучное имя у знаменитого предшественника, Робер-Удена (Robert-Houdin), разоблачению магии которого он посвятил одну из своих книг. Он собрал уникальную библиотеку по магии и фокусничеству и завещал ее Библиотеке Конгресса.

В другой раз была передача о Нострадамусе.

— Катя, иди посмотреть, очень интересно.

— Когда выяснится, что он еврей, скажешь.

— Уже...

Такое выясняется, как правило, близко к началу, потом герой и сам забывает о своем происхождении. Нострадамус был крещен и со своей ультракатолической фамилией (так сказать, «Богородицкий») был принят в медицинскую школу. Литературное его наследие известно — даже моей пармахерше.

Очередным объектом выяснения стал аббат (!) Лоренцо да Понте, либреттист «Фигаро» и «Дон Жуана». Имя он взял у монсиньора, крестившего его и братьев вместе с отцом, когда тот после смерти первой жены захотел жениться на католичке. Моцартовский эпизод был одним из многих в жизни да Понте. Последние три десятка лет он прожил в Америке, где торговал вином и книгами, основал итальянскую кафедру Колумбийского университета и Итальянскую оперу и написал книги по итальянской литературе и «Мемуары»...

На телефильм о кровожадных Борджиа я заманивал Катю как художницу — обилием картин и интерьеров, но она держалась твердо. По окончании я спустился к ужину.

— Я, помнится, где-то читала, что Борджиа были из испанских евреев...

— Ну, это ты зарываешься. Ничего такого не выяснилось. Проверим.

Я достал две увесистые еврейские энциклопедии — одну российскую, царских времен, другую сравнительно новую, американскую. Борджиа в них не было.

— Это, конечно, не доказательство, — сказал я. — Энциклопедии однотомные. Надо посмотреть в полную. Но если и там не будет...

— Там будет. Полная еврейская энциклопедия тем и отличается от однотомной, что в однотомной евреями оказываются некоторые, а в полной — все.

P. S. Семейству Борджиа не помогла и полная. Это бывает. Даже с выходцами из Испании. Вот и Лимонову пришлось написать о себе: «Такой интеллигентный нееврей».

Но, что характерно, сбой произошел по ветхозаветной формуле $3+1$, обычно (например, в «Книге Даниила») применяемой для особо сильного взлета на четвертом витке. Ссылки на литературу опускаю.

Сексминимум

Уже пару лет я являюсь старейшим членом своего кооператива — как по возрасту, так и по длительности обитания. Американцы очень мобильны: средний срок владения недвижимостью семь лет. И это именно владение, инвестиция, а не проживание, *nothing personal*, в доме не столько живут, сколько поддерживают его обобщенно-товарный вид в ожидании скорой продажи. За десять лет на моих глазах, как по команде, сменились все жильцы, в некоторых квартирах дважды.

Чуть короче стаж у председателя кооператива (я — бухгалтер), Энн, одинокой, но бодрой, разумной, невредной. Узнав, что Катя художница, Энн заказала ей фреску для прихожей. В остальном ее квартира стерильно чиста (все белое), в ней никого не бывает, и сексуальная ориентация Энн остается загадкой. Ее внешность, как бы это сказать, схематична — природа, по слову классика, долго над ней не мудрила. В ее резком голосе без нюансов есть что-то мужеподобное, но, судя по всему, из волнующих античных приставок (*гетеро-, гомо-, би-, авто-, пан-...*) ей больше всего подходит *а-*.

Власть мы с ней захватили давно, в борьбе с интриганами первого состава. Энн купила свою квартиру у сослуживца, бывшего председателя кооператива, который, несмотря на начальственное положение и мужественную стилистику (име-

нем ему служили инициалы Джей Би, роднившие с маркой виски), не вынес склок и продал, не торгуясь. Но для старого советского воробья, даже не самого стреляного, американские интриги, будь то на кафедре (я имею в виду свой корнелльский опыт) или в кондоминиуме, элементарны, Ватсон. Сключников я пересидел («он живо у меня квартиру поменяет»), положительную Энн, взяв на себя бухгалтерию, убедил занять президентский пост, и в доме, наконец, стало тихо.

У себя в фирме аудио и видеозаписи Энн — начальник среднего звена с десятком подчиненных, и звонить ей надо через секретаршу. Тут все, казалось бы, стабильно, как вдруг мы замечаем перемену — она совсем перестает бывать дома. Встает в 4 утра, бегаёт, уезжает в офис, но после работы ее тоже нет, а в 9 вечера она уже спит. Неужто, думаем, грянула сексуальная революция? Но тогда почему Энн доступна в воскресенье — самое романное время?

Оказывается, мобильность нашла себе другой типичный выход — *career change* («перемену профессии»). Энн надоела роль бюрократки, и она решила переквалифицироваться в консультанты по вопросам семьи и брака. Каждый вечер в будни и весь день в субботу она без отрыва от производства посещает соответствующие курсы, почему и занята под завязку.

Проходит несколько лет, и однажды вместе с кооперативными бумажками я получаю от нее небольшую рекламку — извещение об открытии ею

психотерапевтического кабинета (еще один адрес и телефон), пока что в качестве практиканта (intern), под наблюдением более мощно дипломированной специалистки, но тем не менее. Она даже дает мне несколько таких карточек, на случай распространения среди знакомых. Слово **psychotherapy** («психотерапия») выгравировано крупным жирным шрифтом, зато с дружественной маленькой буквы, а под ним, мельче, но без излишней скромности, намечен круг потенциальных клиентов: **individuals · couples · families · groups** («лица — пары — семьи — группы»)

Кто к ней пойдет, недоумеваем мы с Катей, когда ее квакающий голос на автоответчике напроочь отсекает всякую мысль об интиме? Время от времени я справляюсь о ее успехах на новом поприще. Она отвечает, что не все сразу, предстоит постепенное завоевание репутации, но в общем она довольна, что последовала внутреннему позыву и нашла себя. Если дело пойдет, она продаст квартиру и купит дом.

— Как она может советовать, не имея личного опыта? — продолжает гнуть свою линию всесторонне развитая Катя.

В ее речи мне слышатся интонации, знакомые по дискуссиям на эстетические темы («В живописи понимают только художники»). Почувяв угрозу собственной спекулятивной профессии, я занимаю оборону на дальних подступах.

— Исследуют же литературоведы литературу, хотя сами не пишут...

Но Катя настроена мирно. Ей достаточно крови Энн.

— Ну, не пишут, но хоть читают!..

Диагноз

Среди приятелей на родине я слышу ультра-западником, но, конечно, знаю за собой неистребимые пережитки почвенничества. Я люблю останавливаться не в гостинице, а у знакомых, и вообще полагаться на личные связи — будь то в починке компьютера, ремонте квартиры или сборе материала для статьи. Со своей стороны, я исправно устраиваю приезжим соотечественникам лекции, встречаю их в аэропорту, поселяю у себя, кормлю, пою и развлекаю. В одних случаях мне это просто приятно, в других естественна дружеская услуга, в третьих долг платежом красен, но некоторые можно объяснить только действием незримых клановых уз. Их власть над собой я осознал давно, давно смирился, расслабился и стараюсь получать удовольствие. Бывают, однако, случаи из ряда вон.

Начать лучше всего, пожалуй, старыми словесы, по испытанным образцам повествовательной корректности: *В одном департаменте служил один чиновник...* Вообразим себе одну коллегу, сочетающую возвышенную риторику с потребительским нахрапом; без устали морализирующую по личным и общественным поводам; умело быющую на ваше чувство вины, чтобы требовать новых приглаше-

ний, гонораров, транспортных и иных крупных и мелких услуг; видящую себя не только научной и политической фигурой, но и интересной рассказчицей, очаровательной женщиной, желанной гостей. Добавим, для пущего невероятия, что свои проповеди и отповеди, полные ленинского сарказма, она интонирует на ерническом распеве, выдающем знакомство с Бахтиным, Зощенко и Булгаковым. А теперь представим, что она ваша старая знакомая и вы, хотя и знаете ее насквозь, пригласили ее на обед, а перед этим на прогулку по городу, в связи с чем она в амплу бедной родственницы вытребовала, примерила и подвергла придиричливой критике ряд предметов вашего гардероба; что за обедом она долго отчитывала вас за неправильное обращение с уважаемым коллегой, а парой дней раньше публично приравняла вашу демифологизацию Ахматовой к поведению советского хама, вынуждающего усталую от работы и беготни по магазинам жену саму покупать себе цветы на 8-е марта (для нее что Анна Ахматова, что Клара Цеткин, лишь бы шла в дело); что вы, будучи скованы законами гостеприимства, с виноватой улыбкой целый вечер сносили все это и вот, наконец, захлопнули за ней дверь.

— Нет, Катя, не пойму, как это я сам в энный раз приглашаю ее, чтобы потом терпеть ее беспардонность?! — восклицаю я. — Я ведь далеко не ангел. Что заставляет меня так попадаться?!

Катя, как всегда, наготове.

— Мазо-нарциссизм.

— Мазо-нарциссизм? Ну, мазохизм еще понятно. А нарциссизм-то мой здесь при чем?

— При том, что ты упиваешься не только собственными мучениями, но и собственным превосхождением. Думаешь: как я там ни плох, есть хуже.

Sigmund, please, sorry! («Учись, Зигмунд!»).

Губернатор острова Борнео

Лет пять-шесть назад, когда Роман Тименчик один семестр преподавал в Лос-Анджелесе (в UCLA), мы как-то повезли их с Сузи погулять в горы. Стемнело, но дорогу разобрать было можно. Однако, когда, услышав какое-то уханье, Катя заявила, что высоко на эвкалипте она видит сову («вон она!»), ей никто не поверил, и я стал изгиляться на тему о художниках, которые «так видят». Но тут какая-то птица действительно перелетела с указанного эвкалипта на другой, подтвердив остроу Катиного зрения, Катя же, великодушно сменив тему, привела любимую фразу из Ильфа и Петрова: «Прилетели колотушка, бибрик и синайка».

Рома, вопреки своей репутации абсолютного знатока текстов, знакомства с цитатой не проявил. Не помню точно, но, кажется, он даже спросил, что это за птицы, и Катя сказала, из «Записных книжек». Рома осторожно усомнился, Катя стала настаивать, Рома умолк, я сказал, дома проверим, и дискуссия закончилась. После прогулки мы завезли Тименчиков, а на обратном пути я стал от-

читать Катю за неуместность источниковедческих препирательств с самим Тименчиком:

— Если Тименчик говорит, что это не из «Записных книжек», значит это не из «Записных книжек».

— Но я же помню...

— Надо понимать, с кем имеешь дело. Тименчик подобен тому английскому джентльмену, на примере которого иллюстрируется понятие understatement. Когда среди его гостей возникает спор о том, что такое Занзибар, и кто-то говорит, что это такая птица, кто-то, что это рыба, и т. д., — он долго отмалчивается, пока, наконец, не позволяет себе осторожно предположить, что, кажется, Занзибар где-то в Африке, — и это при том, что в свое время он 20 лет прослужил губернатором Занзибара! Если Тименчик говорит, что неуверен, что цитата из «Записных книжек», значит, у него есть веские основания, типа того, что он только что написал работу о подтекстах этих «Книжек» или прочитал о них аспирантский курс, а возможно, и то, и другое.

Катя выслушала меня терпеливо, но дома погрузилась в «Записные книжки». Результат, как я и ожидал, получился отрицательный, что позволило мне еще раз любовно отполировать экс-губернаторский образ Тименчика. Но Катя не сдавалась и перешла к рассказам и фельетонам, в одном из которых («Как делается весна»), в конце концов, обнаружила-таки колотушку, библика и синайку.

Партия закончилась, таким образом, ко всеобщему удовольствию, о чем по телефону и было доложено Тименчику. Источник цитаты он мысленно запротоколировал, свой англоизированный портрет молчаливо оприходовал, в чтении спецкурса по проблемам художественного перевода с русского на иврит на материале «Записных книжек» сознался.

В тисках формы

Мы с Анатолием Найманом сверстники, познакомились в Ленинграде в начале 70-х, не виделись лет двадцать, летом юбилейного 89-го столкнулись во двореике ИМЛИ, и он подарил мне только что вышедшие «Рассказы о Анне Ахматовой» (с зияющим *о Анне* – чтобы, не дай Бог, не получилось *о бане*). Прочел я их лет через пять, по ходу своей ахматоборческой кампании, и нашел в них не просто ценное военное сырье, а готовый склад оружия, хотя и замаскированный под мирный объект.

С тех пор Найман напечатал уже откровенно скандальное «Б. Б. и другие», где со своим бывшим приятелем церемониться не стал (Б. Б. — не А. А.), так что писать о нем одно удовольствие: все заранее позволено. Тем более, что на мою ахматовскую статью он отозвался полублатным наездом под названием «Витек и Алик». *Noblesse, однако, oblige*. Санкций на жертвоприношение Толика я решил дожидаться непосредственно от Аполлона.

Божественный глагол застал меня погруженным в заботы суетного света на посткоммунистической конференции в Иерусалиме, собравшей, по манию Д. М. Сегала, цвет российской гуманитарии (весна 1998 г.). Заседания проходили при переполненном местной интеллигенцией зале. Выступающие говорили с массивной радиофицированной трибуны несколько сбоку, а в центре высился монументальный стол президиума, за которым располагались председатель и участники данной секции каждый со своим микрофоном; надо всем этим хэппенингом демиургически царил сам Дима Сегал с, так сказать, микрофоном номер один. Для реплик с места имелось еще несколько микрофонов на длинных шнурах, которые по знаку свыше специальные связисты тянули в гущу публики.

Мы с Найманом держались взаимно настороженно, но корректно. При первой же встрече я заверил его, что ожидаемого этического шока от «Б. Б.» не испытал, а вот некоторые конструктивные просчеты не мог не констатировать. Этот двойной удар он принял, не дрогнув, и вполне парламентарно заслушал мои соображения.

Вообще, после десятилетнего перерыва я с удовольствием отметил его неизменное изящество, по-прежнему складную фигуру и хорошо сохранившуюся красоту — все еще свежее лицо со все еще светящимися глазами в обрамлении все еще черных волос, — и задним числом снова отдал должное вкусу Анны Андревны. Он появлялся в элеган-

тном вельветовом пиджаке с аккуратными замшевыми заплатами на локтях, за столом демонстрировал отменные манеры, а сразу после ужина вежливо откланивался и исчезал до утра. Заинтригованный этой неукоснительностью, я понимающе приписал ее толково налаженным тайным свиданиям, но высказав свое предположение вслух, получил от застольцев успокоительное разъяснение, что после перенесенного сердечного приступа Найман строго соблюдает режим и диету — какие свидания, ничего лишнего, инфаркт залог здоровья.

Заседания между тем шли своим чередом, пришло время выступать и Найману. Выйдя на трибуну и извинившись, что начнет издалека, он заговорил о том, каким знаменательным событием является настоящая конференция, как долго она готовилась, и как он помнит, как несколько лет назад, когда еще жив был сэр Исайя, он, Найман, в Лондоне (или Оксфорде?) рассказал ему об этой идее, тот поддержал ее, и вот теперь, наконец... Но тут его в свой микрофон громовым голосом перебил Сегал:

— Этого ничего не надо. Переходите к докладу.

— Я только хотел...

— Не надо, Анатолий Генрихович. Переходите к докладу на заявленную тему. Ваше время уже идет.

После некоторого замешательства Найман, приняв позу неоцененного благородства, приступил к докладу, из которого не помню ничего, кро-

ме уже знакомого изысканно зияющего *о* – в словах *поэт, поэзия, поэтический*.

На другое утро мы с Найманом оказались самыми ранними пташками за завтраком, сели вместе, и он тут же заговорил о вчерашнем инциденте.

— Произошло недоразумение. Меня не так поняли.

— По-моему, Толя, вас поняли именно так — в смысле, что вы, вместе с покойными Исайей Берлином и Анной Андревной, а вовсе не Дима Сегал, организовали эту конференцию.

— Ну, эти инсинуации, Алик, я оставляю на вашей совести, — произнес Найман с достоинством, и наша застольная *causerie* потекла дальше как ни в чем не бывало.

А вечером состоялось последнее заседание той секции, на которой выступал Найман, и заключительное слово было предоставлено председательствовавшей на ней Г. А. Белой. Большинство участников располагались в первом ряду, под трибунами; мы с Найманом сидели рядом на крайнем левом фланге. Раздавая оценки докладам, Белая особенно критически отозвалась о наймановском (не исключаю, что из-за «Б. Б.»). Найман зашептал:

— Ну, я ей сейчас дам...

— Сомневаюсь.

— Не сомневайтесь, я уже знаю, как я ей врежу... — Он застрочил на листке бумаги.

— Не-а, не врежете.

— Почему это? — он начинал кипятииться.

— По причине, которая вам как мастеру художественной формы должна быть понятна...

— Это по какой же?

— По той, что особенностью формы является ее завершенность, замкнутость. — Двумя указательными пальцами я обрисовал в воздухе круг, почти замкнув его, но оставив внизу некоторый зазор.

— Ну, и что?

— А то, что, речь, которую мы сейчас слушаем, является в жанровом отношении заключительной, — я, наконец, позволил пальцам соприкоснуться, — и по закону композиции не предполагает никаких дальнейших высказываний. — Я еще раз описал пальцами круг перед носом Наймана и победительно замкнул его. — Вам просто не дадут слова.

— Пусть попробуют, — сказал Найман и всем телом изготовился к прыжку.

Белая, наконец, кончила и стала сходить с трибуны. В ту же секунду Найман устремился вперед, требуя слова, и протянул руку к микрофону. Навстречу ему из-за главного стола поднялся Сегал со своим микрофоном в руках. Найман защитно выставил вперед свободную руку, но Сегал продолжал на него надвигаться. Зрелище их повторной стычки вызвало шум и оживление в публике, когда раздался усиленный громкоговорителями, все перекрывающий, подчеркнуто членораздельный голос Сегала:

— Анатолий — Генрихович — я — вам — да-Ю — микрофон!

Раздался общий хохот, в котором потонул наймановский отпор Белой, так что я мог поздравить себя с полным успехом постановки, оставшейся, впрочем, анонимной.

Гордиться ли этим, не знаю. С одной стороны, вроде бы правильно — режиссер умирает в актере, но с другой, получается какое-то трусливое закулисное подзуживание. Тем более, что в свое время подобное обвинение мне уже предъявлялось.

На офицерской стажировке в военном лагере зимой 1959 года филологи подыхали от безделья. Валялись на нарах, слонялись по казарме, пили, пели, доходило до драк. Аркадьев и Баумов схватились с применением технических средств — солдатских ремней; на бритых головах пряжки оставляли красные следы. Я бросился разнимать, и общими филологическими усилиями побоище было прекращено. В дальнейшем по ряду причин именно мне комсомольское бюро факультета вынесло выговор с занесением в личное дело (об этой истории я уже писал). А на комиссии по распределению на работу ее председатель, печально известный декан факультета Р. М. Самарин, спросил с нарочитым безразличием к фактам:

— Жолковский, что у вас там вышло с Баумовым?

— У меня ничего, Роман Михайлович.

— Зачем вы на него полезли?

— Я не лез, Роман Михайлович.

— Ну, не лезли, так подзуживали.

— Я не подзуживал, Роман Михайлович, я разнимал.

— Подзуживал, разнимал... какая разница?! Не подзуживайте, Жолковский, — закончил он на отечески поучающей ноте и выдал мне направление в Пензу (от которой меня спасла лишь причастность к как раз забрезжившему машинному переводу).

Действительно, какая разница? В обоих случаях человек действует со стороны, в миротворческой ли, провокаторской ли, но не героической роли, претендуя, однако, на некое превосходство, в одном варианте явное моральное, в другом — тайное эстетическое. Устыженный этими соображениями, я в дальнейшем старался по возможности «лезть» и брать ответственность на себя; я даже стал перебарщивать в этом направлении, а потом для корректировки табанить в обратном. На Ахматову вот полез с открытым забралом, а с Найманом спрятался за его же спину.

...Вспоминается старинный советский анекдот об иностранном корреспонденте, ранним утром наблюдающем очередь в булочную и драку сумками.

— Что, перебои с продуктами? Дерутся из-за хлеба? — спрашивает он у сопровождающего.

— Да нет, хлеба навалом, а это... гурманы, стоят за какой-то особой выпечкой.

Сомнительное блядство

Перечитывая эти записи, я замечаю, что мои воспоминания о знакомствах с великими людьми но-

сят минималистский характер, сохраняясь в масштабе ровно одной виньетки. Иногда выветривается даже ощущение личного контакта — в памяти остаются лишь цитабельные словечки.

Эйзенштейна, долгие годы моего кумира, я точно никогда не видел (когда он умер, мне не было одиннадцати). А вот с одной из его «жен», Перой Аташевой, я как будто встречался. «Как будто» — потому, что за подлинность своего впечатления я поручиться не могу. Но тогда откуда эта неповторимая пуанта рассказа о ее хождении по инстанциям после смерти мэтра? Она хлопочет о вступлении в права наследства (на квартиру, сберкнижку, библиотеку, рукописи), ее посылают из кабинета в кабинет, и в одном из них некий начальник от кинематографии говорит ей, видимо, в 48-м, а она со смаком пересказывает в 62-м, то есть, всего 14-ю годами позже:

— Много тут вас, блядей, ходит...

Общаться с Аташевой я мог в музее-квартире Эйзенштейна на Смоленской (где сам он никогда не жил), когда с легкой руки В. В. Иванова познакомился с кружком собиравшихся там «эйзенщеният» — будущих классиков эйзенштейноведения: Наумом Клейманом, Леней Козловым и другими. Даты сходятся — Аташева умерла лишь в 1965-м. Ее облик отчетливо стоит перед моим мысленным взором. Маленькая, с непропорционально большой головой и огромными, странно косившими глазами навывкате, она была похожа на тех ацтекских женщин, которых любил снимать Эйзенштейн.

Впрочем, такова она и на известных фотографиях.

Что касается недоверия чиновника, то оно не вовсе лишено оснований. Формально Эйзенштейн и Аташева были женаты, но официальной его женой считалась Телешева (ум. 1943), не говоря уже о сомнительности супружеских отношений в обоих этих «браках», да и каких-либо половых связей Эйзенштейна с женщинами вообще.

Так что мои колебания законно вписываются в общий контекст двусмысленностей эйзенштейновской биографии. Если что и удостоверяет для меня аутентичность собственного свидетельства, так это сугубо теоретическое соображение, что при передаче из третьих уст слова о множественности блядей прозвучали бы не столь убедительно. Увы, здесь они передаются именно так.

Автографы

В двух следующих виньетках силен элемент авторского тщеславия, моральное неблагополучие которого будет отчасти компенсировано выгодами анализа.

1. Поединок

К концу 80-х годов я почувствовал себя достаточно аккультурировавшимся в Америке. Я получил постоянную работу, сменил один университет (и штат) на другой, зажил с американкой (правда, русского происхождения), издал пару книг по-анг-

лийски, и мог позволить себе роскошь ностальгирования с позиций силы. Одним из проявлений этого стал выпуск сборника научных работ на русском языке, другим — уступка давнему позыву к сочинительству, тоже по-русски.

Я стал писать рассказы и показывать их знакомым, ища внимания, похвал, советов и путей в печать. Большинство реагировало с той или иной мерой благожелательности, кроме П., которая отказалась читать мои опысы, опасаясь возможных неловкостей.

— Лучше я останусь потребителем вашей профессиональной продукции, — сказала она.

Как профессионал я ее понял, но как начинающий автор затаил, выражаясь по-зощенковски, в душе некоторую грубость.

Постепенно мои рассказы стали появляться в эмигрантских газетах и журналах, а с падением железного занавеса вышли отдельной книжкой в Москве (1991). Мое авторское самолюбие было удовлетворено, а его ностальгическая компонента — даже с превышением, благодаря внезапно отворившемуся российскому сезаму. Доставленные из России экземпляры я направо и налево дарил знакомым.

П. в этот список, естественно, не вошла, но наша личная и профессиональная дружба, включавшая постоянный обмен научными публикациями, продолжалась. При очередной поездке в Северную Калифорнию, где она тогда работала, мы повидались, и за ланчем в живописном горном

ресторанчике с видом на океан наступил, наконец, момент моего торжества.

— Алик, я слышала, у вас вышла книжка рассказов.

— Да, вышла.

— Можно посмотреть? Надеюсь, вы привезли экземпляр?

— Да нет. Я как-то примирился с тем, что мои рассказы вас не интересуют.

— Ну, теперь, когда они вышли в престижном издательстве...

— Оно совсем не престижное, практически самиздат.

— Все равно, теперь это уже литературный факт, достояние общественности. — П. заговорила на близком ее сердцу, но ненавистном непризнанным гениям языке культурной социологии, и меня внезапно осенило.

— Да-да, и потому за приобретением книги вы можете обратиться в институт книготорговли.

— А что, она есть в магазинах?

— Конечно.

Это был полнейший блеф, но я уже придумал, как действовать.

— Тогда я куплю ее у «Шведе», а вы мне надпишете. Уж от этого-то вы не откажетесь?

Учитывая невыгодность ее позиции, следовало отдать П. должное: она держалась на высоте. Мы попрощались, П. сказала, что поедет прямоком в «Шведе», а мне предстоял многочасовой автопробег в Лос-Анджелес. Из первого же те-

лефона-автомата я позвонил в «Шведе», всем нам знакомому товароведу Верочке, и мы договорились, что если П. спросит мою книжку, она ответит, что да, была, вся разошлась, но на нее можно записаться в очередь; я же на-днях подешлю экземпляр, который Верочка и продаст П. подороже.

Через какое-то время мне позвонила П. Разговор шел о том о сем, но вскоре я заметил, что она, как ни в чем не бывало, вкрапляет в него фразы из моих рассказов.

- Ага, Вы, значит, достали книжку?
- Да, честно купила за \$10.
- Дорого дерут, черти.
- Так я дочитаю и пришлю вам на подпись?
- Сделайте одолжение.

Вскоре книжка пришла, я стал придумывать дарственную надпись поехиднее, и меня осенило вторично. От руки я вывел: *Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать*, под этим наклеил ксерокопию пушкинской подписи, еще ниже написал: *Подпись руки камер-юнкера А. С. Пушкина удостоверяю, профессор А. К. Жолковский*, поверх чего приложил фиолетовую кафедральную печать: Department of Slavic Languages and Literatures, University of Southern California. В общем, создал музейный экземпляр, каковой и отослал.

Таков был исход — я считаю, ничейный — этого поединка ранимой авторской личности с представителем литературных институтов.

2. Телефончик

Во второй истории, происшедшей почти десять лет спустя, я оказываюсь по другую сторону институциональной баррикады. Но личное начало действует и здесь.

На двухсотлетних пушкинских торжествах в Питере я очутился в гуще съехавшихся со всей России поэтов, многие из которых подарили мне свои книжки. Я не отказывался, но вскоре их набралось так много, что я на глазок разделил их на две неравные группы: большую часть забыл в питерской гостинице, а меньшую взял с собой в Москву. Через месяц, перед отъездом из Москвы, я повторил эту операцию: несколько книжек послал себе почтой в Калифорнию, а прочие оставил в московской квартире. Но на этот раз я по крайней мере открыл и просмотрел каждую книжку. В одной из них меня ждал сюрприз.

Дарственная надпись на сборнике известной поэтессы кончалась номером телефона. Как и все посвящение, он был выписан твердым размашистым почерком. Я сразу представил себе красивое, внятное, немного слишком накрашенное лицо поэтессы, ее полные губы и эффектную фигуру, подчеркнутую коротким облегающим платьем, и пожалел, что в свое время даже не взглянул на титульный лист. Впрочем, поэтесса предусмотрела и такую возможность: телефон начинался с трехзначного кода города.

Жанр дарственной надписи хорошо знаком мне по собственному опыту. В молодые годы, когда

авторство было для меня внове, я пользовался каждым таким случаем, чтобы поизощряться в остроумии и самовыражении; потом я постепенно набил руку, остыл, и былой энтузиазм сменило усталое владение жанром. Некоторые оригинальные посвящения, чужие и свои, я помню всегда.

Так, однажды, лет тридцать назад, я осмелился попросить у почитаемого старшего коллеги оттиск его статьи, и при очередной встрече он мне его вручил. Надпись гласила: *Александр Константинович Жолковскому – с неожиданностью.* (Оттиск при мне и сейчас — его ксерокопии хорошо известны моим аспирантам.)

Один коллега, вообще-то очень ядовитый, написал на своем оттиске тем более драгоценный комплимент по поводу моей недавней статьи о Лермонтове: *А. К. Жолковскому – победителю «Тамани».*

Надписывая несколько лет назад свою статью о снижении личности Ахматовой в двух постмодернистских рассказах (Татьяны Толстой и Виктора Ерофеева) и их интертекстуальном фоне, я набрел на формулу, которую немедленно тиражировал: *Опыты соединения имен посредством вагин* (слова были расположены так же, как на вагиновском сборнике 1931 года).

Парадигма авторской надписи, как отчасти видно уже из этих примеров, включает несколько постоянных рубрик. Преподносится что; кому; кем; где; когда; с какими комплиментами; при каких обстоятельствах; почему/зачем... Каждая из руб-

рик может детализироваться: *что* разворачивается в серьезное или шуточное резюме даримого сочинения; *почему/зачем* конкретизируется в *на* память о чем, с какими чувствами, в надежде на *что*. Рубрики охотно комбинируются: победителю «Тамани» — это «кому», «обстоятельство», и «комплимент»; с неожиданностью — «обстоятельство» под видом «чувства» и явно без «комплимента»...

Попробуем применить эту память жанра к надписи поэтессы. В формате посвящения нет графы «координаты». Она привнесена из радикально иной парадигмы — случайного знакомства на концерте, фуршете, танцплощадке. Скрещение смелое и в то же время оправданное: вставленный в посвящение, «телефончик» прочитывается как отвечающий сразу на большинство рубрик: *предполагается что, кем, с какими чувствами, в надежде на что....* Остается и проклятая неопределенность, приглашающая к размышлению: комплимент ли это внешности адресата, его профессиональному статусу или географии проживания? Oh, *ses femmes!* — сказал Вольтер.

Уроки английского

Есть фразы, которые запоминаются не благодаря тому, семантически *что* в них сказано, а тому, грамматически *как*. Они свидетельствуют, что и прозе не чужда поэзия грамматики. Как правило, они непередаваемы, ведь поэзия это то, что пропадает в переводе.

Давным-давно, еще в России, я прочел о Генри Джеймсе примерно следующее:

Henry James is always quite clear but only so after one has gone to considerable trouble trying to figure out what it is he is being clear about. То есть: «Генри Джеймс всегда пишет ясно, но эта ясность наступает только после того, как затратишь значительные усилия, чтобы понять, о чем именно он так ясно пишет».

Перевод приблизительный — тонкости пропадают. С некоторыми из потерь можно примириться. Так, в оригинале Джеймс не «пишет ясно», а просто «ясен», но если так и перевести, то возникнут трудности с *only so* («таков только») и *clear about* («ясен о»). Кроме того, «пишет» хотя бы отчасти компенсирует непере译имое *is being clear* («является ясным [в настоящем продолженном времени]»).

Но утрачивается и главный грамматический фокус — оттянутое до самого конца явление предлога *about*, «о». В буквальном переводе конец фразы звучал бы так: «... что это такое, которым он является ясным о». Вынос предлога в конец — одна из формальных причуд английского синтаксиса, но здесь она поставлена на службу смыслу: трудности уяснения синтаксиса фразы аккомпанируют трудностям уяснения джеймсовского письма, и развязка — в обоих планах — наступает лишь по предъявлении последнего слова. Затягиванию

процесса способствует также грамматическая форма *is being clear*, «продолженная» во всех отношениях — и по смыслу, и по числу слов.

Интересная русская параллель — концовка одного приговского стихотворения.

*Шостакович наш Максим
Убежал в страну Германию
Господи, ну что за мания
Убегать не к нам, а к ним
Да к тому же и в Германию
И подумать если правильно
То симфония отца
Ленинградская направлена
Против сына-подлеца
Теперь
Выходит
Что*

Переключка здесь не только по формальной линии — ретроспективности последних слов («теперь выходит что»; «котором... ясен о»), но и по содержательной: Седьмая симфония Шостаковича окончательно осмысливается лишь задним числом. Разумеется, Пригов доводит оба эффекта до гротеска, но это те же эффекты.

Под рукой мастера игра с отделяемыми предложениями может развернуться и на совсем ограниченном пространстве. В одном романе Кингсли Эмиса новая жена дирижера спрашивает предыдущую, как ей удалось так долго прожить с ним. Та отвечает:

— I was very good at being talked to about music, «Я очень хорошо умела слушать, когда он говорил о музыке» (букв. «Я была очень хороша в том [способна к тому], чтобы быть говоримой с о музыке»).

В гладком литературном переводе пропадает целая драма предлогов, лиц, залогов и времен, вторящая описываемому сюжету; некоторое представление о ней дает буквальный подстрочник. Недлинное — всего в десять слов — английское предложение содержит три предложных конструкции (в переводе остается только одна: «о музыке»). Второй предлог (*to*, «с»), ввиду пассивности конструкции, как бы повисает в воздухе — подразумеваемым дополнением к нему является *I* («я»), расположенное в самом начале предложения. Вдобавок к этой ретроспективной петле образуется стык двух предлогов: ... *to about*... («... с о ...»).

Ни подобного пассива, ни подобного «повисания» предлогов, ни подобных стыков («быть говоримой с о») не бывает в русском. Отсюда появление в переводе глагола «слушать», отсутствующего в английском тексте и грубо смазывающего его словесную вязь. По-русски получается, что героиня действительно слушала мужа, тогда как в оригинале дается понять, что она лишь умело делала вид. Получается это из-за замены подчеркнуто пассивного состояния *being talked to* («пребывания в роли адресата говорения») активным действием «слушания». Заодно пропадает парадоксальное столкновение активного, чуть ли не профессио-

нального «умения» с бездейственным, хотя и длительным (грамматически продолженным), состоянием «пребывания адресатом». Наконец, употребление глагольной формы («слушать») лишает описываемое состояние («адресатность») той «безлично-объективной» ауры, которую ему в оригинале придает использование именной конструкции (*being...*).

Вся эта языковая минидрама имеет, как того требовал Аристотель, начало, середину и конец. Предложение начинается с конкретного субъекта (*I*, «я»), простой глагольной формы (*was*, «была») и простого, хотя и предложного, выражения (*good at*, «способна к»). Далее предлог слегка зависает, когда оказывается, что ему предстоит управлять не простым существительным, а целой конструкцией — составной, пассивной, безличной (в ней не названа ни одна из сторон — ни жена, ни муж). Образована эта конструкция с помощью все того же простого глагола (*to be*, «быть»), но на этот раз взятого в более абстрактной форме (*being*). Достигнув далее кульминации на стыке двух предлогов («с о»), грамматическое напряжение спадает: фраза заканчивается нормальной — совершенно «ясной» — предложной группой *about music* («о музыке»), называющей вполне реальный предмет отвлеченных разговоров и изысканных конструкций.

Отделяемые предлоги — одна из болевых точек английской грамматики. Учебники хорошего стиля советуют избегать повисающих (*dangling*) предлогов. На эту тему существуют анекдоты.

Таксист спрашивает прохожего:

— Can you tell me, sir, where Harvard Yard is at? («Не скажете ли, сэр, где здесь Гарвард Ярд?»; предлог *at*, «в», зависит, да и самим своим употреблением выдает неграмотность говорящего, — как если бы вместо «где здесь» было сказано «ихде здесь»).

— At Harvard we do not end a sentence with a preposition («В Гарварде мы не кончаем предложений предлогами»).

— O. K., can you tell me where Harvard Yard is at, asshole? («О-кэй, не скажешь ли, где здесь Гарвард Ярд, мудила?»; вместо того, чтобы убрать дурацкий предлог, таксист заключает вопрос прямым оскорблением).

Избавиться от повисания предлогов не так-то просто. Хрестоматийной стала издевка одного знаменитого стилиста над неуклюжими попытками в этом направлении:

This is the kind of syntax up with which I will not put, *букв.* «Это такой синтаксис, со- с которым я не могу -гласиться», то есть: «... с которым я не соглашусь».

Здесь Черчилль (а это он) приближается к Пригову. Вообще, с отделяемыми предлогами чаще всего, как ни кинь, все клин. В умелом хождении по грани дозволенного — кольриджевском «примирении крайностей» — и состоит изысканность рассмотренных примеров.

... Как-то в гостях у лосанджелесского знакомого я пустился в рассуждения о недостижимости полного владения английскими артиклями и предлогами. Случившийся рядом Элья Баскин, сделавший голливудскую карьеру актер из нашей волны эмиграции, пожал плечами:

— Не замечал. Wanna fuck? — где тут это?!

О главном

Один известный американский славист рассказывал, как в Оксфорде к нему на улице подошел новоприбывший студент-японец и спросил, где здесь Оксфордский Университет. Сделав широкий жест рукой, американец сказал, что все вокруг и есть Оксфордский Университет. Японец уточнил:

— Я имею в виду, где главное здание?

Американец долго не мог объяснить ему, что применительно к Оксфорду вопрос не имеет смысла. Университет состоит из множества независимых колледжей, разбросанных по городу, и ни из какого административного центра не управляется.

Аналогичным образом я, приехав в Лос-Анджелес, долго не мог смириться с тем, что нет никакого киноуправления, а только отдельные кинотеатры, и что нельзя позвонить в аэропорт, то есть, в его дирекцию или даже справочную, а можно только в ту или иную частную авиакомпанию.

Двое коллег, муж и жена, поселившиеся на Западном берегу еще в начале 80-х, рассказывали, что когда в горбачевский период один видный советский

филолог-диссидент (назову его условной фамилией Иванов) начал наезжать в Калифорнию, он прежде всего попросил указать ему главных славистов. Они стали неуверенно называть разные имена, из чего тот сделал вывод, что они сами не в курсе дела — не подключены к властным структурам. Их попытки объяснить, что американская славистика не подчиняется никакому президиуму, не имели успеха.

С тех пор «Иванов» окончательно перебрался в Калифорнию, неплохо устроился, но обречен чахнуть без рычагов власти — не потому, что ему отказывают в доступе к ним, а потому что их нет как таковых. Жалуется он и на малочисленность слушателей — в Москве (и Гаване) на него сбегались толпы, а в Лос-Анджелесе у него в лучшем случае десяток студентов. Еще бы: там он представлял собой (анти)начальство, а здесь он всего лишь один из многих специалистов в определенной, достаточно периферийной области.

Когда я начал свои ахматоборческие штудии, один коллега посоветовал показать их общему знакомому, ахматоведу номер один. При случае я показал, но от меня не ускользнула ирония ситуации: анализ культа личности Ахматовой — «института ААА» — подается на просмотр в высшую инстанцию этого самого института.

Речь о культе личности заходит здесь не случайно. Один мой давний друг, несмотря на редкое душевное благородство и страстное диссидентство, являл любопытный образчик пропитанности тоталитарной идеологией. Примеров тому мно-

го; в данной связи вспоминается его склонность объявлять своих знакомых главными экспертами по соответствующим вопросам. Такой-то (близкий друг) — знает все про физику, такая-то (жена шефа) — главный врач и всех вылечит, такой-то (муж сестры) — великий мастер на все руки и починит любой прибор, такой-то (я) — единственный разумный литературовед и т. д.

Здесь узнаются черты командного стиля. Наверху — Сталин, великий гений всех времен и народов; под ним, образуя идеальное дерево подчинения, — начальники следующих рангов: Берия (безопасность), Ворошилов (армия); Жданов (культура); этажом ниже (в культуре): Лысенко (биология), Горький (литература), Станиславский (театр)... Как говорится в анекдоте: «Лаурэнтый, кто там у тэбя на связи сыдыт?»

Эта система примитивной регламентации жизни воспроизводилась и на уровне рядовых советских людей. У каждого по возможности имелся один свой человек по продуктовым заказам, другой — по шмоткам, третий — по медицине, четвертый — по путевкам, пятый — по книгам...

Теперь же продуктов завались, книг читай — не хочу, а вот единоначалия острый дефицит: нечем командовать, некому рапортовать. Нет главного.

Верхнее си

Преподавая русскую литературу калифорнийским первокурсникам, я развлекаю себя и их, как могу.

За один академический час надо рассказать о жизни, творчестве и взглядах Толстого и разобрать «После бала», причем сделать это в форме сократического обсуждения со студентами кое-как подготовленного ими задания. Этот цирковой номер требует искусства, которое я все время шлифую. Основной прием — использование миниатюрных примеров, нагружаемых обобщениями и перемежаемых хохмами. Хохмы не дают студентам заскучать, а мне — утратить ощущение непокорства университетским порядкам, политкорректности и моей, в сущности, бэбиситтерской роли.

— Danny, don't sleep — just think what you are doing to my ego! («Дэнни, не спите — подумайте, какой ущерб вы наносите моему “я”!»)

В этой любовно выношенной формуле дисциплинарное замечание студенту совмещено с провокационным нарушением его privacy и отставиванием прав моей личности на языке модного psychobabble («психотрепа»).

Заголовок «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» я долго разжевываю как образец парадоксальных классовых симпатий графа Толстого, его руссоистского контркультурализма и, наконец, его эстетики, нарочито игнорирующей правила хорошего стиля. И перехожу к мощным обобщениям.

— Толстой обнажал условность любых общественных институтов: церковных обрядов, военной науки, светского этикета, классической оперы, шекспировской драмы, литературной критики

и формального образования. — Тут меня осеняет. — Он, конечно, был бы против преподавания данного курса и разбора его рассказа, то есть, развращения — во имя культуры — невинных детей, в голове у которых *tabula rasa*.

Я рассчитываю побалансировать на грани шока, но постмодерную публику не удивишь — политкорректность тихо скончалась, засмеянная досмерти. Студенты радостно хихикают, включая тех, кому требуется дополнительное культурное впрыскивание в виде перевода неведомой *tabula rasa*.

Более рискованную хохму я отпустил лет десять назад на одной из ежегодных славистических конференций, если не ошибаюсь, на Гаваях. Там выступал молодой славист-негр, явление в нашей профессии крайне редкое*.

Секция была пушкинская, и речь в докладе шла о послании «Юрьеву» («Любимец ветренных Ла-

* Кажется, их всего два. Когда в 1980-м году меня брали на работу в Корнелл и делали это вне обычной конкурсной процедуры (в качестве так наз. *target of opportunity*, не знаю, как перевести, — «удачно подвернувшегося варианта?»), завкафедрой Джордж Гибиан должен был писать специальную бумагу с объяснением, что претендентов африканского происхождения на мою должность нет, так как единственный в американской славистике потенциальный кандидат такого рода благополучно трудоустроен и интереса к ее замещению не проявляет. Как-то, не помню как, разрешалась в бумаге и гендерная проблема.

ис...»; 1821). Из уст выступавшего анализ строк Ая, *повеса вечно-праздный, / Потомок негров безобразный, / Возвращенный в дикой простоте /.../ Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний...* звучал, а главное, смотрелся эффектно, разбор же был так себе. Зал с напряжением ждал комментарии дискуссионки — Стефани Сэндлер, большой умницы, хотя и феминистки.

Ожидание оказалось не напрасным. От дежурных комплиментов докладчику Стефани перешла к упущенному им аллюзивному обыгрыванию гомосексуализма адресата (*Пускай, желаний пылких чуждый, / Ты поцелуями подруг / Не наслаждаешься, что нужны?...*). Этот аспект стихотворения был новостью не только для докладчика, но и для меня. Я потерял контроль над собой, и у меня вполголоса вырвалось:

— The poem proved even racier than he thought!.. («Стихотворение оказалось еще пикантнее / расовее, чем он думал!»).

Прилагательное *расу*, «энергичный, пряный, скабресный», отдаленно восходит к *расе* в смысле «раса» (а не «соревнование, гонка») и применяется к описанию запаха, вкуса и стиля, в том числе литературного. Мой драматический шопот был услышан в зале, но к счастью, не на сцене, и вызвал легкое оживление. Это была, наверно, самая высокая политически некорректная нота, когда-либо взятая мной в Америке публично.

Что же касается милого феминистскому сердцу гомосексуализма, то мне Стефани вскоре на-

несла по этой линии еще более ощутимый удар, чем темнокожему пушкинисту. К моему и без того пикантному анализу архетипической подоплеки «После бала» (тело избиваемого шпицрутенами солдата как коррелят недоступного тела Вареньки) она в одной своей статье добавила гомосексуальное прочтение любви героя к полковнику.

Мог бы, кажется, и сам догадаться, но подвела дикая простота желаний; сказались и годы проклятой сталинщины. В общем, верхнего си не вытянул.

Кому же у кого учиться писать

Толстой уверял, что «нам» — у крестьянских детей, но «дети» упорно учатся у Толстого. Разгадка того, «почему так здорово», часто ведет к «Войне и миру».

1. «Собачье сердце»

Меня всегда интриговало это место — в нем мерещилось что-то знакомое:

«... — Тогда, профессор..., — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, и тяпнет он их

сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще, каким способом, но так тяпнет.. Бей их!... Р-р-р...» Филипп Филиппович... снял трубку с телефона и сказал так:

— Пожалуйста... Петра Александровича... Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует... Будьте любезны, — змеиным голосом обратился [он] к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить...

— Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес...

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот».

Сцена памятная, любимая, «типичный Булгаков». Но — на толстовской подкладке.

«Малаша... иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В середине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополному, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсе-

на, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена... — Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны... Так, например.. (Кутузов как бы задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит [т. е. проигранное Бенигсеном], было.. не вполне удачно только оттого, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля.. — Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание».

Булгаков дожимает «примитивную» точку зрения, спуская ее от крестьянской девочки Малаши еще ниже, к Шарику (с оглядкой, конечно, на Холстомера и левинскую Ласку), и меняет ее направленность: Шарик вовлеченнее и агрессивнее Малаши, а восторг по поводу апелляции профессора к начальству — установка чисто булгаковская и никак не толстовская.

2. «Остров Крым»

Поворотным моментом в альтернативной истории гражданской войны в романе становится импровизированный артиллерийский удар по льду, которым лейтенант Бейли-Лэнд останавливает взятие красными Перекопа.

«Марлен Михайлович... вспоминал День лейтенанта Бейли-Лэнда, 20 января 1920 года, один из самых засекреченных для советского народа исторических дней... когда против... лавины революционных масс встал один-единственный мальчишка, англичанин, прыщавый и дурашливый. Встал и победил... Марлен Михайлович был допущен к секретным архивам... Качнулись устои веры... «роль личности в истории» вдруг повернулась... неприглядным, не-марксистским боком...

В полном соответствии с логикой классовой борьбы впервые за столетие замерз Чонгарский пролив, и... по сверкающему льду спокойно двигались к острову армии Фрунзе и Миронова... Не соответствовало логике классовой борьбы лишь настроение двадцатидвухлетнего лейтенанта Ричарда Бейли-Лэнда...: он был слегка с похмелья... Вооружившись карабином, офицерик заставил своих пушкарей остаться в башне... развернул башню в сторону наступающих колонн и открыл по ним залповый огонь... Прицельность стрельбы не играла роли: снаряды ломали лед, передовые колонны тонули в ледяной воде, задние смешались, началась паника...

Героя битвы.. нашли в офицерском клубе... Марлена Михайловича... возмущало, что Дик Бейли-Лэнд в последовавших за победой интервью настойчиво отклонял всяческие восхваления... собственный

героизм... « — У меня и в мыслях не было защищать... русскую империю, конституцию, демократию... Мне просто была любопытна сама ситуация — лед, наступление, главный калибр, бунт на корабле, очень было все забавно...»

«Как? — возмущался Марлен Михайлович... Из чистого любопытства гнусный аристократишка отвернул исторический процесс...»»

Этот ключевой для всей конструкции романа эпизод (сюжетной рифмой к нему служит несовершение аналогичного поступка при финальном советском вторжении на Остров) сразу восхитил меня. Его опора на Ледовое побоище и разгром Кронштадтского мятежа Тухачевским бросалась в глаза, но классический литературный источник долго оставался засекреченным. Дело в том, что полемическая игра Аксенова с историческим материализмом вольно или невольно маскирует реминисценцию из главного исторического романа всех времен и народов, и за подчеркнуто англоязычным героем не сразу угадывается русский до глубины души персонаж:

«Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидал... синих французских драгун... Он чутьем чувствовал, что, ежели ударить теперь..., они не устоят; но... сию минуту, иначе будет уже поздно... Ростов... толкнул лошадь... и не ус-

пел еще командовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним... Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая... Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказа, был... убежден, что начальник требует его... чтобы наказать его за самовольный поступок...

Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, — и никак не мог понять чего-то... Так только-то и есть всего то, что называется героизмом? И разве я делал это для отечества?...»

Сходства очевидны. Это и любительские, а не идейные, мотивы поведения героя, и нарушение им воинской дисциплины, и его официальный триумф, и последующее отмежевание от героизма. Но у Толстого спонтанный, противу правил, поступок Ростова выдержан в «русском» духе близости к природе, интуитивной безотчетности и «роевой» совместности с эскадром. А Аксенов переводит его в план британского индивидуализма и спортивного экспериментаторства, с примесью «чистого любопытства» из Остапа Бендера. Что же касается роли личности в истории, то тут Аксенов идет в разрез не только с марксизмом-ленинизмом, но и с Толстым, у которого крупные

исторические события тоже определяются действиями масс, а не отдельных героев, хотя бы и любимых.

Рассекреченные анализом, подобные эффекты не теряют, я думаю, а приобретают в изысканности, хотя замышлялись они, скорее всего, не как аллюзии, а как оригинальные находки. Оригинальные и безусловно удачные, ибо освященные каким-то, непонятно каким, высшим авторитетом. То есть, сначала кажется, что непонятно, а теперь понятно — авторитетом интертекста.

Таковы неожиданные удары со стороны классика и инстинктивные ответные попытки победить учителя.

Антонов огонь

В 80-е годы Западная Германия внезапно оказалась зоной действия мощных прочеховских сил. Стали появляться книги, в которых компонентами соответствующего семантического поля — словами «Чехов», «чеховский», «Антон», «Баденвайлер» и под. — были заполнены все мыслимые позиции: заглавие, название издательства, фамилия автора, имя главного героя. Книги эти выходили с завидной частотой и рассылались по миру с подкупающей, но и настораживающей, бесплатностью. Чехов предстал в них неиссякаемым источником православной мудрости, а их автор — Э. Бройде, alias Д. А. Антонов, — его пророком.

После пары переездов у меня сохранился лишь один из этих пейпербэков. Повествование в нем открывается словом «Антон» и начинается *in medias res* — на чеховских торжествах:

«Антон морщился, как от зубной боли, вслушиваясь в немецкие юбилейные речи... «... Черти занесли меня в этот кукольный Баденвайлер!...»» (Д. А. Антонов, «Чеховград» [West Germany: CHEKHOV-GRAD Publishing House. Copyright by the author. 1986. 224 с.]. С. 3).

Герой приезжает на симпозиум из еще полузакрытой России и встречается со своей давней пассией Наташей. Но любовные перипетии перебиваются сценами возмущенного ознакомления с новейшими структуралистскими и иными неподобающими подходами к Чехову, русской литературе и мирозданию в целом.

Моя привязанность к этой книге объясняется просто. Отложив Наташу в сторону, Антон (а с ним и не по-бахтински монологичный Антонов) посвящает десятки полемических страниц моей вдвое более короткой статейке в «Гранях». В те годы я сам страдал комплексом неопубликованности, и потому оценил высокий коэффициент внимания, оказанного мне Антоновым. В дальнейшем он был превышен Б. Сарновым, обрушившимся на мое ахматоборчество в троекратном размере, но первенство остается за Антоновым — дорого яичко к Христову дню.

Помимо нарциссической благодарности к автору, запомнилось удивление по поводу его уникальной в российском обиходе конфессиональной фиксации на Чехове. В отличие от Пушкина, Есенина, Ахматовой и Высоцкого (и, ненужное зачеркнуть, Иисуса Христа, Че Гевары, Ленина, Леннона, Элвиса Пресли и мадам Блаватской), Чехову удастся сохранять известную дистантность, невовлеченность, почти безличность. От него не ожидается внезапное появление «на Усачевке возле остановки» и скорая экзистенциальная помощь примером, советом, а то и делом. Его житейские уроки, в общем, ограничиваются напоминанием мыть лицо и руки перед едой, по мере возможности выдавливать из себя раба и не использовать портрет писателя Лажечникова не по назначению. Тем поучительнее редкие, но повторяющиеся, случаи прямого самоотождествления с кумиром.

Автобиографический «роман-идиллия» моего сокурсника и старинного знакомого Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (М.: ОЛМА-ПРЕСС. 2001. 512 с.) написан, сразу видно, искушенным филологом. Детство изображается трудное, ссыльное, и в то же время счастливое, — как бы Горький-Солженицын и в то же время Толстой и немного Пруст. Тем более, что происхождение героя оказывается шикарно смешанным — поповско-дворянско-интеллигентско-народным.

На отменном уровне и повествовательная перспектива. Взрослый герой-рассказчик похож на автора, но не совпадает с ним. А. П. Чудаков —

филолог, чеховед, а герой подан как историк; Чудакова зовут Александр, а героя... героя — Антон. Репортаж ведется в основном из детства, но перемежается комментариями из будущего — с точки зрения повзрослевшего и повидавшего мир героя. Для вящей изощренности рассказ идет то в 1-м лице («Я вспомнил...»), то в 3-м («Антон подумал...»), часто на одной и той же странице и применительно как к детским, так и к взрослым эпизодам. Чувствуется волевая рука литературоведа, посвятившего не одну сотню страниц «Поэтике Чехова», в частности, его нарративной работе с точками зрения.

Фактографическая густота письма призвана свидетельствовать о мемуарной подлинности текста, но доведена до какой-то невозможной супер-кондиции автором — теоретиком «вещного» подхода к миру писателя (в частности, «Миру Чехова»). Читать эту «Степь» длиной в 500 страниц трудно, но по знакомству и из профессиональной ревности не отступаешься.

А главное, любопытно, какими отчеством и фамилией снабдит автор своего героя, тем более, что инициалы у самого Чудакова соблазнительно чеховские. От «Ч» он стоически отказывается и присваивает отцу героя фамилию Стремоухов — Петр Иванович Стремоухов. Герой, следовательно, Антон Петрович, хотя впрямую это, как будто, не выписывается. Ну, а поскольку автор — Александр Павлович, то, если махнутья именами отчествами (ведь где Петр, там и Павел), получается Ан-

тон Палыч, пепел которого стучит-таки в закаленное нарратологией чеховедческое сердце. И никакой мглой этого факта не окутаешь.

Кон-арт

Недавно в Лос-Анджелесе, в музее Гетти, состоялся перформанс Ильи Кабакова «Художник, которого не было». Сначала шоу представил куратор музея, американец, затем вступительную лекцию — по-английски, но с акцентом, удостоверяющим ее международную научность, — прочел привезенный из Германии Боря Гройс, после чего Кабаков, говоря тоже в 3-м лице, но уже совсем по-русски (переводила Mrs. Emilia Kabakov) демонстрировал слайды.

Несмотря на многофигурную композицию и провокационное название, было скучно. Сразу определилась пристойная атмосфера официально спонсированного капустника. Кабаков рассказывает о творчестве вымышленного художника Шарля Розенталя, за которого он написал все его частично или целиком белые полотна, — образованная публика вежливо слушает. Предлагают задавать вопросы — кто-то с тонкой улыбкой спрашивает, не повлиял ли Кабаков на Розенталя. Кабаков отвечает, что наоборот, Розенталь повлиял на Кабакова — еще до своего появления на свет. Кого-то интересует, заслуживает ли Розенталь такого внимания, — Кабаков, скромно жмурясь, говорит, что, наверно, заслуживает, раз уж его выставляют в

Токио. Хотят знать что-то еще, — Кабаков кивает на Гройса, дескать, вопрос к искусствоведу. Миссис Кабаков переводит все это туда и обратно.

Как я потом узнал, рецепцией в Гетти Кабаков остался недоволен: его «не поняли». Напрасно. Его поняли, и немножко в его невеселую академическую игру поиграли. Про новое платье короля не спросили.

В чем же состоит главная хохма, с которой Кабаков, вслед за Эйнштейном, едет в Токио? Если его предыдущие работы играли в советские учреждения (соцреализм, «Мурзилку», коммуналку), то теперь субверсия направляется на институт западного музея, канонизирующего занудный (пост)модерн. Это не очень забавно, поскольку практически пародиен сам объект пародии.

Однако забавность в таком деле не роскошь, а главный ингредиент. Концептуальные картины могут быть неказисты, но должны (в отличие от «Анны Карениной») выигрывать в пересказе — как *conversation pieces* («предметы для разговора»). А так все это забавно в основном для автора, который смеется, как говорят американцы, до самого банка. Собственно, в банковской — институциональной — операции и состоит суть данного вида деятельности. Перед нами, так сказать, кон-арт, от английского *con artist*, «делец [букв. артист] на доверии».

В американской литературе классические фигуры кон-артистов это твеновские Король и Герцог (кстати, позирующие и в роли актеров), в рус-

ской, конечно, Остап Бендер. Феномен «Кабаков» — новое подтверждение великой объяснительной и прогнозирующей силы ильфопетровского текста. Сага о Бендере построена как серия манипулятивных имитаций великим комбинатором целой галереи жуликов-приспособленцев мелкого масштаба (в том числе художников-авангардистов). Каждый из них в меру сил адаптируется к какой-то одной доставшейся ему общественной нише, Остап же с универсальным протеизмом подделывается под любой из их вымученных обликов. Более того, он пародирует государственные институты, создавая в pendant к «Геркулесу» контору по заготовке рогов и копыт — первый опыт соц-арта.

Бендер был любимцем многих поколений советских читателей. Однако использование его имени в качестве нарицательного ярлыка таит семантический сдвиг. В советском бытовом дискурсе «Остапом Бендером» назывался не артист-интеллектуал, карнавальный критик истеблишмента, а ловкий подпольный делец, продуктом деятельности которого были не остроумные речи, а накопленные миллионы. Такой персонаж в «Золотом теленке» есть; это антагонист Бендера — Корейко. В присвоении реальному типу миллионера-подпольщика имени Бендера произошла несправедливая по отношению к Корейко подмена терминов.

Действительно, миллионов у Корейко больше, чем у Остапа, и они остаются при нем, а не глупо утрачиваются на румынской границе; маскирует-

ся он тоже лучше Бендера, контору которого закрывают; да и по линии подрыва истеблишмента он последовательнее — грабит именно государство. Но Остап затмевает его своим бескорыстным артистизмом, и в результате на роль полуодобрительного прозвища для подпольного бизнесмена выбирается не Корейко, а Бендер. Вслед за авторами, читатели не любят «белоглазого подхалима», «серого советского мышонка» и склонны вытеснять его из памяти.

С тех пор, как Марсель Дюшан провозгласил переход к несетчаточной живописи, мы видели множество художников, которых не было. Кабаков, конечно, сделал следующий мета-шаг в сторону торговли воздухом, но уже и Корейко умел наживаться на переливании воды из одного ведра в другое. Однако ничего цитабельного (вроде того, что деньги собираются на ремонт Провала, чтобы не слишком провалился), никаких собственно художественных артефактов от Корейко не осталось. Как говорила одна старая еврейка, *нит оллес цу куken* (не на что смотреть).

P. S. Знаю, знаю, скажут — советское заушательство, ждановщина, мало ему Ахматовой, а как же Малевич, Поллок, Уорхол?!

Однажды после концерта к Владимиру Горовицу в артистическую влетела восторженная великосветская поклонница. — Изумительно! Гениально!! Маэстро, вы превзошли себя!!! Хотя Моцарта я, извините, не люблю...

— That's O. K., just an opinion («Ничего, ничего, просто еще одно мнение»).

Так что, как говорится у Зощенко, все соблюдено и все не нарушено. Just an opinion. Моцарт, Уорхол и Кабаков остаются людям.

Между жанрами

(Л. Я. Гинзбург)

Выпишу поразивший меня сразу и не перестающий интриговать фрагмент из «Литературы в поисках реальности»:

«Есть сюжеты, которые не ложатся в прозу. Нельзя, например, адекватно рассказать прозой:

Человек непроницаем уже для теплого дыхания мира; его реакции склеротически жестки, и о внутренних своих состояниях он знает как бы из вторых рук. Совершается некое психологическое событие. Не очень значительное, но оно — как в тире — попало в точку и привело все вокруг в судорожное движение. И человек вдруг увидел долгую свою жизнь.

Не такую, о какой он привык равнодушно думать словами Мопассана: жизнь не бывает ни так хороша, ни так дурна, как нам это кажется... Не ткань жизни, спутанную из всякой всячины, во множестве дней —

каждый со своей задачей... Свою жизнь он увидел простую, как остов, похожую на плохо написанную биографию.

И вот он плачет над этой непоправимой ясностью. Над тем, что жизнь была холодной и трудной. Плачет над обидами тридцатилетней давности, над болью, которой не испытывает, над неутоленным желанием вещей, давно постылых.

Для прозы это опыт недостаточно отжатый, со следами душевной сырости; душевное сырье, которое стих трансформирует своими незаменимыми средствами».

В этом отрывке из «Записей 1950-1970-х годов», загадочно все, начиная с жанра. Уже писалось о сочетании в текстах поздней Гинзбург литературоведения с мемуарной и собственно художественной прозой. Но здесь перед нами еще и некие квази-стихи, за процессом не-написания которых мы приглашены наблюдать. Это метастихотворение в прозе блещет множеством поэтических эффектов.

Тут и образная речь — *теплое дыхание мира*, и аллитерации — *простую, как остов*, чуть ли не рифмы — *всячины/задачей/плачет*, и игра вторичными смысловыми признаками — *в тифе* можно прочесть и как *в тИре*, и как *в тифЕ*», тем более что эти слова взяты в тире, а за ними следует *в точку*. И, конечно, как водится в настоящей поэзии, текст перекликается с другими текстами, он не только о жизни, но и о литературе, поправляет и переписывает

ее. Явным образом цитируются слова Мопассана, а где-то в подтексте звучит то ли Пастернак — *душевное сырье* (ср. *Вся душевная бурда* в «Лейтенанте Шмидте»), *И вот он плачет* (ср. *И наколовшись об шитье/ С невынутой иголкой,/ Внезапно вспомнит всю ее/ И плачет втихомолку* из «Разлуки»), то ли Мандельштам (ср. то же *душевное сырье* с *Пою, когда гор-тань — сыра, душа — суха...*). А боль, которая не болит, тоже, кажется, откуда-то, не из Ахматовой ли? *Ловишь себя на подозрении — экзаменуешь?! В то же время, несмотря на грамматическое 3-е лицо, чувствуется, что лирический герой — сама Гинзбург, что мы читаем ее собственные стихи — полу-черновик, полу-подстрочник, полу-автор-рецензию.*

Характерно уже первое слово фрагмента — медитативный зачин *Есть...* (ср. *Есть речи — значенье/ Темно иль ничтожно...* Лермонтова и богатейшую последующую традицию вплоть до *Есть ценностей незыблемая скала...* Мандельштама и *Есть три эпохи у воспоминаний...* Ахматовой). Характерно и следующее за *Есть* отрицание: *ЕСТЬ... которые НЕ ложатся...*» (ср. у Ахматовой *Есть в близости людей заветная черта,/ Ее не перейти влюбленности и страсти...*). Вообще, риторика отрицания пронизывает весь отрывок: *не ложатся, нельзя, нефронуцаем, не такую, не бывает, неоправимой, не испытывает, не утоленным, недостаточно отжатый, незаменимыми.* Прием этот широко распространен в поэзии, которая любит говорить о том, чего нет, — вспомним пушкинский «Талисман» и многочисленные

мандельштамовские *Я НЕ...* (... увижу/ услышу/ войду... *Федры/ Оссиана/ в стеклянные дворцы...*). Намек на позитивный просвет в пелене негативности наступает лишь в самом конце: *незаменимые средства* отрицательны по форме, но идеально положительны по сути; впрочем, здесь они, как утверждается, отсутствуют.

Авторская речь Гинзбург полна противоречий. За *нельзя рассказать* следует рассказ; речь идет о «неотжатости опыта», но читаем мы нечто обобщенное, почти формульное. Последний парадокс особенно существенен. С одной стороны, происходит некое эмоциональное *вдруг*, человек *плачет*, текст отдает болью, холодом, судорожностью. С другой, все это дано в высшей степени отчужденно, *как бы из вторых рук*, с двойной поэтической подменой: субъективного 1-го лица объективным 3-м и биографического женского литературным неопределенно-мужским (*человек, он*).

Испытанным орудием литературного отстранения от «сырья» является техника рамок и точек зрения. В нашем фрагменте обрамление даже двойное. Внешнюю рамку (первый и последний абзацы) составляют рассуждения о стихах и прозе. Внутри нее изображен человек, сначала непроницаемый для мира, но затем приходящий в движение. Этот толчок заставляет его (и нас) заглянуть еще глубже, внутрь следующей рамки (которую я выделил абзацами — вторым и предпоследним; у Гинзбург вообще весь текст сплошной) и увидеть свою *долгую жизнь*. Впрочем, собственно «жизни»

мы не видим и там: даже в самой глубине серии рамок автор находит опять-таки *биографию*, да к тому же *плохо написанную*. Эта *плохо написанная*, но тем не менее *непоправимая*, картина вызывает сильнейший эмоциональный взрыв (развивающий первое *судорожное движение*). Прорвав внутреннюю рамку, он соединяет прошлое и настоящее, после чего, тоже на негативной ноте, замыкается и внешняя рамка (увы, дескать, не стихи!).

Три плана связаны друг с другом не только прямыми эмоциональными скрепами, но и изящным параллелизмом. В двух внутренних, «житейских», планах описывается трудная жизнь (в одном плане *долгая, вся*, в другом — один теперешний судорожный момент). На самой внешней рамке этому вторят авторские ламентации по поводу непомерности художественной задачи и зависти к другому роду искусства, что, кстати, является еще одной риторической фигурой из репертуара поэзии.

Само по себе обилие поэтических приемов не делает, конечно, этот отрывок стихотворением в строгом смысле. Как писали формалисты, в частности, один из учителей Гинзбург — Ю. Н. Тынянов, важна доминанта, главный конструктивный принцип текста. Каков же он?

Лиричности фрагмента противостоит его крайняя абстрактность, формульность, установка на научность, воспринимающаяся, особенно в разговоре на душевные темы, как сухость и наукообразие. Текст пестрит беззастенчиво научной лекси-

кой: адекватно, реакции, склеротически, некое психологическое событие, биография, тридцатилетней давности, трансформирует... Подобная терминология естественно мотивирована литературоведческим статусом книги в целом и ее автора. Но в контексте лирической темы и риторики отрывка эта терминология активизируется, воспринимаясь как свежий эффект вторжения в поэзию интеллектуально-прозаического начала. А это значит, что внепоэтический — «научный» — элемент находит себе место в поэтической структуре текста, причем вполне в духе известного историко-литературного принципа прозаизации поэзии.

Особенно интенсивным процесс прозаизации стал в XX в., выразившись, в частности, в двух разных, если не противоположных, установках: на концептуальную схематизацию текста (у футуристов и др.) и на «неумелое письмо» (в сказе и сходных явлениях, от Зощенко до Лимонова); у Хлебникова находим обе эти установки сразу. Гинзбург, конечно, ближе к первой из них (металитературному концептуализму), но у нее представлена и вторая — *плохо написанной биографии* подходят *неадекватная* проза, «сырость» и «недостаточная отжатость».

Разумеется, все сказанное — не более, чем научное объяснение в любви, попытка зависти, приступ *anxiety of influence* («страха влияния»? — Шишков, прости). Л. Я. Гинзбург не оставляет нам возможности метавозвыситься над ее текстом. В нем уже все есть — человек в поисках утраченного

времени, персонаж в поисках автора, критик в поисках жанра. Единственное, на что можно претендовать, это на роль благодарного ценителя находок, не по-пикассовски прикинувшихся поисками.

Р. S. Лидия Яковлевна прочла первый вариант разбора, я успел учесть ее замечания, и она одобрила окончательный текст.

ПОСЫЛКА

Пушай

Не успела моя книга о Зощенко выйти, как в ней обнаружились досадные пробелы. Кому жаловаться? Куда слать поправки?

В рассказе «Личная жизнь» фигурируют одновременно: Фрейд — под маской «буржуазного экономиста, или, кажется, химика, который высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, что мы делаем, мы делаем для женщин», и Пушкин — памятник, которому в момент решающего свидания с дамой герой, «мысленно любуясь стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин... подмигивает:... дескать, вот мол, началось, Александр Сергеевич».

Про все это я написал. Упустил только, что у Пушкина у самого есть фраза о ценности женщин, дословно роднящая его с Фрейдом и практически процитированная в рассказе: «Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий...» («Арап Петра Великого»). Спыхватился я уже потом, когда услышал эту фразу из уст одной прелестной, кстати, пушкинистки.

Про рассказ «Не пуцу» я написал тоже, в общем, неплохо. Но вот теперь один коллега с далекого Алтая прислал мне свой независимо сделанный разбор. Разбор хороший и в то же время «нестрашный»: у него свое, у меня свое. Одно обидно — он заметил то, что я постыдно прозевал, — что проходящая в конце рассказа реплика: «Пушай идут» эффектно обращает заглавие.

Утешаться остается тем, что всех, как гласит бластная мудрость, не переброешь. А на самый худой конец есть и обратная теорема, принадлежащая Вите Живову: «Всего не упустишь!»

Махаловка с НРЗБ

Я был уже немного знаком с Сергеем Гандлевским, когда под впечатлением «Устроиться на автобазау...» занялся его стихами — с точки зрения «инфинитивной поэзии». Из Санта-Моники я по электронной почте показал ему черновик статьи, получил ценные разъяснения и пригласил его на свой доклад в Москве (июнь 2000 г.). Поэт явился и, с непроницаемым видом играя самого себя, досидел до конца.

Он оказался моим соседом по двору и предложил заходить, что я и стал делать, наслаждаясь обществом его семьи, мастерским кофе по-турецки и нелицеприятным table talk'ом высшей пробы. Сережа подарил мне несколько своих книжек, а я ему своих, в том числе сборник рассказов «НРЗБ» (1991) и «Мемуарные виньетки» (2000).

Разговоры за кофе и на прогулках с его боксером Чарли были о разном — о культурном и политическом быте, литературе, наших собственных и чужих новинках. Мне близок Сережин неоклассицизм: концепта недостаточно, главное, как он говорит, предъявить «изделие». Но о моем последнем изделии — «Виньетках» — речь все не заходила, сам же я ее не заводил,

подозревая худшее и предпочитая суровое мужское обоюдное молчание.

Приехав летом 2001 г., я вручил Сереже свою новую статью (об обезьянах у Ходасевича и Зощенко) и за очередным кофе ожидал услышать отзыв. Перед тем, как идти к нему, я в телефонном разговоре с одной знакомой неожиданно нарушил внутреннее табу и обрисовал сюжет с суровым молчанием мужчин: вот, мол, буду у Гандлевского, а про «Виньетки» — ни-ни. Но прислушавшись к себе, я ощутил, что где-то там, в душевной глубине, вербализованный и как бы осознавший себя сюжет, преодолев первый барьер, готовится ко второму прыжку.

За кофе нелিপцприятный Сережа оценил статью как интересную, но не идущую в сравнение с прошлогодней.

— Конечно, та была о вас...

— Ну зачем. Тут всего лишь любопытные подтексты, а там было откровение. Ведь пишешь — думаешь, уникальное, а оказывается, работаешь в каноне.

Под эти сладостные звуки я окончательно размяк и перестал противиться зашевелившемуся соблазну. В конце концов, подумал я, суровая мужская прямота стоит сурового мужского молчания.

— Сережа, а что, мои виньетки вам совсем не понравились? Вы скажите, я пойму, — я указал на мужской характер нашей дружбы, — ведь ваша «Трепанация» сделана иначе.

— Скажу больше, я их не читал. Все знают, что последние полгода я пишу повесть и ничего не читаю.

— Но прошел год, так что шесть месяцев остаются не покрытыми.

— Все знают, я вообще ничего не читаю...

— Жаль. Виньетками я дорожу больше, чем, скажем, рассказами, которые даже не помню, дарил ли вам. А о чем «повесть»? Неужели просто про Ивана Ивановича?

— Именно, хотя я всегда твердил, что такое повествование устарело.

— А как называется?

— «НРЗБ». Понимаете?

— Как не понять — у меня у самого есть такой рассказ, по нему и книжка озаглавлена.

Разговор принимал поистине мужской оборот. Слегка дрогнув, Сережа спросил:

— У вас в уголках?

— В каких уголках?

Сережа руками показал угловые скобки.

— Нет, но думаю, и так ясно. А у вас ведь, небось, не просто заглавие, а сюжетный лейтмотив? — иезуитствовал я.

— Да, я и стихи для героя написал, там «нрзб» зарифмовано...

— У меня не зарифмовано, я взял пушкинские... Знаете, если я не дарил книжку, можно посмотреть на моем сайте. — Я повел рукой в сторону внутренних комнат.

Но Сережа, как написали бы мои любимые авторы, не сделал ни малейшей попытки предъявить стул.

— Нет, — демонстрируя мужскую выдержку, сказал он, — я себе настроение портить не буду.

Тут драматическая сцена прервалась — с дачи приехало Сережино семейство, и мы попрощались, наскоро поклявшись никому ни слова.

Вечером Сережа позвонил.

— Алик, вы очень расстроились, что я не читал «Виньетки»?

— Да уж, наверно, не больше, чем Вы, что не читали «НРЗБ».

— Ужасно. Я даже поплакался Лене. Она подержала меня, сказала: «Не уступай». Знаете, я потом в интервью все объясню...

Мне никаких интервью не предстояло, и я стал немедленно рассказывать знакомым, разумеется, под честное мужское ни гу-гу. А на другой день позвонил сам.

— Вот вы, Сережа, не любите вебсайтов, а я тут готовлю к вывешиванию статью, собственно, не статью, а главу из одной книги, точнее, не книги, а учебника, да, учебника для высших и средних учебных заведений с гуманитарным уклоном, — про «НРЗБ» пишут. Так что, как вы, с двумя школьниками в семье, это пропустили, просто загадка.

— Да, ужасно. Я даже Акунину пожаловался. Он говорит, надо менять. Я говорю, подумаешь, вот у тебя «Особые поручения» — таких названий в литературе, наверняка, десятки. Да, говорит, но, понимаешь, у меня проза массовая, а у тебя элитная.

— Будем утешаться тем, что доказано мое моральное право вас исследовать. Конгениальность налицо.

— Я решил вообще изменить стиль заглавия, тем более, что вещь фабульная.

— Например, «Я вас любил...»?

— Да, что-нибудь простое, вечное. А то «НРЗБ» слишком привязывало мою повесть к 90-м годам.

Следующий раунд состоялся за прощальным кофе перед моим отлетом в Штаты.

— Алик, я нашел у себя вашу книжку, с надписью. Я узнал ее...

— В ответ признаюсь, что под честное слово иногда рассказываю эту историю.

— А уж я-то!..

Мы попрощались крепким мужским рукопожатием, и я улетел умиротворенный, тем более что Сережа с немногословной мужской деликатностью вплел в разговор цитату из «Виньеток».

... Проходит два месяца — получаю e-mail: «Dorogoi Alik! Vse-taki NRZB obzhalovaniju ne podlezhit. Izvinite. Vash S. G.»

Что тут поделаешь? Как сказал в соответствующем интервью, кажется, Глинка, а до него, кажется, Мольер: «Je prends mon bien partout où je le trouve» («Я беру свое добро везде, где нахожу его»). И, как писал неразборчивый Пушкин, *ветфу и орлу/ И сердцу девы нет закона. / Гордись: таков и ты, поэт, / И для тебя условий нет.*

Не немецкий, а ненецкий

«Мемуарные виньетки» печатаются, а также вывешиваются в Интернете, и на них поступают отклики.

Некоторые критические, но очень полезные. Так, мне уже указали на ошибки во французском и английском; в Интернете исправил, в книжках исправляю по мере раздаривания.

Одна из бывших жен заявила по телефону претензию, что изображена исключительно в бытовом плане, а она уже четверть века как кандидат наук, в Америке у нее своя компьютерная компания — она и работодатель, и менеджер, и руководитель проекта. Я ответил, что жалобы пожарников на их неправильное изображение — сюжет в советской литературе известный, и конфликт постепенно уладился.

Другая живет далеко, в Париже, и, еще не видев книги, поинтересовалась у заехавшего в гости общего знакомого, есть ли там о ней. Я обещал книгу при случае привезти, а пока просил передать, что о ней есть: ей посвящено слово «почти» во фразе «почти все мои жены готовили хорошо».

Один рецензент ядовито описывает мой юмор как итеэровский, но призывает читателей отнестись к старику-шестидесятнику снисходительно. Другой отмечает опрятную бедность издания и журит за длинноты. Третья отчитывает за признания в былом коллаборационизме. И все хором обличают нарциссическую нескромность автора. Это точно. Но авторство, как я уже отмечал, вещь вообще нескромная.

Самый поразительный удар — прямо-таки в спину — настиг меня в родной «Звезде», где уж, казалось бы, можно было расслабиться. В 12-м номере

за 2000 год, под занавес тысячелетия, там появилось возмущенное «Письмо в редакцию».

Собственно, Андрей Арьев предупреждал меня еще в октябре, дескать, пришло письмо по поводу твоей пушкинской виньетки («Встречи с интересными людьми») — от самого Зельдовича. Я, помнится, удивился, какое дело Зельдовичу до Пушкина, тем более что ему вроде бы сто лет в обед; Андрей предположил, что, наверно, биологи нашли к нему какой-то ход. Это звучало правдоподобно, поскольку физика и биология уже давно сливаются в научном экстазе. Было даже лестно, что ради меня академики, находящиеся на переднем крае науки, временно отложили обуздание плазмы и ДНК и засели за письмо протеста. Зельдовича я дополнительно уважаю за приписываемую ему фразу: «Большевики пишут слово *БОГ* с маленькой буквы потому, что опасаются, что если написать с большой, то как бы Он не существовал». Я присоединился к мысли, что Зельдовича надо напечатать, и с нетерпением ждал попадания под эту лошадь, но продолжал дивиться, что он забросил занятия физикой и теологией по столь ничтожному поводу.

О предстоящем — а затем уже и состоявшемся, но еще не доплывшем на тихоокеанский берег и мне недоступном — поношении меня Зельдовичем я с удовольствием рассказывал знакомым. Некоторые сомневались: точно ли Зельдович? Да, отвечал я, представьте, сто лет в обед, а взялся-таки за перо. Да нет, говорили мне, он давно умер. Как же

умер, парировал я, когда написал, — не с того же света? Это уж было бы слишком много чести!..

В общем, журнал пришел. Оказалось, не Зельдович, а Зельдич. Как говорится в одном анекдоте советских времен, «унитаз не немецкий, а ненецкий, но полный комплект» (Кто не помнит: «Эту палку втыкаете в землю, чтобы не снесло ветром, а этой отбиваетесь от волков»). С передержками, жалобами на диффамацию пожарных и концовкой в традиционном стиле: «Что познавательного вынесет для себя читатель “виньеток”?».

Хорошо, хоть Зельдовича от них Бог уберег.

Еще не вечер

В 1967 году я отдыхал в санатории «Курпаты» под Ялтой. «Курпаты» принадлежали Музфонду, но главный корпус арендовался «Интуристом», так что обладателям советских путевок (меня устроил папа — член Музфонда) приходилось довольствоваться номерами на двоих. Моим соседом оказался бодрый восьмидесятилетний старичок с легко запоминающимися именем, отчеством и фамилией: Александр Сергеевич Соловьев.

— Я вас понимаю, — сказал он в первую же минуту знакомства. — Ваше дело молодое. Так что чувствуйте себя свободно. Приходите и уходите в любое время, хотите — в дверь, хотите — в окно. Меня не стесняйтесь. Я понимаю.

Лучшего соседа нельзя было себе пожелать, и мы зажили душа в душу. Правда, воспользоваться

широтой его взглядов мне почти не пришлось: в то лето я усиленно работал над диссертацией, а когда у меня все-таки возник курортный роман, у его героини, интуристовской переводчицы, оказалась отдельная комната, и я приходил к себе уже после завтрака.

Как-то раз мы встретились с Александром Сергеевичем, когда он вернулся с утренней прогулки в возбужденном состоянии.

— Сейчас был новый заезд, — сказал он. — Я познакомился с одной из новоприбывших. Такая полная дама, лет пятидесяти. Я подошел к ней, представился, предложил показать территорию... Мы погуляли по парку, разговорились. Очень интересная дама. Я, как будто, тоже произвел на нее впечатление. Но потом я сморозил страшную глупость...

— Глупость? Какую?

— Она спросила, сколько мне лет, я подумал и сказал семьдесят. И сразу понял, что сваял дурака, — она тут же потеряла ко мне интерес. Да... Надо было сказать шестьдесят!..

Он сокрушенно замолчал. Разница между шестюдесятью и семьюдесятью показалась мне, тридцатилетнему, сугобо академической, но я, конечно, не подал виду. Заключительная реплика Александра Сергеевича врезалась в мою память, и с тех пор я несколько раз использовал ее в шутиво-утешительных тостах на шестидесятилетних юбилеях старших коллег (в том числе Розенцвейга — в 1971-м).

А когда мне самому стукнуло шестьдесят два, я подарил себе эту запись.

Доля шутки

Насколько честен самый добросовестный реалистический текст?

Шкловскому принадлежит разграничение фабулы и сюжета: того, *что* рассказывается, и того, *как*. Когда фабула берется «из жизни» — из истории, биографии, документа, она оказывается носителем «правды». На сюжет же возлагается освещение этой «правды» — вчитывание в нее авторских установок.

Эйзенштейн пришел к своей теории монтажа, поработав подмастерьем Эсфири Шуб над идейно направленным «перемонтированием» западных фильмов. Ее шедевр — «Падение династии Романовых», где с помощью монтажных ножниц и клея кинохроника царского времени поставлена на службу большевистской пропаганде. Исходные кадры — чистая фабульная «правда», а монтаж — сюжетная манипуляция в интересах определенной идеологии, то есть, строго говоря, вымысла, с точки зрения же автора, — глубокой «истины», скрытой в фактах.

Взаимная относительность того, что по-русски удается противопоставить как «правду» и «истину», была осознана Ницше. На знаменитый вопрос Пилата он ответил радикально антифабульным образом: «Что же такое истина? Подвижная армия

метафор, метонимий... сумма человеческих отношений, которые были усилены... и украшены поэтически и риторически и от долгого употребления обрели твердость, каноничность и обязательность». Аналогичную фразу вложил в уста своему рассказчику в «Гюи де Мопассане» друг Эйзенштейна Бабель: «Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия».

Рецепты соединения «правды» и «истины» дают целую гамму переходов от протокольного документа к дневнику, историческому описанию, историческому роману и далее роману беллетристическому, научно- и просто фантастическому. Для мемуарных текстов стержневым является вопрос о степенях свободы в повествовательной обработке «правды» — о том, чтобы, перефразируя Берлага, все делалось одновременно в интересах правды и в интересах истины.

Особый соблазн представляет возможность сознательного применения приемов, описанных великими теоретиками. И уж полный нарциссический кайф (а нарциссизм и наркотики — от одного греческого корня) дает ретроспективный разбор этих опытов, освященный, кстати, авторитетом Эйзенштейна, который видел себя и Моцартом, и Сальери.

В серовском портрете Ермоловой Эйзенштейн обнаружил наложение ряда монтажных планов. Обрезы рамы, линии пола, зеркала и, наконец, отраженного в зеркале верхнего угла залы (на ко-

торый спроецирована голова) дают последовательность укрупнений по мере приближения к лицу актрисы. При этом изображение постепенно переходит от точки зрения сверху (на ноги) к точке зрения снизу (на голову). Сочетание этих двух конструкций создает у зрителя ощущение коленопреклонения перед вырастающей на глазах моделью.

А в автоанализе «Потемкина» Эйзенштейн пишет, что фильм «выглядит как хроника, а действует как драма», — благодаря тому, что изложение фактов строится по открытой им «экстатической формуле»: в фильме в целом и в каждом из его пяти актов «действие как бы выходит из себя», перебрасываясь по всем измерениям в свою противоположность.

Позволю себе несколько нескромных па à la Эйзенштейн.

По поводу своего мемуарного эссе о Якобсоне я с удовольствием слушал положительные отзывы: «интересно читается», «оставляет чувство близкого знакомства», «показывает его со стороны». Любопытнее было то, что среди критических замечаний блистали своим отсутствием привычные упреки в нарциссизме. Но, как известно от того же Якобсона, против инварианта не попрешь. Мой нарциссизм никуда, конечно, не делся; он просто ушел в позаимствованные у великих мастеров повествовательные приемы.

Прежде всего потребовалось четко осознать, что хотя в рассказе о встречах с Якобсоном моя драгоценная личность будет присутствовать, она

никоим образом не должна выпячиваться. То есть, нельзя будет, скажем, прибегнуть к излюбленному другом Якобсона Маяковским игровому «опусканию» классиков: стаскиванию с пьедестала, похлопыванию по плечу и дальнейшему осквернению.

Вместо этого я решил опробовать серовско-эйзенштейновскую фигуру «преклонения», но вывернуть ее наизнанку. Не искажая фактов, я построил историю знакомства с Якобсоном на постепенной смене точек зрения: от «издали и снизу» (слухи о нем и чтение его работ) к «вблизи и снизу» (восприятие его лекции и знакомство в Москве), затем к «вблизи и вровень» (в гостях у него в Гарварде), к «вблизи и сверху» (тщеславие и другие слабости Якобсона) и, наконец, к «издали и сверху» (посмертный разбор его обид на постструктуралистов).

В сочетании с прямо выраженными — вполне искренними — восторгами перед культовой фигурой и осторожными заявками на самоотождествление с ней этот рисунок «коленопреклонения наоборот» дал, мне кажется, искомый результат. Взаимоукрощению подверглись и устрашающая статуя великого пращура, и по-эдиповски вззирающий на нее самолюбивый «маленький человек»-мемуарист.

... Правду говорить легко и приятно, тем более — нарциссическую.

Указатель имен

- Акимов, полковник 80-82
Акопов А. А. 127
Аксенов В. П. 403, 421-422, 450, 568-572
Акунин Б. (Чхартисвили Г. Ш.) 593
Алехин А. А. 96
Аллен Вуди 170
Алянский С. М. 411
Амбегаокар Винай 375, 378
Амин Иди 490
Анастасия Ивановна 32-33
Андерс Владислав 271
Андерсен-Нексё Мартин 399
Анджеевски Ши́ла 273
Анджеевский Богумил 271-274
Андреев Л. Н. 469
Анка, пулеметчица 460
Антониони Микельандже-ло 243, 375-378
Аполлон 73, 540
Апресян Ю. Д. 141-142, 180, 220, 281
Аристотель 558
Аркадьев В. Г. 65, 72, 74, 78, 545
Арьев А. Ю. 596
Аташева П. М. 547-548
Афина 64
Ахмадулина Б. А. 144-155, 420-425, 527
Ахманова О. С. 60-61
Ахматова А. А. 131-136, 155, 161, 214-215, 261-262, 467-468, 476-479, 537, 540-543, 549, 561, 573-574, 579, 582
Ашенбах Густав фон 234-235
Бабель И. Э. 47, 324, 329, 403, 411, 427, 466-467, 600
бабушка, старушка 249-251
Бажан Микола (Н. П.) 499
Баканов, полковник 147
Баран Генрих 344
Баратынский Е. А. 324
Барре Мохаммед Сиад, генерал 255-256, 312
Барт Ролан 475
Баскин Элья 568
Баткин Л. М. 480-482
Батюшков К. Н. 405-406, 409-411
Баумов 545
Бах Иоганн Себастьян 181-182
Бахтин М. М. 72, 221, 245-246, 323, 402, 434, 449, 475, 537
Башевис Зингер Исаак 374
Башмакин А. А. 369

- Бейкер Карлос 112
Бейлис В. А. 323
Безродный И. С. 208-213
Безухов П. К. 429
Белая Г. А. 543-544
Белинский В. Г. 245
Белль Мари 108-110
Белый Андрей (Бугаев Б. Н.) 399
Бельмондо Жан Поль 241
Бенвенист Эмиль Б 358
Бендер О. И. 13, 180, 193, 260, 405, 411, 578-579
Бендерский 411
Бенигсен Л. Л. 567-568
Берг А. И. адмирал 280-281, 309
Бергманн Арни 112
Березин Ф. М. 291
Берия Л. П. 562
Берлин Исая, сэр 542-543
Бесс Ги 292
Бете Ганс 384
Бетховен Людвиг ван 104, 108, 208-209, 212
Бицоев, полковник 65
Блаватская Е. П., мадам 574
Благой Д. Д. 217-218
Блок А. А. 104
Блум Гарольд 403
Блументол Стив 329-331
Блэколл Эрик 383
Блюмбаум А. Б. 595
Блюменфельд Бениамин 95
Боас Франц 282
Бовари Эмма, мадам 103
Богард Дирк 233-236
Богарт Хамфри 473
Бонд Джеймс 74
Бор Нильс 191
Борджиа (Борджа), семейство 532
Борман Мартин 71
Бородулина М. К. 173, 290, 294, 314
Борхес Хорхе Луис 374, 426-41
Ботвинник М. М. 96-97
Брагинский И. С. 213, 498-499
Брежнев Л. И. 260
Брик Л. Ю. 132
Бродский И. А. 432-433, 467
Бройде Э. (Антонов Д. А.) 572-573
Бройль (Брольи, Бролье) Луи Виктор де 178-179
Бронштейн Д. И. 96
Брюан Аристид 113
Буало Никола 386
Булгаков М. А. 537, 567-568
Буратино 31
Бурьянова М. 521
Бушмин А. С. 238
Буюкас, грек 370-372
Быков Р. А. 472
Бэбби Леонард 268-269, 336, 381

- Бэйли-Лэнд Ричард 568-570
Бэмби 51-52
- Вагинов (Вагенгейм) К. К.**
553
- Вайсмюллер Джонни 53
Варенька Б. 566
Василий, товарищ 114-115,
279
Василий Васильевич 144
Ватсон (Уотсон), доктор
534
Вежбицка Анна 358, 474
Верлен Поль 386
Вертинский А. Н. 243
Вертов Дзига (Кауфман Д. А.)
142
Висконти Лукино 233
Витька и Вовка 54
Во Ивлин 62-63
Вознесенский А. А. 155,
461
Волкова Надя 21
Волковыская Е. В. 261
Вольтер (Аруэ Мари
Франсуа) 554
Ворошилов К. Е. 173, 468,
562
Высоцкий В. С. 76, 526, 574
Вышинский А. Я. 71
- Галан Франтишек 347
Галансков Ю. Т. 289, 474
Галич А. А. 526
- Гальциона (Альциона,
Алкиона) 402-412
Гамкрелидзе Т. В. 357
Гамлет, принц 497
Гамов Джордж 36
Гандлевский С. М. 590-594
Гарпагон 42
Гаспаров Б. М. 344-346, 528
Гаспаров М. Л. 244, 403-
412, 527, 553
Гастафсон Ричард 193-194
Гауди (-и-Корнет) Антонио
404
Гевара Че (Серна Эрнесто
Гевара де ла) 574
Гегель, Георг Вильгельм
Фридрих 90
Гейне Генрих 36, 267
Гектор 228
Генрих IV 156
Гердт З. Е. 461
Геринг Герман 71
Герцог 577
Гершензон М. О. 323, 495-
496
Гесс, Рудольф 71
Гёте Иоганн Вольфганг 76-
77, 165, 175, 463-464
Гиббиан Джордж 330-339,
345, 348, 381-383, 387, 452-
455, 564
Гилинис А. М. 22
Гиммлер, Генрих 71
Гинзбург А. И. 289, 395, 474

- Гинзбург Е. Л. 139-142, 185-186
 Гинзбург (Жолковская) И. С. 117, 131, 146, 395, 595
 Гинзбург Л. Я. 580-586
 Гиннесс Алек, сэр 228-229
 Гитлер, Адольф 71, 164-165, 275, 278-279, 357, 490
 Гладкий А. В. 226-227
 Глинка М. И. 594
 Гоголь Н. В. 49, 98, 134, 369, 463, 476, 478, 487, 516, 520
 Годар Жан-Люк 358
 Голенищев-Кутузов М. И. 567-568
 Голенищев-Кутузов 2-й 213
 Гомер 428, 466
 Гораций Флакк Квинт 386
 Горбачев М. С. 421
 Горовиц Владимир 579-580
 Горький Максим (Пешков А. М.) 41, 245, 562, 574
 Грант, капитан 270
 Грант Улисс Симпсон 269
 Григорьев А. А. 459
 Гринберг В. М. 397-398, 448, 450
 Гринев П. А. 162
 Гриффит Дэвид Уорк 64
 Гройс Борис 576-577
 Гудини Гарри (Вайсс Эрих) 530-531
 Гульд Глен 181
 Гумилев Л. Н. 214-216
 Гумилев Н. С. 214-215
 Гухман М. М. 359
 Гюисманс Жорис-Карл 477
 Дали Сальвадор 404
 Даль В. И. 486
 Данилов, генерал 66-67
 Данин Д. С. 178-179
 Даниэль Ю. М. 275, 356, 474, 490
 Дантес Жорж Шарль 469
 Дарвин Чарльз 194
 Дворкин, полковник 84
 Двукраев Кирилл 95-96
 Дебрецени Пол 344
 Демидова А. С. 472
 Державин Г. Р. 393
 Деррида Жак 374, 475
 Джармуш Джим 417
 Джеймс Генри 55
 Джинчарадзе Володя 29-30
 Джэн 52
 Дзержинский Ф. Э. 35, 39
 Диамант, полковник 121
 Дик С. И. 51
 Диккенс Чарльз 62-64, 518
 Дионис 72
 Дирак Пол 36
 Дисней Уолт 52
 Довженко А. И. 288-289, 305, 310
 Долгопольский А. Б. 180-181, 295, 317-319

- Долежел Любомир 339-343
Доренский С. Л. 208
Достоевский Ф. М. 152, 246, 278, 378, 394, 449-452
Дрейзин Ф. А. 35, 127-129, 197, 322
Дрожжинин В. А. 403
Дубчек Александр 303
Дункаль Махмуд 187-188, 282-283
Дыбля, подполковник 83-84
Дыбо В. А. 356
Дюкро Освальд 358
Дюма Александр, отец 229
Дюшан Марсель 579

Евсеев С. С. 288, 306
Егоров Б. Ф. 238-239
Ежов Н. И. 35
Екатерина II 402
Екельчик, капитан 121-123
Ельцин Б. Н. 108
Ермилов В. В. 478
Ермолова М. Н. 600-601
Ерофеев Викт. В. 449, 553
Есенин С. А. 112, 574
Ефимов М. Б. 128
Ефремов И. А. 160

Жванецкий М. М. 487
Жданов А. А. 27, 90, 161, 562
Живаго Е. А. 164
Живов В. М. 585
Жироду Жан 228
Жолковский К. П. 39
Жуковский В. А. 323-324
Жулковский Стефан 358

Заборский Анджей 272
Зализняк А. А. 146, 205-206, 212, 265, 295, 536
Засулич В. И. 484
Заходер Б. В. 444-447
Зельдич Ю. В. 596-597
Зельдович Я. Б. 596-597
Зенкевич А. Н. 25-28
Зенкевич Е. М. 24-25, 28
Зенкевич М. А. 24-28
Зенкин С. Е. 137-138
Зенкин С. Н. 516
Зиновий Михайлович 103
Золотарев Валера 32
Зорина Н. В. 516
Зощенко М. М. 49, 90-92, 98, 103, 161, 165, 249, 403, 405, 467-468, 477, 537, 580, 585, 589, 591

Ибаррури Долорес 111, 116
Иванов Вс. Вяч. 132
Иванов Вяч. Вс. 79, 117, 128, 130-132, 137, 175, 202, 250, 280-281, 291-292, 308-9, 343, 350, 354, 356, 359, 362, 467-468, 482-483, 510, 521, 528, 547, 561-562
Иванов М. В. 132

- Иванова Т. В. 133, 165
Ивинская О. В. 133, 165
Иглтон Терри 386
Игнатъев А. А. 341
Игнатъев Джордж 340-341
Иллич-Свитыч В. М. 356
Ильф (Файнзильберг) И. А.
213, 404, 436, 487, 489,
538-540
Иокаста 28
Ионеско Эжен 326
Иорданская Л. Н. 356, 449-
451
Иосиф II 196
Ипполит 110
Искандер Ф. А 275-280, 314
Искарот Иуда 469

Кабаков И. И. 157-158, 576-
579
Каверин В. А. 132
Каганская Майя 396-397
Казанцев 403
Каллер Джонатан 269-270,
349, 364-368
Кант Иммануил 90
Капабланка Хосе Рауль 96
Каплер А. Я. 214
Капчиц Г. Л. 258-260, 286-
288, 295-297, 300, 310
Карамзин Н. М. 75, 394
Карден Патриция 378-380
Карл I 228-229
Карл V 404
Кармазинов С. Е. 394
Кармен 104-105
Карнап Рудольф 355
Карпов А. Е. 97
Карпушин В. Г. 293-295
Картер Джимми 452
Касем Хасан 283-284, 313
Каспаров Г. К. 97
Кастро Жозуэ де 147-149
Кастро Рус Фидель 117, 482
Катанян В. А. 132
Кеик 407-410
Керриген Энтони 433-435
Киж, подпоручик 408
Ким Ир Сен 490
Киплинг Редьярд 104, 215
Кириллов, капитан 65
Киров С. М. 174
Кирсанов С. И. 353
Клайн Ричард 349
Кларк Катерина 501
Клейман Н. И. 547
Кнорозов Ю. В. 130-131
Ковалев А. А. 219
Козлов Л. К. 502-503, 547
Козлов П. 258-261
Колмогоров А. Н. 167
Колшанский Г. В. 193, 293-
294, 497
Кольридж Сэмюэл Тейлор
559
Коля, дядя 72-73
Комановский 291-293, 308-
309

- Компанеец Катя 391, 518-519, 522, 525-526, 530-539
Конен В. И. (В. Дж.) 100
Кончаловский А. С. 426
Корейко А. И. 578-579
Корельская К. В. 44-45, 254-255
Корельская Т. Д. 23, 51, 168, 252-258, 325, 343, 370-373, 378-80, 424, 527, 595
Коржавин (Мандель) Н. М. 391-394, 447
Король 577
Коршунов А. Д. 29-32
Котовский Г. Г. 214-216
Котовский Г. И. 214
Кочеткова З. В., генеральша 252-258
Кристева Юлия 201, 358
Кромвель Оливер 228-229
Крузо Робинзон 413
Кузенков М. М. 569-570
Кузнецов П. С. 287
Кузьмин Валера 75-79
Купер Гэри 242
Курилович Ежи 358
Курицын В. Н. 324-325, 465
Курчев 15-16
Лавров А. В. 399
Лажечников И. И. 574
Лазарев (Шиндель) Л. И. 500
Ланг Фриц 358
Ларина (Седова) Е. В. 23
Ларина Т. Д. 217
Ларионов В. Д. 232-233
Ласка 568
Ласкер, Эммануил 96
Лаура 404-405, 409
Лахманн Рената 412
Лебедь Н. Е. 298-299
Леберт Стивен, Норберт 71
Левин В. И. 218
Левин (Лёвин) К. Д. 568
Левин Ю. И. 528
Левинтон Г. А. 403, 506
Леви-Стросс Клод, 195, 365
Ленин В. И. 84, 191, 245, 259-260, 283-284, 304-305, 313, 485, 490, 571, 574
Леннон Джон 574
Леонтьева Н. Н. 78
Лермонтов М. Ю. 30, 103, 323, 463, 526, 582
Лесков Н. С. 451
Либерман А. С. 344
Ливингстон Анджела 161
Лидия Филипповна, англичанка 37-38, 57
Лимонов (Савенко) Э. В. 55-57, 323, 373-374, 379-380, 431, 476, 506, 526, 529, 532, 585
Линдекенс Рене 200
Линкольн Авраам 269
Литвинов П. М. 289
Лоллобриджида Джина 471
Ломинадзе В. В. 174, 244

- Ломинадзе С. В. 174, 244-246, 491-492, 504
 Лотман М. Ю. 240
 Лотман Ю. М. 236-240, 343, 356, 475, 495-496, 528
 Лысенко Т. Д. 562
 Львов Володя 61
 Льюис Фил 349
 Лэмберт Кит 370-372
 Людовик XIII 229
 Людовик XV 471-472

 Мазель Л. А. 10-11, 15, 20-24, 54, 85-108, 208, 212, 255, 384, 498
 Мазель (Урысон) Р. С. 20, 54, 89
 Мазель Ю. А. 90, 230-231
 Мазур Н. Н. 589
 Майенова Мария-Рената 220, 358
 Майерс (Абаева) Диана 506
 Малаша 567-568
 Малевич К. С. 579
 Малинин С. Г. 298
 Мамардашвили М. К. 493-495
 Мамлеев Ю. В. 506
 Ман Поль де 347-349, 374
 Мандельштам Н. Я. 25
 Мандельштам О. Э. 5, 24-28, 136, 165, 411, 506, 527, 582-583
 Манн Наталия 234
 Манн Томас 234-6, 437

 Мао Цзэ-Дун 489-90
 Марамзин В. Р. 393-394
 Марков А. А. (мл.) 166
 Марков А. А. (ст.) 166
 Маркс Карл 106, 192, 245, 504, 471 Марлинский (Бестужев-) А. А. 463
 Мастермен Маргарет 355
 Матейка Ладислав 339
 Матич Ольга 23, 47, 385, 392-393, 444-447, 452-455, 459, 529, 548
 Махароблидзе Г. 176-177
 Маяковский В. В. 350, 368, 393, 395, 461, 602
 Медведев В. В. 155-8 Мейер Ян 319-321
 Мейлах М. Б. 540
 Мелетинский Е. М. 202, 481
 Мельчук И. А. 138-139, 152-155, 167-186, 193, 206, 223, 251-252, 266-270, 281, 317-319, 349-351, 356, 359-362, 449-451, 474, 505, 527, 562
 Мендоса Оскар 388, 391
 Меншиков А. Д. 257
 Мессерер Б. А. 430-432
 Метц Кристиан 201, 358
 Мефистофель 77
 Мидлер А. П. 156-160
 Миклессен, профессор 281
 Мильтон Джон 428

- Минц З. Г. 240
Миронов Ф. К. 569
Михалков Н. С. 320
Михеева О. Н. 68-71, 85
Миша, дядя 72
Мишка 231-232
Мольер (Поклен Жан Батист) 49, 594
Монас Сидни 560
Мономах Владимир 156
Мопассан Ги де 411, 580, 582
Мордвинов Н. Д. 214
Моренов П. В. 127
Морфей 48
Моцарт Вольфганг Амадей 196, 265, 579-580, 600
Мэлоун Дэвид 388-391
- Набоков В. В. 96, 328-329, 367, 429-431, 437, 440
Набоков Д. В. 374
Нагибин Ю. М. 425-426
Надежда 231-232
Найман А. Г. 540-545
Наркевич А. Ю. 292, 307
Насреддин Ходжа 5
Нейгауз Г. Г. 133
Неклюдов С. Ю. 326, 497
Немзер А. С. 326, 553
Немчук Т. (Кучмент Марк) 138-139
Николз Джоханна 256-257
Николсон Джек 243
- Ницше Фридрих 484, 510, 599
Новиков В. И. 328
Нострадамус Мишель 531
Нуаре Филипп 241
Ньютон Исаак 342
- Обломов И. И. 452
Оборина М. А. 359
О'Брайен 69
Овидий Назон Публий 407-410, 412
Одиссей 228
Одоевский В. Ф. 463
Озеров В. М. 491-492
Оккам Уильям 229
Окуджава Б. Ш. 451-452, 463, 469, 526-529
Олбрайт Мэдлен 150
Онегин Е. 29, 217
Оруэлл Джордж 69
Осват А. Л. 96, 328
Островский А. Н. 22
Охотина Н. В. 287
- Павлов И. П. 191
Падучева Е. В. 152, 206, 265, 356
Палиевский П. В. 174, 202
Паниковский М. С. 428
Паперно Ирина 18, 246, 344-346, 395-396, 400-401, 549-551
Паперный В. З. 17, 391

- Партэ Кэтлин 364
 Пастернак А. Л. 162-164
 Пастернак Б. Л. 26, 29, 131-136, 162-165, 240, 245, 255, 361, 363, 381-384, 422, 461-462, 473-475, 527, 582
 Пастернак Е. Б. 133, 164
 Пастернак (Лурье) Евг. В. 133, 164
 Пастернак (Вальтер) Ел. В. 133
 Пастернак З. Н. 133
 Пастернак Л. О. 164
 Пемброк 198-199
 Первухина Наталия 466-467
 Перцов Н. В. 49-51, 476, 503
 Петер 50
 Петришин Я. 118-123
 Петров (Катаев) Е. П. 213, 404, 436, 489, 538
 Петров И. В. 103
 Петровых М. С. 27
 Петька 459
 Печорин Г. А. 103
 Пикассо Пабло Руис 586
 Пилат Понтий 599
 Пирожкова А. Н. 329
 Платонов А. П. 425, 500
 Подгорный Н. В. 248, 302-305
 Подорога В. А. 323
 Поза Родриго, маркиз 180
 Ползунов И. И. 176
 Поливанов М. К. 132-133
 Поллок Джексон 579
 Померанц Г. С. 203
 Поморска Кристина 201, 344, 355-358, 361-363, 368
 Понте Лоренцо да (Конельяно Эмануэле) 531
 Попов Е. А. 448-451, 508
 Портос 30
 Потапенко И. Н. 463
 Преображенский Е. А. 33
 Преображенский Ф. Ф. 62, 566-567
 Пресли Элвис 574
 Пригов Д. А. 447-448, 556, 559
 Проперций Секст 406
 Пропп В. Я. 194-196, 365, 492
 Прохорова И. Д. 501
 Пруст Марсель 427, 574
 Прутков К. П. 334
 Птицын О. Б. 263-264
 Пудалов А. 113
 Пушкин А. С. 28, 164, 217, 245, 261, 323-324, 360-361, 367, 369, 402-405, 410-412, 439, 448, 468-469, 476, 478, 487, 526-527, 551, 565, 574, 589, 592, 594
 Пхенц 477
 Пятигорский А. М. 274
 Рабинович 100, 106
 Радек (Собельсон) К. Б. 487
 Рамишвили Г. В. 357

- Расин Жан 109
Рассадин С. Б. 279
Рассел Бертран 340-342, 488
Рахманинов С. В. 426
Рахметов 158
Ревзин И. И. 356
Рейган Рональд 452
Рейн Е. Б. 461-462
Рембо Артюр 179
Реформатский А. А. 185
Рильке Райнер Мария 165
Риман Бернхард 186
Риффатерр Майкл 346, 403
Риш Клод 42
Робер-Уден Жан Эжен 531
Рождественский Ю. В. 293
Розанов В. В. 475
Розанова М. В. 474-475
Розен А. Е., барон 411
Розенталь Шарль 576
Розенцвейг В. Ю. 14, 153, 237, 281, 289, 292-294, 308, 350, 356, 497, 520-521, 598
Ройтштейн Миша 30
Романов С. П. 284, 305
Ронен Омри 223, 344, 355
Росси-Ланди Ферруччо 358
Ростов Н. И. 570-571
Рыбакова Д. С. 10-13, 20-24, 30-34, 40, 52, 54, 58, 69, 89, 112, 135, 145, 153, 174, 255
Рыкачев Я. С. 425
Рубинштейн Л. С. 595
Румшиский Б. Л. 300, 306
Сальери Антонио 265, 600
Самарин Р. М. 545-546
Санд Жорж (Дюпен Аврора) 210-212
Сарнов Б. М. 92, 573
Сахаров А. Д. 56, 173
Светлова (Солженицына) Н. Д. 185, 395
Сегал Д. М. 195, 541-544
Сезнек Алэн 381
Сейфрид Томас 346
Сенокосов Ю. П. 493-495
Сепе Дьёрдь 154
Сервантес Сааведра Мигель де 404
Серов В. А. 600
Синявский А. Д. 275, 303, 356, 473-478, 490, 501
Сипачев Витя 57-59
Сковорода Г. С. 431
Скоропанова И. С. 593
Скотт Вальтер, сэръ 165
Смирницкий А. И. 60
Смирнов И. П. 459, 461, 483
Смит Хедрик 34
Соколов Саша (А. В.) 373, 377-378, 426-444
Сократ 108
Солженицын А. И. 56, 240, 297, 303, 395, 452, 485-486, 574

- Соловьев А. С. 597-598
Соссюр Фердинанд де 204
Сталин И. В., товарищ 26,
33, 37, 71, 110-101, 173,
279, 450, 479, 490, 493,
562, 566
Станиславский (Алексеев)
К. С. 66, 124, 562
Старкова А. К. 60, 62-64
Старостин С. А. 410
Старший Брат 69
Стефенсон (Стивенсон)
Джордж 176
Степанов Г. В. 218
Степанова З. Н. 296, 307,
312
Столуорти Джон 382
Стрелковский Г.М., 280
Стругацкие А. Н. и Б. Н.,
братья 328
Суворов А. В. 74, 430
Сучков Б. Л. 202-203
Сэндлер Стефани 565-566
Сэпир (Сепир) Эдвард
190-192, 282, 355

Тарановский К. Ф. 361-363,
403
Тарзан 52-53
Тарковский А. А. 242
Тартар Хэлен 513-515
Твен Марк (Клеменс
Сэмюэл) 577
Телешева Е. С. 547
Тер-Микаэлян Т. М. 226
Тименчик Р. Д. 403, 538-
540, 561
Толстая Т. Н. 553
Толстой Л. Н. 72, 105,
146-147, 193, 355, 399-400,
435, 563-564, 566-572, 574
Толстых, рядовой 82
Толян 254-255
Трир Иост 355
Троцкий (Бронштейн) Л. Д.
33, 493
Трубцкой Н. С. 360
Тулуз-Лотрек Анри де 113
Тургенев И. С. 124, 211
Тухачевский М. Н. 570
Тынянов Ю. Н. 470, 492,
584
Тьюринг Алан 14-15
Тютчев Ф. И. 85

Уайльд Оскар 58
Уатт Джеймс 176
Уорф Бенджамин Ли 190-
192, 282
Уорхол Энди 579-580
Уоткинс Калверт 358
Урнов Д. М. 500
Успенский Б. А. 218, 237-
238, 321, 356
Успенский В. А. 236, 321-
322, 325, 356, 528
Устинов В. А. 130
Ушаков Д. Н. 486

- Файкин Феликс 35-39
Файнциммер А. М. 214
Фанфан-Тюльпан 471-472
Федоров А. 112
Федоров Н. А. 112
Федра 109-110, 583
Фейнберг Е. Л. 100
Фейнберг И. Л. 100
Фейлен Джеймс 466-467
Феллини Федерико 333
Фет (Шеншин) А. А. 85
Филипп Жерар 471
Филлипс, мистер 415-416
Финн В. К. 132
Финни Альберт 242
Флетчер Луиз 69
Флобер Гюстав 103
Форман Милош 69
Франк С. Л. 145, 449
Франко, итальянец 334-336
Франс Анатолий 158
Фрейд Зигмунд 34, 162, 504-505, 538, 589
Фролов И. Т. 493-495
Фрунзе М. В. 569
Фюнес Луи де 41-42, 49
- Халтурин С. Н. 484
Хасан Ина Абдулла, мулла 187
Хаши Абди 284-285, 308, 310
Хаши Ахмед Абди 187-188, 283, 286, 309
Хворобьев Ф. Н. 436, 441
- Хейз Дэвид 197
Хелмс Джесси 453-456
Хемингуэй Эрнест 110-116, 280, 404, 427
Хлебников Велимир (В. В.) 69, 429, 585
Ходасевич В. Ф. 423, 425, 591
Холстомер 568
Хомский (Чомски) Ноам 351-352
Хофман Роальд 374, 382-385
Хрущев Н. С. 27, 67, 132, 231, 356, 479
Хусейн Саддам 202
Хэпберн Одри 242
Хэррис Ричард 228
- Цеткин Клара 537
Цивьян Ю. Г. 233, 249-250, 328, 460
Ципф Джордж Кингсли 419
Цирулис (Цивьян) Гунар 249-250
Цорес, крошка 477
- Чайковский П. И. 208-209, 212
Чапаев В. И. 162, 166, 459
Чапский Йозеф 271
Чарли, боксер 590
Чемоданов Н. С. 359
Чернов И. А. 495
Черномырдин В. С. 487

- Чернышевский Н. Г. 344
 Черчилль Уинстон, сэр 76, 279, 559
 Чехов А. П. 105, 463, 477, 572-576
 Чикоидзе Г. 176, 356
 Чингисхан (Тэмуджин) 104-105
 Чудаков А. П. 483-484, 574-577
 Чудакова (Хан-Магомедова) М. О. 483-484
 Чуковская Л. К. 161
 Чуковский К. И. 152, 279, 487
 Чупринин С. И. 508
 Шайкевич А. Я. 293-294, 304, 314
 Шаламов В. Т. 165
 Шамелис Вера 551
 Шампольон (Шамполион) Франсуа 210
 Шапиро Майкл 363
 Шарик 566-568
 Шарики П. П. 62
 Шатобриан Франсуа Рене де 199-200
 Шаумян С. К. 142, 185-186
 Шацкин Л. А. 174
 Швондер 566-567
 Шекспир Уильям 61, 428, 435, 437, 563
 Шелепень, ученик 31
 Шемякин Михаил 506
 Шепард Дэвид 460-461
 Шервинский С. В. 408
 Шибанов Ф. И. 33
 Шиллер Фридрих 76
 Шишков А. С. 585
 Шкловский В. Б. 136, 175, 202, 353-355, 360-362, 366, 492, 599
 Школьников Т. Г. 51
 Шолом-Алейхем (Рабинович Ш. Н.) 485
 Шостакович Д. Д. 98-100, 556
 Шостакович М. Д. 556
 Шоу Бернард 65
 Шредингер (Шрёдингер) Эрвин 179
 Шрейдер Ю. А. 528
 Штерн Лео 505
 Шуб Э. И. 599
 Шукман Гарольд 161-162
 Щеглов К. А. 196
 Щеглов Ю. К. 61-63, 68-69, 72-74, 78-88, 92, 140-144, 159, 166-167, 174, 196, 202-205, 219-220, 237-239, 244, 266-267, 282, 302, 305, 323, 325, 349, 402, 411-412, 466, 497-498, 521
 Эдип 25, 409, 602
 Эйве, Макс 96

- Эйзенхауэр Дуайт 493
Эйзенштейн С. М. 64, 137-138, 195, 325, 471, 492, 502-503, 521, 547-548, 599-602
Эйнштейн Альберт 191-192, 398, 577
Эйр Мильтон 512
Эйхенбаум Б. М. 492
Эккерман Иоганн Петер 175
Эко Умберто 201, 358, 374, 493-495
Эль Греко (Теотокопули Доменико) 404
Эмерсон Кэрил 246
Эмис Кингсли 556-557
Энгельс Фридрих 106
Энемони Энтони 399-400
Эрастов К. О. 134, 146-148
Эфрон А. С. 165
Эфрос А. В. 229-233
Юрьев Ф. Ф. 565
Ягода Г. Г. 36
Якобсон Р. О. 170, 201, 217, 350-369, 439, 393, 601-602
Яковлева О. М. 229
Ямпольский М. Б. 12, 47, 250, 466
Янг Филипп 112
Янковский О. И. 472

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Справка</i>	3
----------------------	---

1. Детство, отрочество, университеты

Эросипед	9
Windows в Европу	13
Котлеты моей мамы	20
Акмеизм в туфлях и халате	24
Очерки бursы	29
What's in a name?	34
Связи по смежности	40
Западное кино	51
Мат в четыре хода	54
А и Б	57
Comrades Petrov and Smirnov	60
Диккенс, Ивлин и мы	62
Троянской войны не будет	64
Надзирать и наказывать	67
Деревенская проза	71
-жж-	74
Постой, паровоз...	75
Пусть оно меня и моет	78
Надо себя показать	79
Папа и Юра	85
<i>ПАПИНЫ МАЙСЫ</i>	93
Belle lettre	108
Выбранные места из переписки с Хемингуэем	110

Зарубежка-57	116
Письма русского путешественника	117
На словесном фронте	118
Appropriation art	123

2. В людях

АХЧ	127
ИТМ	127
Полкаш	128
Общая теория дешифровки	130
21 августа 1959 года	131
Теоремы надо доказывать	137
Плащи, в которых пьют пиво	142
Случай в Сумах	143
Халтурологические заметки	144
У нас в Бхилаи	150
Яблоко или гулять	152
Все в одном томе	158
Прогнозы на 2000-й год	159
С историей накоротке	161
Чудеса кибернетики	166
Сырье für uns	167
Автоматы и жизнь	167
О МЕЛЬЧУКЕ	169
Убивает много	186
Что делать	189
Small little story	192
Скромность	194
Ошибочные сочинения	196
Кофе потом	197
Зоосемиотика-68	197
Мой первый шатобриан	199

Оппозиция «свое» / «чужое»	202
Плохой студент	204
Лингвистические задачи и тайны творчества	205
Полки вел... ..	213
Она его любит	217
Чем хуже, тем лучше	219
А поверотись-ка, сынку!	221
Шибболет	223
Молоко отдельно, мухи отдельно	226
Будем резать, будем бить	227
Бритва Оккама	229
Техника отпуска	231
Мимесис	233
С Лотманом на дружеской ноге	236
В чужом пиру	241
«Стрелки авторитетов»	244
«Эпикировка»	246
Бабушка-старушка	249
Не зря	251
Дворянское гнездо	252
Из России с любовью	258
Встречи с интересными людьми	261
Работа — не волк	265
Гранты и эмигранты	268
Nowy Świat	270
<i>Из истории вчерашнего дня</i>	274

3. Там

Семнадцать мгновений весны	317
О новом	321
Identity	323

Талант	328
Грамматика любви	331
Peers	336
Faux pas	337
Торонто-80	339
Доклад в половине четвертого	343
Южный акцент	346
Заметки феноменолога	347
<i>О ЯКОБСОНЕ</i>	350
Мой первый real estate	369
Кому кабельность, а кому некабельность	373
Процесс исследования	378
Безнадёга	380
Ars poetica	385
Профессиональная кухня	386
Unfortunately, бя	391
Чайная церемония	394
Полировка личности	396
Поэтика недоверия	397
Сравнительное литературоведение	398
Расщепление личности	400
Гальциона	402
«Мы»	412
Таксист и синтаксист	416
Это я... ..	420
Собственный Платонов	425
<i>ПОСВЯЩАЕТСЯ С.</i>	426
Можем уронить	444
Пригов и авокадо	447
Честняга	448
Все на выборы	452

4. Там и тут

Цыганская виньетка	459
Поэзия и правда	461
Ординарный профессор	465
С Гомером долго ты беседовал один	466
Name dropping	467
Хум хау	468
«Bist Du ein Zwerg?»	473
Длинные руки	478
Язык и речь	480
Да был ли Освенцим-то?	485
Как ни садитесь... ..	485
О РЕДАКТОРАХ	487
Пришелец	517
Смерть В. Ю. Розенцвейга	520
На галерах	521
На фоне Пушкина... ..	526
Голубой кит	530
Народ книги	530
Сексминимум	533
Диагноз	536
Губернатор острова Борнео	538
В тисках формы	540
Сомнительное блядство	546
Автографы	548
Уроки английского	554
О главном	560
Верхнее си	562
Кому же у кого учиться писать	566
Антонов огонь	572
Кон-арт	576
Между жанрами (Л. Я. Гинзбург)	580

5. Посылка

Пущай	589
Махаловка с НРЗБ	590
Не немецкий, а ненецкий	594
Еще не вечер	597
Доля шутки	599

<i>Указатель имен</i>	603
-----------------------------	-----

Жолковский А. К.

**Ж79 Эросипед и другие виньетки. – Томск–М.:
Водолей Publishers, 2003. – 624 с.**

ISBN 5 – 902312 – 15 – 9

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни,—о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х - 70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.

Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.

УДК 882

ББК 84(2Рос=Рус)6

Подписано в печать 07.10.03. Формат 70х90/32

Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль

Печать офсетная. Печ. л. 19,5

Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б
тел. (095) 276-30-84

Отпечатано в ИПП «Гриф и К°»,
г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а

Замеченные опечатки

СТР.	НАПЕЧАТАНО	СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
24	№. 27	№. 26
59	четвертый этаж	третий этаж
59	напротив лифта	напротив лестницы
96	рассказывать	рассказывать
72	одной-двух	двух
132	сводный	единоутробный
159	рассказыаал	рассказывал
167	так сказатыи	так сказать
170	разве в тем	разве с тем
210	Подумай хорошенько!	Подумай хорошенько! Подумай хорошенько!
217	академиком	член-корром
217	после смерти	после отставки
218	Г. С. Степанова	Г. В. Степанова
227	Gemischte Obst	Gemischtes Obst
236	культивировавшаяся	культивировавшаяся
237	состояшегося	состоявшегося

238	<i>не страшно”.</i>	<i>не страшно.</i>
251	объект ?	объект Y
291	Ф. П. Березиным	Ф.М. Березиным
295	А. Д. Зализняк	А. А. Зализняк
302	рассказывает	рассказывает
347	приняли меня	приняли
495	Полудиссидентство	Полудиссидентство
508	актуальность	актуальность
509	неактуальным	неактуальным
549	кроме П.	кроме П.,
557	(to, “o”)	(to, “c”)
604	Бендер О. Э.	Бендер О. И.
604	Березин Ф. П.	Березин Ф. М.
604	Брежнев, Л. И.	Брежнев Л. И.
605	Волковская Е.	Волковская Е. В.
605	Гандлевский С. М	Гандлевский С. М.
607	Екатерина П	Екатерина II
607	Ерофеев В. В.	Ерофеев Викт. В.
610	Мандельштам О. М.	Мандельштам О. Э.

610	Мао Цзе-Дун	Мао Цзэ-Дун
611	Михеева О. М.	Михеева О. Н.
611	Николсон Джек	Николсон Джэк
613	Румшицкий Б.	Румшицкий Б. Л.
614	Степанов Г. С.	Степанов Г. В.
614	Стрелковский	Стрелковский Г. М.
614	Устинов	Устинов В. А.
615	Хуссейн Саддам	Хусейн Саддам